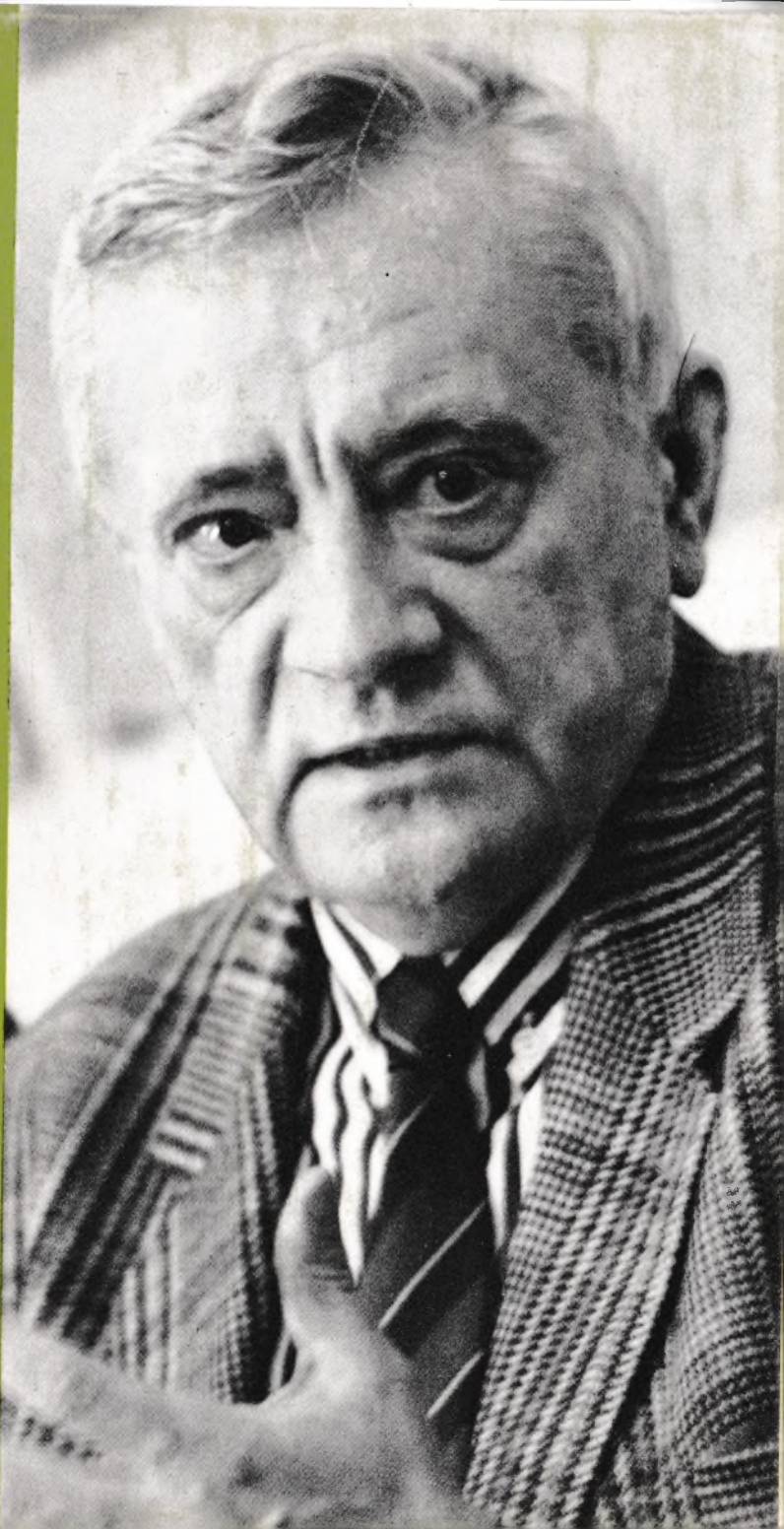


—| Владимир МАКСИМОВ



Владимир МАКСИМОВ

1

Владимир

МАКСИМОВ

1

Владимир
МАКСИМОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

МЫ ОБЖИВАЕМ
ЗЕМЛЮ
ЖИВ ЧЕЛОВЕК
ДОРОГА
СТАНЬ ЗА ЧЕРТУ
БАЛЛАДА О САВВЕ

ПОВЕСТИ



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

ББК 84Р7
М17

Художник И. Сайко

М 4702010201 Подписное
91

ISBN 5-85255-030-2 (Т. 1)
ISBN 5-85255-038-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1991.

МЫ ОБЖИВАЕМ ЗЕМЛЮ

І. Колпаков

Знаю ли я людей..

М. Горький

Пятый день подряд по крыше нашей палатки шарят дожди. Правда, «день» в этом углу земли, где светораздел измеряется полугодиями, понятие весьма и весьма относительное, но мне от того не легче, скорее наоборот. Обложенная со всех сторон монотонным, выматывающим душу шуршанием, голова час от часу тяжелеет и тяжелеет, будто наполняется теплым сыпучим песком, а устойчивый серый свет двух палаточных окошек отбивает всяческую охоту спать.

В палатке нас трое. Димка Шилов — тридцатилетний парень из амнистированных, флегматичный представитель того типа людей, к именам которых серьезная степень не приживается до старости, Тихон Лебедь — «вечный вербованный» изпод Вологды — и я. Здесь, в Верхнереченске, мы ожидаем своего будущего начальника, что поведет нас по таежной речке Нейниче определять места будущих стационарных баз экспедиции и рубить на них временки. Мы, так сказать, еще не сформировались в «спаянный соцколлектив» по причине своей бесхозности.

Я завидую Димке. Он просыпается только затем, чтобы отхлебнуть из фляжки, которую кладет вместо подушки под голову. При этом Димка всякий раз недоуменно и вроде бы даже обиженно разглядывает мутными, заспанными глазами сна-

чала меня, потом Тихона: откуда это, мол, еще народу такая прорва? Затем голова его снова падает на заветную фляжку, и парень засыпает, заставляя нас думать о нем все, что нам будет угодно. Не живое существо — кусок флегмы.

Тихон — человек другого и, я бы даже сказал, особого склада. Большую часть времени Тихон занят тем, что обшивает свой вещмешок карманами и карманчиками разной величины, куда рассовывает жестянки, коробочки, пакеты. Говорит Тихон редко и с явной неохотой, словно забытый долг отдает: отсчитывает энное количество, помолчит, вроде прикидывает — не много ли! — добавляет словца два-три. Когда слушаешь его, кажется, что и душа у Тихона вроде личного вещмешка — вся в гнездах-заначках — и в каждом по словцу, по мыслишке. Поэтому разговаривать с ним — что у скупца кредитом пользоваться, разве лишь по необходимости.

Я слежу за ловкими, расчетливыми движениями короткопалых Тихоновых рук и пытаюсь сосредоточиться, собрать воедино на худой конец три-четыре фразы, чтобы сесть за письмо Аркадию Петровичу — своему детдомовскому воспитателю. У меня с ним уговор: раз в три месяца — письмо. «Можно бы и чаще, Витек, но мы же мужчины, и три месяца — это по-божески». Четыре с лишним года, минувших с того дня, когда я перешагнул детдомовский порог, правило не знало исключений. Но этот раз моя совесть дает трехнедельную течь. В который раз я царапаю на листке в косую линейку: «Дорогой Аркадий Петрович!..» Но скомканые бумажки летят и летят за окно, а письмо все не собирается. Оно и понятно. Во-первых, мы условились с Аркадием Петровичем, что я буду писать только о самом интересном и значительном, но ни того, ни другого за эти неполных четыре месяца в

моей жизни не произошло, а во-вторых — дождь... Нет, по-моему, это никогда не кончится.

Входной полог поднимается, и в серый квадрат обнаженного неба, как в портретную рамку, врежется остросулое, со щетинистым подбородком лицо в ореоле брезентового капюшона.

— Живы? — Гора мокрой парусины втискивается в палатку. — Здорово живете!

У Тихона на начальство чутье безукоризненное.

— Засохли без дела, — мелко суетится он, — прямо гибель... Право слово.

Гость коротко взглядывает на него маленькими колкими глазками и тут же отворачивается, кивая в сторону Димки:

— А это что?

В Тихоновых глазах блуд, тяжелый собачий блуд. Я молчу. Собственно, все понятно и без слов. Человек в брезенте одной рукой резко опрокидывает Димку с боку на спину, а другой захватывает фляжку. Нюхает не морщась.

— Наш, рыбкоповский. Девяносто шесть ноль-ноль... Так вот, уважаемые, с нынешнего часу эта штука — только по моей команде. Ясно?

Димка таращит на диковинного гостя заспанные глаза, слова складывает пьяные, первые попавшиеся:

— Много вас, командиров... Не наздраствуешься... Полегче бы на поворотах...

А Димкин спирт уже впитывается в землю у гостьева сапога.

— Я Колпаков. Поступаете под мое начало. Я вам теперь бог и царь и, так сказать, герой. Завтра в четыре чтобы как штык. Выходим. Тары-бары после. Дорога длинная, наговоримся.

Последние слова доносятся в палатку уже снаружи.

— Строгий дядька, — уверенно определяет Тихон, — не забалуешься... В дугу согнет.

Димка трет заросшую щеку.

— Рассолу бы сейчас...

Я принимаюсь за письмо. В который раз.

II. Письмо

Честно, только честно.

«Дорогой Аркадий Петрович! Трехнедельное опоздание за мной. И хотя вы не признаете никаких оправданий, на этот раз у меня уважительная причина: полнейшее отсутствие интересного и значительного. Новость одна: со строительства я ушел «по собственному желанию». Но ведь этим вас не удивишь. Из двадцати моих посланий к вам добрая половина помечена новым почтовым адресом. Носит меня по свету, и не ведаю я, будет ли сему конец когда-нибудь. Все, за что бы я ни брался, увлекает меня только поначалу, а потом тоска наваливается мне на душу, и я бегу от нее, бегу куда глаза глядят, чего-то ищущу и не нахожу. Милый вы мой Аркадий Петрович, на расстоянии откровенным быть легче, да и трудно мне сейчас отказывать себе в мстительном удовольствии трезво хамить. Даже вам. Простите, но мне кажется нынче, что я по крайней мере вдвое старше вас. Действительность в несколько месяцев смяла, раздавила удушающей своей обыденностью все мои логические умозаключения о ней, выношенные мной в долгих и таких, казалось бы, беспощадных разговорах с вами. И самое смешное и горькое в том, что я не могу сказать о ней, об этой действительности, избитую банальность, вроде: «Все жестче, все проще». Дай-то, говорят, Бог, чтобы так случилось! Ведь вы и не готовили меня к праздничному маршу по жизни. Уходя из детдома, я уже знал, что такое зарабо-

танный хлеб. Я был готов к самому сложному, к самому трудному. Но трагедия в том, что жизнь оказалась не сложнее, а мельче, упрощенней, чем представлялось мне до поры. Она выматывает силы не борьбой — борьбы нет, — а жутким своим, унижительным для человека однообразием. А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь! Язык не поворачивается сказать о таких: «Борются за существование». Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, усиленно оттирая ближнего своего от корыта бытия. Семейное сожителство называется у них любовью, житейская изворотливость — мудростью, павианье чванство — гордостью. Вы, конечно, усмехаетесь: вот, мол, еще одна триллион первая трагедия личности. Пронеси судьба стать очередной жертвой «земли несовершенства»! Я несколько не лучше, а скорее всего, хуже прочих, хотя бы тем, что испорчен печатными бреднями вселенских шизофреников. Наверное, поэтому среда и выталакивает меня, как чужеродное ей тело... А впрочем, к дьяволу философию! Надоело. Просто я не состоялся.

Короче: я запродаю себя на Крайний Север. Будь что будет. Так сказать, ближе к природе-матери. Сейчас нахожусь в Верхнереченске. Пятые сутки льет обложной дождь. В нем я, кажется, растворяюсь и сам становлюсь слякотью. Соседи довольно сносные. Сиречь — не докучают. Один — бывший уголовник, пьет от самого Красноярска, общаясь с бранным миром только через бутылочное горлышко. Другой — рябой вологжанин лет сорока — занят самоснабжением. Сегодня познакомились, наконец, с непосредственным начальством. Еж в брезенте с человеческой фамилией Колпаков. Большого в нем разглядеть не удалось. Малость

кокетничает своей таежностью. Завтра трогаемся с ним в путь. Вот и все. А вы говорите: «Каждые три месяца». В таком мире две жизни проживи — на одно сносное письмо стóящих событий не наберется.

Не обижайтесь на меня, дорогой Аркадий Петрович. Ведь вы же просили: «Честно, только честно». Вот и получайте. Но главное не это, главное — вы сами, главное — вы есть, а куда вам быть, мне еще покупать конверты. А это очень важно — конверты.

Без тривиальностей. *Ваш Виктор Суханов*».

III. Мора

Я просыпаюсь от резкого, бьющего прямо в глаза солнца. Оно круто и перевозданно, как невзболтанный желток. Я, словно ссохшаяся губка, впитываю каждой порой своей эту праздничную благодать, и она пронизывает меня странной до удивления легкостью. А в душе такая бездонная невесомость, что и сам себя я начинаю видеть только маленькой светящейся частицей чего-то огромного и непостижимого, таким крохотным солнцем. Подобными утрами жизнь кажется вечной и доброй волшебницей.

Среди этой чуть ли не осязаемой торжествующей тишины голос Тихона почти неправдоподобен: — Не ко времени вёдро. Мошка задавит... Гнус то есть.

Он уже сидит на перехваченном ремнем спальном мешке, зажав коленями свой уникальный рюкзак.

Димка, стоя, уныло высасывает из банки консервированных абрикосов последние капли сока.

— Жизнь!.. Ни тебе выпить по-человечески, ни похмелиться... Тоже мне Крайний Север!

Я едва успеваю выпростаться из мешка, а от входа уже оцетинивается в мою сторону резкое колпаковское лицо.

— Прохлаждаешься, паря? Заруби: санатории через три года, а покуда — работа... Давай на берег!

Начальник исчезает, а я, натягивая сапог, зло огрызаюсь ему вслед:

— Двигай, дядя, дальше, сами по миру ходим.

Тихон, уже перешагнувший порог, испуганно оборачивается. Тусклое, в крупных рябинках лицо его в белых пятнах.

— Ты кому говоришь, малььй?

— Да пошел ты!..

Полог, упавая, как бы смахивает с дряблых Тихоновых губ недобрую усмешку. Смахивает, и она остается наедине со мной — серая и вязкая, как паутина. Мне становится не по себе. Я ругаюсь вслух:

— Дубина вологодская. Сволочь!

Димка, потягиваясь, зевает.

— Брось. Надо будет — мы его по кочкам проволокем... Двинули, что ли?

Я для него «свой». На правах детдомовского. В том есть резон, и в конечном счете меня это устраивает.

По осклизлым мосткам мы гуськом двигаемся к берегу. Димка, то и дело спотыкаясь, матерится на чем свет стоит, проклинает свою судьбу, а заодно и потребительскую кооперацию, которая «неизвестно когда только и работает».

По речному зеркалу будто дыханием кто-то прошелся: легкий налет тумана. Река так неподвижна, что, думается, святым станешь, пойдешь по воде, словно посуху. А тайга, подступившая здесь к самой воде, схожа со сказочным войском при пе-

реправе: идет и идет себе прямо под воду, выбираясь на другой стороне сужим и столь же несметным.

— Смотри, — Димка толкает меня в бок, — Мора¹.

У лодочного причала разговаривает с Колпаковым, попыхивая трубочкой, всамделишный цыган в брезентовой робе, заправленной в новенькие резиновые сапоги. Цыган улыбочиво доказывает начальнику:

— Жалеть, Трифанавич, не будешь. Залатые у девки руки. Ей-бо, залатые. Все умеет, чалдонка она, Трифанавич, чалдонка.

— Так ведь баба, Сашко! Ты рассуди своей забубенной башкой. Баба в тайге, а нас пятеро, один одного лобастей... Подведешь ты меня с кралей своей под монастырь.

— Не простая баба, Трифанавич, — вздыхая, улыбается цыган, — чалдонка, аднака.

Колпаков только рукой машет — шут, мол, с тобой, — и к нам:

— Вас вроде сам черт одной веревочкой связал! Вот, — он кивает на одну из трех причаленных к берегу лодок, — располагайтесь. Будьте, так сказать, как дома.

Я собираюсь было снова огрызнуться, но Колпаков уже около Тихона.

— Пойдешь со мной в паре вот на этой. И учти...

Я поворачиваюсь к Димке и не узнаю его. Сонный, помятый еще за минуту перед этим, парень преображается на глазах. Все в нем — рослая, но несколько оплывшая фигура, лицо, даже самый взгляд — как бы расправляется, светлеет, делается четче, приобретает законченные очертания, словно в отпечатке под проявителем. В куске камня про-

¹ М о р а — цыган (жаргон).

буждается скульптура. А чудодейственная ваятельница метрах в трех от своего произведения сидит себе на борту мужниной лодки, кедровые орехи пощелкивает и усмехается, усмехается одними уголками обветренных губ. Небольшого роста, скуластая, с крепким кержацким подбородком, она, как лиственница на отлете: и похожа и в то же время не похожа на своих подруг пронзительной своей обнаженностью. Телогрейка на ней ловко перехвачена кокетливым зеленым ремешком. Из-под надвинутого на самые брови платка смотрятся в мир два тихих омутка с дурными чертиками в самой глубине.

Димка с пристальной задумчивостью глядит на девку, а ей до него вроде бы и дела нет: взглянет коротко этак в его сторону и отвернется, взглянет и отвернется. Только летит ореховая шелуха в отуманенную воду. Летит и тонет.

Я тяну Димку за рукав.

— Хватит, сглазишь. Бросай мешок.

Колпакову же на всякое дело времени дано вполтину против обычного.

— Первая стоянка на Хете. Возьмем инструмент и харчи. Остальное — потом. Ясно?

Не ожидая ответа, он легко сталкивает лодку с отмели и прыгает на корму.

— Не растягивайся!

В несколько взмахов Тихон выводит головную лодку на стрежень. В двух веслах от него — Мора. Выгребая за начальником, цыган широко улыбается нам и подмигивает:

— Поехали! И-ех!

Усаживаясь на веслах, Димка, словно про себя, раздумывает:

— Какая... легкая... Толкай!

— Чужая ведь.

Мгновенно парень с вопросительным недоумением глядит на меня, словно определяет: стоит ли отвечать? Затем говорит коротко и беззлобно:

— Дурак.

И делает первый мах.

А мне почему-то становится обидно за цыгана. Хотя, впрочем, ну их всех к чертовой бабушке!

IV. Тревога

У проток звериные повадки. Тихой заводью отплескивается протока от основного русла. По-росомашьи неслышно крадется она меж отлогих песчаных берегов все в сторону и в сторону от реки-прародительницы. В пути протока начинает задавать загадки, то и дело расходясь надвое. Стоит однажды не угадать, каким рукавом пошло коренное течение, и останешься в конце безымянного ручья, исчезающего в болоте, лицом к лицу с тысячеверстной тайгой.

Только Колпакову, видно, вся эта мудрость вроде таблицы умножения: ночью разбуди — отдиктует назубок. Протока под ним, как объезженная лошадь, смирна и послушна. Кажется, не протока Колпакова, а Колпаков протоку ведет, время от времени сдавая ее с рук на руки в неостывающие ладони материнского фарватера.

Четвертые сутки движемся мы в сторону Кандымского порога, перед которым нам предстоит рубить первую времянку. А сколько их, этих времянок, последует за первой, известно только Господу Богу да Колпакову.

Четвертые сутки солнце выписывает по небу диковинные зигзаги — от горизонта до горизонта, упорно не желая скатываться в другое полушарие.

Трое оставшихся позади суток не были отмечены сколько-нибудь заметными событиями. С Дим-

кой у меня устанавливаются довольно своеобразные отношения. Большую часть пути мы молчим. Это, по-моему, устраивает нас обоих. Я занят своими мыслями, он — тоской по спиртному. Димка умеет извлекать «градусы» из всего, казалось бы, абсолютно безалкогольного. Благодаря ему, я уже на вторые сутки пути остаюсь без одеколона, зубного порошка и содержимого аптечки. Сейчас парень томится по последней пачке чая, которую я берегу на всякий случай вместо лекарства.

— Тоже мне татарин! Кому бережешь, зачем бережешь! Ты сам посуди — чай! В нем же ни сала, ни витаминов... Говорят, даже вредно для сердца... Голова как колокол: трону — гудит...

— Не глотай дряни.

— Пижон. Ты пил чего-нибудь крепче кваса?

— Не вижу смысла.

— Умник! Во всем смысл ищешь. А вот в нашем доме поэт живет, стихи к праздникам пишет. О солнце там, о счастье, о полноводной жизни тоже подпущено. В общем, то да сё, лучше, мол, некуда. А сам по неделям в квартире запирается и... В общем, дядя Вася, дворник наш, считай, на его бутылки троих детей в люди вывел... Это как понимать, а? Вот тебе и есть смысл. А то рассуждаешь. Пижон!

Возражать Димке бесполезно. В ответ он приведет еще дюжину таких примеров в полной уверенности, что правота его в более стройной логике не нуждается. Разговор угасает. И в то же мгновение шум — еще неясный, почти призрачный — начинает ветровыми волнами накатываться на нас. Скорее, это даже еще не шум, а неотвратимое, как сумерки, нарастание далекой, но грозной тревоги. С каждым взмахом весел она все отчетливее и объемней. И вот с головной лодки над протокой взлетает сиплое колпаковское:

— Причали-вай-ай! Кан-ды-ым!
Я сушу весла.

V. Христина

Между солнцем и горизонтом — расстояние с ладонь плашмя, а первая лиственница уже перечеркивает верхушкой утреннюю синеву от зенита до береговой гальки. Колпаков с силой вгоняет в комель топор.

— Ну, так сказать, с Богом!

На лесоповал становятся Тихон и Димка. Я отхожу за подручного к Море. Единственной нашей женщине достается стряпня, а Колпаков, как всякое начальство, на подхвате, то есть там, где тонко.

Работать с Сашко легко и споро. Я сам плотник пятой руки. Мне довелось плотничать на добром десятке строек, встречать стóящих мастеров, но равных этому кудеснику видеть не приходилось. Топор как бы вливается в его смуглую ладонь, обретает в ней плоть и кровь, начинает чувствовать душу дерева. Лесина под его инструментом становится податливой, чутко повинуюсь малейшей воле мастера. Орудую топором, цыган то и дело качает головой и улыбается, словно каждый раз открывает для себя в дереве что-то новое и удивительное. Так, наверное, работают художники.

После третьего венца Мора поднимает накомарник, рукавом смахивает со лба соленую изморось.

— Куришь?

— Нет.

— Все равно садись, курить будем. Какая ж работа без перекура!

— Красиво это у тебя получается... С топором. Закуривая, Мора довольно жмурится.

— Трифанавич учил.

— Так он и плотник?

— Трифанович? Да у него руки из чистого золота. Ты спроси, чего Трифанович не может. Все может. Не смотри, что зверем ходит, душа у него из чистого золота.

— Не человек, значит, а ходячий самородок.

— Мала «хараший человек» сказать — зала-той человек. Он меня в Красноярске падабрал, в люди вывел, к делу приставил... Усох, аднака... Жена у него памерла... Маргарита Андреевна... Тайга забрала... Андреевна.

— И тайга-то у тебя вроде живая...

И сразу чайный настой цыганова взгляда густеет, замешенный тревожной сторожкой.

— И-е, ты ее, мальй, не знаешь, тайгу... Глядишь — лес да и все... А она дышит... Только слушать нада.

Мора умолкает. С высокого берега, на котором мы ставим времянку, зеленая с бурыми подпалинами щетина тайги видится далеко-далеко, и, если не отрываясь долго смотреть поверх нее, кажется: она и впрямь дышит, возвращая набранный огромной грудью воздух белесым маревом над горизонтом.

Голос у Христины грудной, низкий:

— Обедать, работнички!

Аромат распаренных консервов отвоевывает береговую полоску у запахов леса. Мы рассаживаемся около костра, а Мора, помогая жене, суетится вокруг нас:

— Гаварил, Трифанавич, не пожалеешь. Залатая девка, все может... Рыбы наловила, а бед саделала... Мотки-шмотки постирала. Залатая девка.

Колпаков только хмыкает неопределенно, но, по-моему, не без одобрительности. Тихон ест исто-во, будто священнодействует. Зачерпнет ложку каши, обтрясет ее малость над котлом, подопрет лом-тем и отправляет в рот, как именинницу на люди.

Для Димки же еда вроде обязательной повинности. Он вяло скатывает в ладонях хлебные шарики, обпекает их со всех сторон на угольях и хрустит ими до самого конца обеденного таинства, после чего, обернувшись в палатку, заваливается под самым берегом спать.

Когда мы кончаем с едой, Колпаков уходит, как он говорит, «примериться» к порогу. Тихон увязывается за ним. А цыган предлагает мне:

— Идем на гусей!

Озер в тайге, близкой к Северу, великое множество. Тысячи их вкраплено подсиненными блестками в ягельные короны лесотундры. Веками сядят здесь гусиные станицы линять и набирать жира для нового пути. Саженный слой птичьего помета придает берегам этих озер пружинистую упругость. Я хожу с Морой от воды к воде, а он все тянет и тянет меня вперед:

— А-а! Пашли, пашли... Лучше есть, краше.

Однажды я вскидываю ружье: из камыша на встречу нам режет волну пестрая кряква в сопровождении целой эскадры желто-серого потомства. Цыганова ладонь пригибает ствол моей централки книзу:

— Не нада, мальй: видишь — детишки. Еще найдем.

Даже голос у Моры меняется, становится приглушенной, тоньше. Я зло сплевываю, и мы идем дальше. А цыган все говорит, говорит:

— Я раньше тоже бил, а нонче не могу. Душа не лежит. Жена у меня четвертый месяц тяжелая. — Мора тихо-тихо смеется. — Сына мне нарадит — азалачу. Только ты не гавари никому: Калпаков узнает — асерчает.

Я дразню его:

— С русской бабой связался. Бросит она тебя. Но в этом Мору сбить трудно.

— Не знаешь ты мою бабу. Клад баба. Любит меня. Ой как любит! И я тоже. Словна адна у нас с ней душа на дваих.

Тайга совершает с нами свою обычную шутку: мы выходим в протоке метрах в ста от стоянки. Я иду первым по самому гребню нависшего над водой откоса. Мора, набредя на россыпь голубики, немного отстает. Посреди протоки охорашивается аспидная гагара. Меня охватывает непреодолимое желание выместить на ней неудачу сегодняшней охоты. Но снова заряд замирает во вскиннутом было ружье: из-под берега карабкаются мне под ноги два разнозвучных голоса: тягучий, с лентой — Димки и густой, мягкий — Христины.

Он:

— Ребят в округе не было — за цыгана пошла?

Она:

— А что мне цыган? Я сама себе хозяйка. За кем хочу, за тем и пойду... Что ж, цыган, зато добрый... Веселый... Пенки-то вас много снимать, а любить некому... А цыган полюбил.

Он:

— Может, я крепче полюблю.

Она:

— Все вы поначалу-то так говорите.

Он:

— А пойдешь?

Она:

— Трифоньч говорит: блатной ты.

Он:

— Дурак твой Трифоньч. Оброс злобой!

Она:

— И пьешь тоже.

Он:

— Брошу.

Слова ее становятся певучими-певучими и тихими.

— Нельзя мне сейчас... Никак нельзя... Да ведь и Сашко человек.

Я слышу хруст сухих веток за спиной. Шаги все ближе, ближе. И вот я уже чувствую на затылке чужое дыхание. Его дыхание. А под откосом:

— Пусти... Не надо... Увидят...

Я прикован к месту, я не могу шелохнуться, и Сашкино дыхание становится обжигающим. Думается, в эту минуту над всей безмолвствующей землей звучат только два голоса:

Он:

— В Москву уедем.

Она на одном дыхании:

— В Москву.

Он:

— Жить будем.

Она:

— Жить.

Он:

— И чтоб всегда вот так...

Она:

— Вот так.

Он:

— Ты такая...

Она:

— И ты...

И вдруг... раз... три... четыре: шаги за моей спиной становятся глуше, глуше. А вот обомшелая таежная тишина уже смыкается за ними. Чтобы не закричать от злости и обиды, я валюсь лицом в пахнущий древесной плесенью ягель и начинаю яростно кусать рукав телогрейки.

В эту минуту я ненавижу цыгана, больше — презираю его! И то, что еще совсем недавно виделось в нем привлекательным, — улыбочность, легкость в деле, доброта, — выглядит сейчас жалким, мелочным, несостоящим. «Ничтожные существа, —

исступленно кричу я себе, — вы разучились даже драться за свою долю любви! Вы крадете ее друг у друга, пользуясь случаем, как воры. А отдаете без боя!»

А голоса снизу, будто издеваясь, почти осязаемо вползают мне в уши.

Он:

— Не забудешь?

Она:

— Не забуду.

Он:

— Смотри.

Она:

— Нет, нет...

Это как проклятье.

VI. Лодки

В отрывистой колпаковской речи сегодня преобладают убеждающие ноты:

— Главное, не паниковать. Спокойно выгребай в самую стремнину. Плюс скорость. Но на веслах дело — полдела. Здесь кормовой — бог. Лодка должна идти прямо на волну. Чуть испугался, свернул в сторону — пиши родным... И потом — устойчивость. Чем больше груза; тем лучше... Сами понимаете, волоком здесь не пройти: берег не позволяет. Высок. Мы с Лебедем для, так сказать, примера пойдем первыми. — Он сплевывает на воду потухший окурок. — Я на корме.

Одутловатое Тихоново лицо заостряется, бесцветные глаза темнеют. Садясь за весла, он долго и старательно выверяет уключины. Излишне медленно потирает ладони. Потом хрипло командует напарнику:

— Давай, Трифоньч.

Колпаков рывком сталкивает лодку с отмели и уже из воды всем телом переваливается на корму. Едва касаясь веслами волны, Тихон выгребает к середине. За его спиной зажатый двумя вздыбленными скалами воет и бьется, как попавшая в западню росомаха, бесноватый Кандым. Войдя в порожистую зону, лодка с двумя вросшими в нее человеческими фигурками начинает мелко-мелко подпрыгивать то одним, то другим бортом, будто случайная калоша на транспортерной ленте. Вот суденьшко на мгновение исчезает из виду, и острая снежинка ужаса обжигает замершее вдруг во мне сердце. Но весла-крылышки вновь трепетно взмывают над крутым гребнем, и вздох приходит как спасение. Провалы и взлеты следуют один за другим, пока наконец лодка не скрывается по ту сторону порога.

Я перевожу взгляд на Димку. Тот остервенело слюнявит дымящуюся сигарку. В рыжей щетине Димкиного подбородка застревают, осыпаясь, обугленные махорочные крошки. Мора, бедром привалившись к борту, безучастно смотрит куда-то поверх Кандыма, в подернутое пористой накипью небо. И круглые глаза его не осенены ни одной земной мыслью. Такие глаза я видел у больной собаки: в них только тоска, тихая и всеобъемлющая. Христина стоит за Сашкиной спиной, по-мужски широко расставив ноги, и знакомая многоречивая усмешечка солнечным зайцем мельтешит в уголках ее плотно сжатых губ.

Но вот, будто пробка вылетает из бутылки, выстрел. Это сигнал: прошли благополучно.

Димка кивает мне:

— Двинули.

Хватаясь за корму, я по привычке оборачиваюсь в сторону Моря. Словно угадав мое желание, он каким-то последним отголоском в душе застав-

ляет себя улыбнуться. Но улыбка выходит у него кривой и жалкой. И внезапно в коротком рывке крови устремляется к сердцу темная волна предчувствия. А вспененная рябь уже подхватывает нас, увлекая в оскаленную пасть Кандыма. Лодку начинает колотить. Я влипаю в нее всем своим существом, и вот уже нет меня, есть лодка, как бы ставшая осмысленным организмом.

Лодка боится.

Лодка сопротивляется.

Лодка не хочет умирать.

Лодка облегченно вздыхает.

Самый переход через порог продолжается считанные секунды. Может быть, минуту, но за смертной чертой я вдруг остро ощущаю, что становлюсь старше. Это как после нескольких ночей бредового жара.

Мы причаливаем в тихом оттоке, чуть пониже Колпакова. Начальник озорно подмигивает нам, и я впервые вижу, как разглаживается его резкое, будто обсеченное жестокими ветрами лицо, зябкие льдинки во взгляде оттаивают, и весь он с головы до пят преобразен стремительным, почти мальчишеским порывом.

— Э-хо-хо-хо! Проскочили! Говорю, главное — держись! Не таким, так сказать, чертям рога скручивали!.. Молодцы, братцы!

И завершающим восклицанием — выстрел: очередь Моры. И четыре взгляда — к порогу. Лодка появляется неожиданно, словно прямо из-под воды. Но в ней только один человек. Да, да, один. Колпаков, как-то враз почернев, начинает ругаться грязно и длинно. Тихон привстает от неожиданности с весел, да так и замирает в полусогнутой позе, точь-в-точь волейболист в момент приема мяча. У Димки бешено двигается кадык, — похоже, парень упорно хочет что-то сглотнуть и не может. И неис-

товый хоровод мыслей, недоуменных вопросов, логических доводов, продернутый всего лишь сквозь одно-единственное мгновение, скипается наконец во мне обжигающей мыслью: «Берегом пошла, стерва».

И сразу, будто кто-то выбивает опору из-под ног, мир начинает видаться зыбким, неустоявшимся. Это как при легком головокружении. «Значит, все совсем по-другому, значит, существуют иные мерилa людских поступков, понять которые мне еще не дано, значит, не все на свете загоняется в жестокие рамки моих определений?» Но я не хочу этого, не хочу! А спрашивают ли меня?

А лодка поплясывает себе на спшибающихся лбами гребнях, вроде играет с отчаянным седоком, который, стараясь уравновесить ее, неуклюже машет веслами в воздухе. Затем гривастая волна возносит утлое суденышко высоко над порогом. Оно как бы замирает на мгновение в этом головокружительном взлете, но тут же, встав на ребро, соскальзывает вниз. А сомкнувшаяся над его просмоленным днищем вода продолжает реветь жадно и необузданно. Ей все равно: больше человеком, меньше... У нее свой извечный порядок.

Я не успеваю опомниться, а Димка уже вымахивает саженками в самую стремнину. Густое и властное здесь, как облегченный вздох, течение сносит его, но он рвется и рвется вперед, захватывая под себя расстояние. На середине Димка начинает нырять, каждый раз появляясь на поверхности все ниже и ниже по течению, пока его не выбрасывает на косу противоположного берега, клином врезанную в фарватер. Видно, как он выкатывается из воды на прибранный галечник и сразу замирает в скрюченной позе, по-детски заложив ладони меж колен.

Колпаков взглядывает в мою сторону, и впервые молчаливое это приказание не вызывает во мне обычного сопротивления. Сейчас все видится естественным и необходимым.

Лодка с облегченной кормой то и дело выходит из-под власти весел. Грести без рулевого с неградычки очень трудно, и все же мне удается причалить почти прямо против расплывшегося у воды Димки. Он вяло плюхается на скамью и всю дорогу молчит, тупо разглядывая желтые ногти босых ног. Ни с того ни с сего я буркнул:

— У меня есть пара запасная... Кирзовые.

Димка поднимает на меня блестящие глаза и говорит тихо и просто:

— Спасибо.

Когда мы возвращаемся, Христина стоит, приклонившись к усохшей лиственнице, и смотрит в согбенную колпаковскую спину. В опустевших глазах ее ни слезинки, только злость, упрямая злость кошки. Белыми губами она складывает одну и ту же фразу:

— Не меня небось — дитё свое берег... Не меня небось — дите свое берег... Не меня небось — дите свое берег...

А Тихон топчется сбоку вокруг них и все покачивает головой, покачивает:

— Ай, грех!.. Ай, грех!.. Ай, грех!..

Меня вдруг охватывает чувство стыда и досады, будто я, прощаясь с кем-то очень нужным для меня, не сказал при этом самого основного, самого главного, а все сказанное было необязательным, но последним.

— Ай, грех! — почти бессмысленно бормочет Тихон. — Ай, грех!..

И кто его разберет, кому это адресовано? По моему, он даже косит краем глаза в мою сторону. Но я-то здесь при чем, а?

VII. Конец ночи

Димка бредит с короткими просветлениями трети сутки: мстительна таежная вода к стороннему человеку. Наши спальные мешки в тесной двухместной палатке соприкасаются, и я чувствую, как парня трясет мелкой, ознобливой дрожью. Но в его бессвязном, горячечном бормотании какая-то жуткая последовательность.

— Уйди, не надо... Не хочу... Ей-богу, он сам... Я не хотел... ну, сволочь я, сволочь!.. Судить? За что судить?.. Гражданин начальник! Правильно... Только я не виноват... На, я тебе налью, выпей... Брезгуешь?..

Мне вдруг становится страшно. С кем он это? Кому, наконец, он это? И почему я вот уже несколько дней не могу отделаться от почти физически ощутимого сознания своей вины? Разве раньше я никогда не видел смертей более диких и нелепых, чем эта? Но дика и нелепа ли она? А что же тогда прекрасно? Может, значительной смерть видится здесь лишь потому, что она оттесняется огромными пространствами и безлюдьем?

Димкина речь становится нестерпимой. Я выбираюсь из палатки и сползаю к костру под самым берегом. Колпаков, по-ребячьи слюнявя карандаш, колдует над истрепанной записной книжкой. Время от времени он выхватывает из остывающего огня уголек пообветренной, прикуривает с него изжеванную до половины сигарку. Цветной карандаш в прокопченных колпаковских пальцах кажется до удивления игрушечным, домашним. На шорох Колпаков вскидывается:

— Как?

— Бредит.

— С весел да в этакую воду... Прoberет.

Я, пожалуй, впервые вижу колпаковское лицо так близко от себя. И сейчас, лишенное обычной жесткой маски, оно удивляет меня выражением грустной усталости и какой-то одной, раз и навсегда избранной им думы. Даже говорит мой начальник, против обыкновения, тихо и как бы про себя, а главное, без своего обязательного «так сказать».

— Поднять надо парня на ноги во что бы то ни стало. Через три ночевки мы сворачиваем в Пантайку, а по ней — против течения. Не выдюжить нам такого груза. Христина в счет не идет; так, балласт.

Неожиданно для себя я говорю:

— Димку я вытяну, так что рассчитывайте.

Добрая грустинка вспыхивает и гаснет в бесцветных колпаковских глазах.

— Чудак человек. Пантайки не знаешь. На Пантайке весла на дрова можно изводить. Не нужны. Бурлачить будем. На-ка вот лучше, — начальник отстегивает от пояса фляжку. — Неси другу, пусть хлебнет. Может, пропарит.

Синие, с белым налетом по краям Димкины губы утрумо шевелятся, складывая ускользящие из-под их власти слова в лихорадочно отрывистые фразы:

— ...Вот набрал льду... Хочешь льду, Мора?.. Сашок... У нас в Москве сейчас всю газировку идет...

Я кладу руку на его лоб, и он постепенно затихает, а затем широко распахивает навстречу мне высвеченные изнутри нездоровым блеском глаза.

— Скрутило меня не ко времени.

— На вот, хлебни. Колпаков дал.

Димка горько и жалобно усмехается. Потные пальцы его вяло обхватывают горлышко фляжки.

Мгновение он вроде раздумывает, а затем рука его запрокидывается за спину. По нижней кромке палатки расплывается темное пятно.

— Скажи Трифону: мол, выпил. А то обидится, ведь он от души.

Я согласно киваю, и мы замолкаем, умиротворенные чуткой тишиной коснувшейся нас общности. А минуту спустя Димка вдруг начинает говорить, горячо, сбивчиво, будто боясь, что я вдруг остановлю его:

— Видишь, как все получается. Вставил мне цыган свечу на всю жизнь. А я ведь, считай, лет на сто свою линию продумал. Еще в заключении учился на чужом горбу в рай ездить. Что, думал, люди! Мусор! А цыгане так вообще где-то между собакой и человеком для меня были. Подвесил мне Мора камешек на душу, носи — не сносить...

— Бередишь только себя. Все перемелется. Жить надо.

Димка сникает:

— Не то... не те слова говоришь.

Димка отворачивается от меня, и вскоре тревожные призраки его видений заполняют брезентовую ловушку. А мне уже не до сна. Я опять выбираюсь наружу и как ожог ощущаю на себе прикосновение чужого взгляда. Из-под приспущенного полога стоящей напротив палатки сухо поблескивают в мою сторону Христинины глаза. Но они устремлены сквозь меня, туда, где мечется в жару Димка Шилов — непутевый московский парень из амнистированных.

А солнце, опущенное у горизонта почти до пояса в реку, едва заметно уже набирает высоту, пропитываясь на пути зоревыми оттенками. И если не отрываясь, долго смотреть в самую его сердцевину, может показаться, что оно прозрачно.

VIII. Так обживают Землю

Я не люблю беременных женщин. Здесь мои убеждения несколько расходятся с общепринятыми. Но Колпакову не до философских домыслов подчиненных. Он слюнявит себе парандашки, что-то соображает, что-то прикидывает, и вот уже Христина вместе с частью груза оказывается рядом со мной. Закутанного в распоротый для этой цели спальный мешок Димку переносят на головную лодку. В таком порядке мы и продолжаем путь.

Течение, перебитое где-то мощной боковой струей, заметно густеет, становится медленнее, все шире и шире раздвигая холмистые берега. Грести с каждым километром труднее, а отдыхаю я теперь редко: Христина после двух-трех десятков сажень выдыхается, на пятнистом лице ее выступает испарина, и мне снова и снова выпадает садиться на весла.

Заговаривать с Христиной неловко, да и, по правде говоря, не о чем. Всю дорогу она сидит на корме замкнутая и отрешенная, еще ниже обычного надвинув на глаза серый платок. Странна очень и загадочна для меня эта женщина, поступки которой всегда внезапны и необъяснимы. Сколько ни вглядываюсь я, стараясь уловить хоть в единой ее черточке сомнение или растерянность, за утрюмой сосредоточенностью мне ничего не удастся разглядеть в ней. Христина молчит, молчит зло, вызывающе. Только не по-женски упрямо поигрывают ее заострившиеся скулы да мстительно щурятся глаза.

А скорая на руку осень шестьдесят восьмой параллели уже расплескивает по хвойному воинству обоих берегов крутую охру первого увядания. Над окрестными протоками и озерами отлинявшие гуси муштруют потомство для скорого полета

за тридевять земель. Время замыкает своей очередной круговорот.

К стыку Нейничка — Пантайка мы выходим под вечер, но уже после двух часов сна Колпаков будит нас:

— Дома отоспимся. Запаздываем. Спешить надо. Место здесь царское: высоко, сухо, и с подветренной стороны — сопка.

Теперь нас, работающих, трое. Мы с Тихоном валим лес, а Колпаков встает на очистку и корение. Ставить сруб достается опять-таки нам: у начальника дня на два дела впрок. Плотничает Тихон, не в пример цыгану, медлительно, с ученическим старанием принаравливаясь к лесине. Прежде чем вогнать топор в мякоть дерева, он долго подтесывает засечку и только после этого ударяет, не сильно, но расчетливо. На перекурах Тихон молча дымит самокруткой, изредка высказываясь, вроде:

— Самдел что, он куда лучше фабричного...
Куда.

Или:

— Что-то в грудях у меня хрипит, видать, от консервы... Не люблю.

Тихонова страсть к потребительским сентенциям раздражает меня. Я пробую позлить его:

— Слушай, Тихон Савельевич, ты не про жратву можешь, а?

Он равнодушно выпускает дым из поклеванных оспой ноздрей и молвит кротко и даже как бы сожалеюще:

— Обидеть хочешь? Не под силу, голубок, тебе задача. Да и людское ли это дело, обижать? Смотри, — напарник закатывает рукав гимнастерки, — можно меня шибче обидеть? Германская работа... Аккуратная.

На волосатой его руке чуть пониже локтя явно проступает цифровая отметина «7736». Я

чувствую, как жгуче вспыхивают кончики моих ушей, и стыд берет меня за горло. А Тихон, этак словно между прочим, спохватывается:

— Обкурились мы с тобой, брат. Трифоньч-то, смотри, как вымахивает... Жилистый человек.

И опять взрывная волна откровения сдувает с души моей серый пепел устоявшихся мыслей, обнажая ее для пристрастного допроса жизни:

«Кто и когда давал тебе право судить этих людей? Разве их собственные судьбы мельче и легче твоей? Или, может быть, они обязаны выворачиваться перед тобой наизнанку?»

Я гляжу на рябое лицо напарника, обрызганное льдистыми блестками пота, на его раздувшиеся от напряжения шейные жилы и говорю, будто выдыхаю после глубокого нырка:

— Покури, Тихон Савельевич, здесь одному сподручнее.

— А ты что ж?

— Так ведь я не курю.

— Ну-ну... Работай.

Тихон садится, сворачивает козью ножку, и тут же, как от вспышки его спички, — крик, отрывистый, надрывный, женский:

— А-а-а!

Сердце, словно в затаянном прыжке, обморочно холодеет. Я еще не успеваю опомниться, а Колпаков темной птицей уже проносится мимо меня туда, к костру. И, перед тем как я кидаюсь за ним, взбудораженное сознание схватывает и прячет в одном из своих тайничков три Тихоновых пальца, сведенных в библейскую щепотку.

По дороге я сослепу натыкаюсь на согбенную колпаковскую спину. И мы замираем с ним шагах в двадцати от костра, рядом с которым над распластанным по оленьей шкуре Димкой сидит, медленно раскачиваясь всем телом из стороны в сто-

рону, Христина. Она не плачет. Она только тупо раскачивается всем телом из стороны в сторону. Колпаков оборачивает ко мне пожухлое лицо и с остервенелым бешенством хрипит сквозь зубы куда-то поверх моего плеча:

— Вот так я тебя, проклятую, и обживаю весь век.

Я молчу. По-моему, мне сейчас надо молчать.

IX. К Гусь-озеру.

Колпаков, как всегда, в определениях категоричен:

— Пантайки нам тремя лодками не осилить. Двумя — не успеем до заморозков. Да и харчей в обрез: треть потеряли. Из графика мы с вами тоже выскочили по независящим бедам, а ждать у моря погоды — смысла нет. Исход один: разделиться. Кто-то останется с ней, — он кивает в сторону Христины, — у нее дитё, ей идти нельзя, а кто-то пойдет со мной к Гусь-озеру, подстрахует меня на всякий случай. Оттуда спустимся с продуктами обратно на душегубке¹. А тамошние охотники общат на базу. Летуны нас снимут, благо здесь и коса для посадки царская. Я вот тут прикинул, думаю, недели за три обернемся... Считаю, Тихону Савельевичу остаться способнее: он постарше. Ясно?

Все молчат: начальству видней. После много-речивой паузы Тихон в упор спрашивает Колпакова:

— Заряды делить будем?

Тот одобрительно ухмыляется:

— Стбящая речь.

¹ Душегубка — очень легкая лодка, годная для переноса.

И сразу же мне:

— А ты отсыпайся. Пять часов срока. Я разбужу.

Конус палатки смыкается надо мной, и трепетные сновидения спешат ко мне из отдаленных уголков памяти...

Свет, свет, свет... Как удивительно много света! И березы... Березы, солнечно невесомые, праздничные березы... Где-то я уже видел их?.. И дорога, дорога без единого поворота, дорога, будто выстреленная в зенит... По-моему, я ходил по ней... И двухэтажный дом в самом конце дороги, дом белый и колеблющийся, как призрачный... Я бывал в нем, честное слово, бывал! Я узнаю зеленый штакетник вокруг него. Я почти десять лет выстукивал на этом штакетнике свое собственное детство... И голуби! Сколько их! Они плывут над головой тихо и умиротворяюще... Но что такое? Это уже не голуби, а конверты, конверты всякой величины и расцветки. Их много, их очень много... Но ворота раскрываются, и навстречу мне шагает Аркадий Петрович с моими письмами в руках. Я узнаю каждое из них. Вон то, с кляксой в правом углу, я отправлял из Тулы, а вот то, на котором пометка «авиа», написано мной в Ашхабаде. Подним — я переписывал его дважды — владивостокское послание. Но где же мое последнее письмо? Я не вижу его здесь... Аркадий Петрович все ближе, ближе. Я жду объятий и доброго слова, но вместо приветствия воспитатель по-колпаковски сипло спрашивает меня:

— А Мора, по-твоему, тоже, так сказать, сволочь?

Я силюсь крикнуть ему что-то отчаянное, оправдательное, но слова не слушаются меня. Мне хочется плакать от бессилия и обиды, а слез нет.

А воспитатель опять подступает ко мне Колпаковым:

— А Димка, по-твоему, тоже, так сказать, мразь?

Я набираю полную грудь воздуха и кричу, кричу во весь обретший вдруг силу голос:

— Аркадий Петрович, не надо! Заче-е-ем, Аркадий Петрович.

А реальный Колпаков — пропахший дымом и махоркой Колпаков — уже расталкивает меня:

— С нечистой силой воюешь? Хватит, оставь малость на другой раз. Выходить пора.

Покуда я укладываю в мешки выделенный на мою долю груз, начальник инструктирует Тихона.

— Харчей у тебя, сам понимаешь, надо б меньше — некуда. Поэтому раскидывай насчет приварка. Заряды береги. Сейчас рыбы пропасть. Бабу особо не впрягай, сам понимаешь.

— Свои были, знаю.

— Ну, тогда тебе и книги в руки.

— Бог даст.

Перед выходом мы, по обычаю, присаживаемся. Вещая тишина обступает нас со всех сторон. Слышно только, как гудит ветер в косматых вихрах оржавевших лиственниц да глухо рокошет вода на близком перекате. Таежное безмолвие подавляет меня. Все видится по сравнению с ним жалким, малозначащим. Страх перед неизвестностью мурашистой сыпью продергивается по коже. Но Колпаков уже на ногах.

— Время.

Мы уходим не оборачиваясь. Мы идем мимо свеженасыпанного холма, бережно укрытого хвоей, по земле, отогретой для жизни теплом еще одного безымянного сердца. Мы не оборачиваемся: оборачиваться — плохая примета. И к тому же нам еще далеко, очень далеко идти.

Х. Я иду дальше

Не знаю, есть ли в тайге что-нибудь страшнее, чем гнус, — самое, пожалуй, крохотное существо из всех видимых простым глазом. От гнуса не спасают накомарники. Гнусу достаточно еле заметной лазейки, чтобы пробиться сквозь сто одежек и застежек к пахнущей потом коже и вкиспеть в одну из ее пор. Гнус гложет нас, гнус пьет из нас кровь, и мы спасаемся от него лишь под благодатной завесой хвойного дыма. Хотя дым — это тоже не сладко. Дым выедает глаза, дым забирается в легкие, вызывая горький, сухой кашель, но гнус все же во сто крат мучительнее.

Дни похожи один на другой, и я давно теряю им счет. Все наши графики на шестые сутки пути летят к черту: у Колпакова начинают отекают ноги. Он говорит — почки. Сапоги ему приходится пропороть до щиколотки, и уже через сутки они расползаются до основания. Тогда мы полосуем спальный мешок, и начальник мастерит себе из двух его половинок нечто вроде пим. Движемся мы теперь короткими, двух-трехчасовыми бросками: большего расстояния Колпаков не осиливает.

А холода гонятся за нами по пятам. От утра к утру ледяные припая по берегам встречных озер и ручьев все шире и шире; ржавая накипь по зелени приобретает явственную устойчивость, и птичьи станицы, обгоняя нас, кричат деловито и дружно. И солнце скатывается наконец за урочный предел.

Сегодня пробуждение встречает нас белыми мухами. Они кружатся в сером, враз отяжелевшем воздухе, липнут, мгновенно тая, к лицу, осыпаются искристой пылью в матовый ягель. Мы проигрываем смертную гонку: холод наглухо заарканивает нас.

Нам остается глядеть сквозь входную прорезь палатки в эту кутерьму и думать об одном: конец. Но вот горячая колпаковская ладонь стискивает мне пальцы. В его тоне просительная настоятельность.

— Здесь, Витя, ходу дня на три осталось. А со мной мы неделю ухлопаем, и то едва ли толк будет. Я тебе на бумажке набросаю, что к чему. У тебя вроде десятилетка...

Смысл его речи только сейчас доходит до меня. Кровь бросается мне в голову. Я отдергиваю руку.

— Ты что, Алексей Трифонович!

Голос Колпакова наливается злостью и железом:

— Слушай ты, сверчок с Преображенки, хочешь подохнуть — подыхай, но прежде доберись до Гусь-озера. У тебя на совести три души, меня не в счет. Я к тебе в святцы не записываюсь. Да и, может, отлежусь еще. Вылезай! Вылезай, говорю!

Когда я оказываюсь снаружи, он кидает мне под ноги вещмешок и ружье.

— Бери.

Я смотрю в его водянистые, без единой искры пощады глаза и вдруг с тоскливой ясностью отмечаю, что сейчас я боюсь не за него, а за себя. Боюсь этих немереных трех дней, боюсь одиночества, боюсь жуткого, изнуряющего единоборства с лесом.

А Колпаков тем временем мусолит карандаш, царапая скрюченными пальцами в записной книжке одному ему понятные знаки. Затем он вынимает из-за пазухи перетянутую резинкой пачку документов, приобщает к ней свои записи и бросает всю связку мне.

— В книжке на букву «П» — точный для тебя маршрут. Главное — держись юго-востока: обязательно уткнешься в озеро. Остальное знаешь. Твоя

задача — привести на Пантайку людей. Схема баз в книжке на букву «Д». Документы сдашь в контору. Там партбилет, паспорт, воинское свидетельство и письма. Писем шесть штук. Пусть отправят или сам отправь. Они все по одному адресу... Все. Иди!

Я не двигаюсь с места.

— Отчаянный ты ребенок, Суханов, — он подтягивает к себе ружье, — коли со мной в кошки-мышки сыграть хочешь. У меня, заруби, рука не дрогнет. Вдвоем нам все равно не дойти.

Я вижу, как мертвенно белеют его губы, а глаза делаются совсем стеклянными. И вот уже два ствола оскаливаются в мою сторону и замирают выжидающе.

— Раз.

Я совершаю полуоборот.

— Два.

Я встаю лицом к чаще.

— Ну!

Я делаю первый шаг. А дула впиваются мне меж лопаток хищным, требовательным оскалом. Я иду дальше, и колпаковский полухрип-полустон напутствует меня.

— Главное — держись юго-востока!

XI. Пробуждение

Тепло. Очень тепло. Наверное, я замерзаю. Говорят, это самая легкая смерть. Мысль о смерти не пугает меня теперь. Не надо двигаться, не надо идти, не надо выть от холода и тосковать по сухарю. Нет, и вправду все очень просто: лежи и ни о чем не думай.

В нос бьет густой и кислый запах лежалой овчины. Но ведь сны не имеют запахов. Значит, все же это действительность. Нужно проснуться, нуж-

но во что бы то ни стало прийти в себя! Веки будто склеенные. Я раздираю их руками.

Прямо вровень с моим подбородком на грубо сбитом столе чадит плошка, выхватывающая из темноты кусок закопченной бревенчатой стены с лоскутом госстраховского плаката и глыбистого старика в меховой безрукавке поверх вязаного свитера. В старике что-то от мореной коряги, где каждая деталь в отдельности — совершенство, а все, вместе взятое, представляет собой хаос. Он, кажется, весь состоит из беспорядочно переплетенных жил, морщин, вен. Старик сучит дратву, перехватив ее за один конец крепкими желтыми зубами. Я приподнимаюсь на локте:

— Долго я отсыпаюсь?

Он невозмутимо доделывает работу, старательно сматывает дратву вокруг ладони, завязывает, кладет на стол и только теперь отвечает неожиданно свежим тенорком:

— Три дня, как одна копейка.

— Это озерное займище?

— А то как жа?

Тепло. Очень тепло. Я оглядываюсь на поросшее толстым слоем инея окошко, и меня бросает в дрожь. Зачем мне идти туда? Я не хочу повторять этого пути. И потом им все равно не продержаться. Слишком много прошло времени. Не меньше месяца. Да, не меньше. Тайга умеет молчать. Никто никогда не узнает об этом. Здесь так тепло, так спокойно. Я не хочу идти обратно. При одном только воспоминании о пройденном мне хочется кричать благим матом: «Не хочу, не хочу, не хочу!»

Хозяин складывает передо мной еще пахнущие домашним дымом пожитки. Поверх одежды ложится знакомая пачка документов, перетянутая резинкой.

— Самое главное, — говорит старик.

Я эхом вторю ему:

— Самое главное. — И, пугаясь собственных слов, начинаю говорить отрывисто и лихорадочно: — Слушай, отец, на Пантайке люди погибают!.. Два человека... Женщина. Беременная... — По мере того как я выговариваюсь, во мне нарастает решимость, и я уже знаю, что пойду, пойду через «не хочю». — Надо идти... Пропадут ведь... И на базу сообщить...

Старик ухмыляется в спутанную бороду.

— На базу брат мой, Ефим Зотов, пошел. И мы с тобой утром двинем. — И после паузы поясняет: — Ты тут на лавке за трое-то суток этакого понаговорил...

Первые фиолетовые блики с востока застают нас в пути. Старик выводит меня к озеру и уступает лыжню:

— Ну, веди по своей книжице. Не собьешься?

— Не собьюсь.

Теперь-то уж я наверное знаю, что не собьюсь. Нет, не собьюсь.

XII. Адреса наших писем

Я тяну дверь на себя. Она не поддается. Ее приходится выдирать из смерзшейся коробки топором. После снеговой ослепительности темь внутри времянки кажется чернильной. Постепенно глаза привыкают к ней, и я вглядываюсь в очертания предметов на нарах. Гора тряпья на нижней полке начинает шевелиться, и до меня добирается бескрылый шепот:

— Люди... люди...

Я бросаюсь на голос, трясущимися руками шарю по обмерзшим тряпкам и наконец нащупываю лицо:

— Христина!

Я чувствую прикосновение к кончикам моих пальцев теплых капелек, спазмы начинают душить меня. Я глажу ее мокрые щеки, ощущаю на своих ладонях прикосновение ее сухих губ, и что-то доселе неведомое мне, огромное заполняет душу. Потом женщина властно притягивает мою, чужую для нее, зато мужскую руку к себе на живот, и новая жизнь отрывисто, но упрямо затевает победную перекличку с грохочущим во мне сердцем. Я плачу. Это больше, чем благодарность, это — прозрение. Я плачу и впервые за короткий век свой не стыжусь собственных слез.

— Сейчас будет тепло, — говорю я, — сейчас будет очень тепло.

Шепот ее еле слышен:

— Под головами... Возьми... Мешок Тихона... Там еще крупа осталась.

— Со мной люди, — успокаиваю я, — у нас все есть... А где...

Она не дает мне договорить:

— Ослаб он очень... Сам ушел... «Не вытащить, говорит, тебе меня, как смердить начну».

А с порога заполняет времянку зотовский тенорок:

— Живы?

— Живы, отец.

Зотов сбрасывает на пол охапку щепы:

— Выходит, греться будем,

Он начинает разжигать печку. С холода щепы загорается плохо. Я шарю у себя по всем заначкам в поисках бумаги и натываюсь во внутреннем кармане робы на письмо, написанное, но так и не отправленное мной из Верхнереченска. Я бросаю его старику.

— Этим сподручнее.

Свертывая бумагу в трубку, Зотов осведомляется:

— Смотри, — может, нужное что?

Я твердо говорю:

— Нет!

Что ж, это и правда. Ведь письма — не жизнь,
их можно переписывать заново.

ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Добро всегда в душе нашей,
и душа добра, а зло привитое...

Л. Толстой

I

Я с трудом расклеиваю веки. Острый ослепительный свет врывается в меня. Круги — синие, зеленые, красные — плывут и множатся перед глазами. Затем проявленные отстоявшимся сознанием, сквозь многоцветные радужные разводья прочеканиваются лица: одно — юное, по-монгольски скуластенькое, с широко расставленными миндалевидными глазами, другое — старушечье, примятое временем, тонкогубое. Тихо и почти бесстрастно шелестят надо мной голоса:

— Колька-то знает?

— Так я ему и сказала.

— А ты скажи.

— Скажешь, а он подумает, что навязываюсь. Вот рожу, тогда пускай и решает.

— Отец.

— Отец — так что?

— Должон жениться.

— Должон! Да зачем он мне из жалости-то. Не захочет — не надо, сама выращу.

— Гонору в вас, нынешних, тьма, да мало ума. В мои-то годы задрал бы отец тебе подол на косы, да и по мягкому месту сыромятью...

— Метет...

Мне слышно, как на дворе колобродит ветер. Он то утихает, то наваливается на стены с еще большей силой, ссыпаясь по стеклам хрусткой кру-

пой: кажется, будто кто-то, озоруя, бросает в окно песок горстями. Простуженно выбивается из-под метельных наплывов речитатив движка. В такт ему лампочка под потолком трепетно мерцает...

— Сима-то наша сама не своя. Человека оперировать надо, а Иван Антонович в Сабурове застрял.

— Подрожись — не обезножел бы.. Тьфу, тьфу, тьфу! Прости меня, Господи!..

Я смыкаю веки. Я должен все знать о себе со стороны. Это для меня уже профессиональное. Мне крайне важно выяснить сейчас: где я, как я сюда попал. Последнее, что удерживает память, — это падение, обжигающее и бесконечное...

Слова, точно сухие листья, шуршат у моего уха:

— Антоныча нет — отвечать ей, больше некому.

— От Сабурова-то верст сорок без малого. По такой сутемени не шутка.

— Не старый еще, только зарос сильно.

— Вот я и говорю — не обезножел бы.

— Из экспедиции, видать. Они все с бородами.

Разговор затухает, а до моего сознания доходит наконец страшный смысл этого самого «не обезножел бы». И я чувствую, как кровь останавливается во мне. Если так, то наших нет — игра кончена. Весь я против воли подаюсь вперед. Но сразу же гулкая прострельная боль опрокидывает меня в головокружительное ничто.

II

Я выхожу на крыльцо. В руках у меня портфель. Впереди — три изученные до последней трещины ступеньки, от которых, рассекая двор надвое,

ведет меня к калитке выщербленная кирпичная дорожка. Так же, как и вчера, курятся наподобие потухающих вулканов разновозрастные терриконы, кольцом обступившие наш приземистый Южногорск; так же, как и вчера, сызмала знакомые звуки и краски устремляются ко мне со всех сторон: петушиная переключка, белье на веревках вдоль забора, кружение тополиного пуха; так же, как и вчера, я иду в школу, куда ходить мне еще долго-долго, целых три года. Но я чувствую: что-то переменялось во мне. Если раньше я сливался со всем окружающим и казался сам себе только его маленькой и почти незаметной частичкой, то сегодня мне начинает видеться, будто я выхвачен из привычной для себя среды ярким снопом света и каждый мой шаг, каждый мой вздох теперь исполнены какого-то нового сокровенного смысла. Я предчувствую близкую и бесповоротную перемену в своей судьбе. И первое событие этой перемены уже произошло: нынешней ночью арестовали моего отца.

Трое явились чуть не под утро и переполошили весь дом. Не проснулась только Галья — моя младшая сестренка. В то время, когда она досматривала предутренние сны, глазастый красноармеец, стоявший у стены между дверьми и Галькиной кроватью, то и дело поправлял на ней сползающее одеяло. Двое в штатском деловито рылись в шкафу и ящиках комода. Вещи они раскладывали на два вороха: как бы играли в «чет-нечет». Когда все было кончено, на самом верху большого вороха оказались отцовы кальсоны с ржавыми пятнами от железных пуговиц, а на той куче, что поменьше, наш семейный альбом в потертом сафьяновом переплете: в нем дотлевали засушенные цветы и фотографии всей нашей родни, как выражалась мать — «до седьмого колена». Затем один из штатских

— жесткоскулый, с бритой головой — коротко кивнул отцу:

— Живей, Царев!

А отец в это время никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок, словно живой, все выскальзывал из-под ступни. Мать обеими руками держалась за косяк шкафа и мелко-мелко всем телом дрожала. Самое жуткое было в том, что она не кричала, не билась, а вот так судорожно и мелко дрожала. Но главное — эти кальсоны в ржавых пятнах от железных пуговиц и наш семейный альбом, из которого торчал пожелтевший угол оборотной стороны фотографии с обрывком фразы: «Фенечке от род...»

Меня окликает знакомый до судорог в скулах голос:

— Сережка!

— Ты?

Это Зина, моя соседка по парте. У нее упругие, словно из резины, косички, конопатый, с чуть приплюснутыми крыльями нос и круглые, всегда с выражением удивления в самой глубине глаза. Зина живет напротив, а потому в школу и домой мы ходим вместе. Но, может быть, и не только потому. В классе нас дразнят «жених и невеста». Зина в таких случаях лишь упрямо подергивает остреньким плечиком, а я лезу драться. Сейчас она стоит передо мной, опустив голову. Носок ее ботинка медленно выписывает по тротуарной пыли замысловатые зигзаги.

— Мама сказала: нам с тобой не следует ходить вместе.

Серое небо валится на меня. Я вдруг кажусь себе мухой, раздавленной на огромном зеркале. Я тупо слежу за рисунком причудливых Зининых зигзагов.

— Почему?

У моего бескрылого вопроса ни намека на окраску.

— Сам понимаешь.

— Понимаю.

Я поворачиваюсь и иду. Зина догоняет меня. Откуда-то из странного далека пробивается ко мне ее голос:

— Но я все равно буду сидеть с тобой на одной парте, честное пионерское!

Мне уже безразлично. Пусть сидит, если ей так нравится. Едкий комок распирает мне горло. На уроке перо в моих руках то и дело спотыкается, выбрасывая из-под себя фонтанчики чернильных брызг. Ватная рука нашего словесника Валерия Николаевича, по кличке «Трехгубый», шлепается на плечо:

— Надо думать, Царев!

Мне противен этот тихий, вкрадчивый голос. Даже не поднимая головы, я до тошноты явственно вижу перед собой мясистое, словно наспех вылепленное из глины, лицо с рассеченной надвое нижней губой, лоснящийся шевиотовый пиджак, густо припорошенный перхотью, и руку — дряблую, со вздутыми венами под рыжей порослью на тыльной стороне ладони. Мне вдруг страстно хочется сбросить ее с своего плеча, как лягушку. Но я только еще ниже опускаю голову. Мне теперь на все наплевать. Я только стараюсь не глядеть на учителя. Я боюсь, что запущу в него чернильницей.

Но голос обволакивает меня, и я чувствую, как задыхаюсь в нем, словно в густой и топкой паутине.

— Э-э... Не понимаю, Царев, не понимаю... И встань, пожалуйста, с тобой говорит педагог... Право, не к лицу пионеру...

Едкий комочек в горле вдруг взрывается, жаркой волной отхлынув к самым корешкам волос. Я

вскакиваю и, ни на кого не глядя, выбегаю из класса.

На улице накрапывает теплый дождь. Я иду вдоль низких, словно распираемых зеленью палисадников, сжав кулаки и ненавидя весь мир. Дождь припускает все сильнее. Лицо мокро от дождя, но дождь почему-то соленый. Я боюсь себе в этом сознаться: мне уже четырнадцать лет.

Возвращаться домой я не хочу. Дома теперь как в заброшенной церкви у Хитрова пруда — гулко и пусто. Только отец мог наполнить для меня окна теплом и светом. Без отца я всегда чувствовал себя на свете немножко лишним. Я постоянно кому-нибудь и отчего-нибудь мешал. Говорят, я родился рахитиком и много кричал. Поэтому нелюбовь ко мне домашних — явление традиционное. Не знаю, чем показался я отцу, но только он разговаривал со мной как равный с равным, не сюсюкая и не подлаживаясь. Я платил ему единственным, что у меня было, — преданностью.

С сегодняшней ночи враги для меня — не маски с книжных страниц и киноленты, а зримые, осязаемые люди. Это все те, кому дано право обыскивать, уводить, ставить отметки, требовательно свистеть на перекрестках, заставлять «расписываться в получении». Я ненавижу их всех, вместе с их кокардами, бляхами на фартуках, разноцветными окольшечками и нарукавными повязками. Во мне просыпается исступленное желание противостоять этой силе, и я мысленно кричу: «Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту!»

Ноги сами приводят меня к старому железнодорожному мосту у переезда. Я люблю смотреть, как, набирая скорость, скрываются за ближайшим поворотом грохочущие составы. В такие минуты мир перестает для меня существовать. Я мысленно переносусь к иным берегам, под иное небо...

Над крутым обрывом у трех вековых пальм стоит одинокая хижина. Гудит под обрывом океан, крупные теплые звезды стерегут тропическую тишину над бамбуковой крышей. Внутри хижины никогда не потухает грустный огонь. Языкастые блики тихо колеблются по стенам, циновкам, задумчивому лицу Той, что ждет Его. Ее зовут — Таминьга. Она — дочь великого вождя племени агу-ога Орлиный Клюв. Множество красивейших и знатнейших охотников окрестных племен сватают ее. Но молчит прекраснеликая Таминьга, третий год молчит. Покоренные ее великой скорбью, отступаются именитые женихи.

Но вот подступает к ней отец — сам непревзойденный Орлиный Клюв. Печальны слова его:

— Дочь моя! Вот уже три года ты молчишь. Лучшие из молодых воинов нашего и соседних племен уходят от тебя ни с чем. Я стар, бог солнца скоро призовет меня на вечное пиршество, а мне все еще некому передать судьбу своего племени. Заклинаю тебя звездой, что светит над нашей хижинкой, поделись со мною печалью.

Тогда говорит прекраснеликая Таминьга своему отцу так:

— Отец мой! Я поведаю тебе печаль своего сердца. Далеко-далеко отсюда, по ту сторону океана, в маленьком городе со старинным названием Южногорск, живет благородный юноша Сережка Царев. У него нет пирьги. Ему не на чем переплыть океан, а потому мы вынуждены любить друг друга в разлуке до гробовой доски. Вот все, что я могу поведать тебе, отец мой!

Ничего не ответит дочери непревзойденный Орлиный Клюв: в племени агу-ога болтливость считается позором. Орлиный Клюв только наденет мокасины и сядет в самую большую свою пирьгу.

А прекрасноликая Таминьга выйдет на берег и будет долго смотреть вслед уплывающему отцу круглыми, с постоянным выражением удивления в самой глубине глазами, распустив по плечам в знак скорби свои упругие, словно из резины, косички...

Сиплый паровозный гудок возвращает меня к действительности. Внизу проплывает товарник. На тормозной площадке хвостового вагона деловито уместился крохотный человечек, с головой утонувший в огромном дождевике. Поезд набирает скорость, и издали человечек в брезентовом дождевике видится мне гусеницей, едва проклюнувшей кокон: голова упрямо шевелится, выбиваясь к свету. Но вот за красным огоньком сигнального фонаря смыкается серая пелена. Мне становится до слез завидно тому человечку в брезенте, что сидит сейчас на тормозной площадке хвостового вагона и смотрит себе по сторонам. А что ему действительно — сиди и смотри, сиди и смотри: тепло, видно, в дождевике-то. Где-то уже совсем вдалеке слышится даже не гудок, нет — какой-то протяжный полувздых-полустон: это поезд по стыкам, как по лесенке, уносится туда, где кончается наше серое небо. А может быть, оно кончается за первым же поворотом? И скорее всего — за первым.

Я вдруг захлебываюсь судорожным глотком настоящего на дожде воздухе. Далекий гудок будто нащупывает в моей душе еще не тронутую струну, и она — эта струна — победно откликается на его зов. Кровь ошалело стучит в висках. Через минуту я уже бегу между вагонами, таясь от проводников и осмотрщиков. Наконец темный зев порожного «пульмана» укрывает меня в своей гостеприимной глубине. В вагоне пахнет сеном, нечистотами, прелой рогожей. Сквозь дождевую завесу роем светлячков мельтешат под насыпью южногорские огни. Я вымок до нитки, но мне тепло и покойно,

наверное оттого, что теперь я могу не думать так много и так надоедно о тусклых и обиденных вещах. Прошлая жизнь кажется мне в эту минуту почти приснившейся и немного смешной. Передо мною проходят лица: безгливое — матери, аляповатое — Валерия Николаевича, удивленное — Зины, недоумевающее — отца. Я их по-взрослому снисходительно жалею. Да, жалею — только и всего.

Поезд набирает скорость. И вот уже сквозь расплзающиеся прорехи туч под крышу вагона начинают заглядывать звезды. По-моему, они все-таки теплые.

III

В простынях я словно мышь в мокром кисете. Кажется, будто я прямо-таки исхожу водой. Но во рту сухо и горько. У койки клюет носом старуха сиделка. Та самая. От вязанья на ее коленях тянется нитка к закатившемуся под кровать клубку. Вьюга уже не наскакивает на стены задиристыми порывами, а ломит напролом: стоит ровный сплошной гул. Как в печке при хорошей тяге.

— Попить, мать!..

Старуха вздрагивает, хватается за вязанье. Спицы в ее руках начинают быстро-быстро мелькать, на низывая — одну к другой — убористые петельки.

— Попить, говорю! — повторяю я.

Старуха спохватывается:

— Сей секунд, милай!

Она произносит «милай», растягивая последний слог, отчего само слово приобретает в ее устах удивительно добрую окраску. Я жадными глотками отхлебываю воду. А старуха, поддерживая кружку, певуче приговаривает:

— Пей, милый, от воды — сила. Все на воде стоит.

— Где я, мать?

— Как иде? В Кириллино, в больнице, а то как жа?

— Верхнереченск далеко?

Старуха полотенцем вытирает пот с моего лица.

— И-и, хватил — Верхнереченск! До Верхнереченска отсюда верст с тыщу — не мене... А у тебя родня там, что ли ча?

— Да вроде...

Она сочувственно причмокивает дряблыми губами:

— Далече...

Прикидываю: если мы не сбились с пути, то я нахожусь где-то на полдороге к Шацку. Шестьсот километров — немного для двух месяцев таежной тоски! Проклятая лихорадка! Она всегда подкрадывается ко мне в самое неподходящее время. Пателефон погиб, я уверен. Черт с ним! Это его плата за предательство. Но неужели все-таки конец? Только бы сохранить ноги. А если нет? Все равно, все равно я уйду. Зубами буду грызть глотки, но уйду. Лучше уж там — в тайге... В коридоре я слышу шаги... грузные, но мягкие — женские. Я закрываю глаза. Я весь — слух. И опять полусшепот начинает колдовать над моей головой.

— Ну как?

— Оттаивает... Просьпался, спрашивал, где, мол? Вроде из Верхнереченска сам-то.

— Что делать, что делать, Трофимовна, ума не приложу. Связи с районом нет, а бурана еще суток на трое хватит. Человек-то на ладан дышит... Господи!

— Может, кто собаками возьметса?

— Кто же возьмется? По такой пурге только к чертям на шабаш и ездить.

— Помрет, поди, а то и обезножет — того хуже... Видать, семейный, лета — самый раз.

— От злости хоть волком вой, а жди. С Варварой вот тоже третий день маюсь.

— Все никак не опорожнится?

— Баба здоровая, а вот поди ж ты.

— Ничего. Был бы хилый, враз выскочил бы.

А значит, в отца.

— Чуть не ночует под дверями.

— Еще одного ночевщика жди.

— Это кто же?

— А Николай наш.

— Да ведь не регистрировались.

— А нонче мода такая.

— Ох, молодежь, молодежь...

Тихими, словно бы и не окрашенными чувством словами стучится ко мне в душу чужая, едва понятная для меня жизнь, рядом с которой я прожил на свете свои — ей-Богу странные — сорок лет.

IV

Я не люблю танцев. Даже больше: я их ненавижу. У моей неприязни к танцам веская причина: желание спать. Но несколько десятков пар подошв ежевечерне — с семи до часу — шуршат у моего изголовья, а духовой оркестр надо мной подбирает под них из лязга, стука и воя вытягивающие душу мелодии. Я ворочаюсь с боку на бок в своем логове под эстрадой танцплощадки и никак не могу заснуть. Будь проклят тот человек, который первый вильнул задом в такт первому аккорду! Я хочу спать, я безбожно хочу спать. Как им не надоест? Ну, велика ли, скажите, радость, вцепившись друг

в друга, таскаться из конца в конец деревянного настила? Сон — душный, тяжеловесный — обычно оглушает меня сразу одним ударом, как зверь окончательно измотанную жертву. А едва солнечные блики начинают протискиваться сквозь узкие щели меж досками, я выскальзываю из своего тайника и бегу к морю. Море распластывается передо мной огромным, но добродушным и невесомым чудовищем, и я бросаюсь к его скребущимся о чуткий берег лапам — крохотный и умиротворенный. Под колыбельное урчание светлозеленой воды я досыпаю утро. У моих зоревых снов крылья, не в пример ночным, легкие.

День мой начинается у вокзала. Размахивая над головой мотком веревки, я выбегаю к семичасовому тифлисскому:

— Висс унда муша? Висс унда муша?¹

Затем — ровно в восемь — я уже у ворот кондитера-кустара Дадико Шомия — бритоголового утрюмого мингрельца с мясистой волосатой грудью под распахнутой белой курткой, которому я помогаю разносить лотки к трем окрестным школам. К двенадцати эти же лотки я переносу к пляжу, а под вечер — в парк. За работу Шомия платит мне три рубля и вдобавок обеспечивает дневную «легальность», выдавая меня за дальнего родственника: благо я черен от загара и давно говорю по-грузински. Между делом пробавляюсь на базаре. Здесь, в водосточной трубе, у меня хранится палка с гвоздем на конце. Вооружившись ею, я со скучающим видом прохаживаюсь вдоль фруктовых рядов. Для неискушенных все выглядит вполне благопристойно: мальчик гуляет с палочкой, ждет, надо думать, маму. Но стоит новичку за прилавком заглядеться, как палка моя, словно хищная птица, впивается

¹ Кому нужен рабочий? Кому нужен рабочий? (груз.).

гвоздем-ключом в заранее облюбованный предмет: яблоко, помидор, кусок мяса. Перед закрытием в укромном углу базара я сбываю добытое застиранным старушкам, доживающим свои сто лет на емкие пенсионные рубли. Таким образом, к концу дня у меня набирается рублей семь-восемь, а то и больше. Стаж моей бездомной жизни невелик — прошло всего полтора года с тех пор, как я в последний раз увидел южногорские огни под насыпью, — но в бродяжьей среде я уже пользуюсь известным уважением. Постоянство моих заработков, а также умение ускользать от облав делают меня в глазах многих существом необыкновенным. Я и сам чувствую свое превосходство над большинством беспризорного мира, но стараюсь не подавать виду: побьют. Размеренный ритм нового бытия нарушают только короткие, но острые приступы лихорадки, схваченной мною уже в первые месяцы пребывания на юге. Примерно в полдень я ощущаю предательскую слабость в ногах и зыбкую истому. Для меня это сигнал к отбою. Я уйду на берег моря и там, обложив себя с ног до головы горячим галечником, отлеживаюсь. Меня трясет мелкий малярийный озноб. Зуб не попадает на зуб, а галка лишь жжет кожу, не согревая и не успокаивая. Часа через два приступ кончается, и только вялость во всем теле почти до самого заката еще напоминает о нем.

Поздно вечером, минуя сильно освещенные места, я пробираюсь к своему жилищу. Там, под сценой, отделенной от мира деревянной переборкой, я чувствую себя владетельным князем: всему сам голова, всему сам хозяин. Я предаюсь мечтам. У них один адрес: высокий океанский берег, увенчанный тремя пальмами. И все бы было прекрасно, если бы не духовой оркестр над головой. О, как же я не люблю танцев, даже вернее — ненавижу.

А метель все раздувает и раздувает морозные костры на стеклах задернутого марлевой занавеской окна. Мне кажется, что я намертво одеревенел в стиснувших меня бинтах и продолжаю жить только малой своей частью — мозгом. Рядом со мной никого нет. Но дверь в коридор распахнута, и оттуда плывут ко мне голоса. С одним я уже свыкся — тонким, певучим. Другой слышу впервые — молодой, ломкий. Мужской.

Первый:

— Слова ты мне эти сто раз говорил, а сам вчера в читальне чуть не до ночи просидел... Еще и провожать ее пошел... Неправда, скажешь?

Второй:

— Чудная ты, Галка! Я же общественник. А Скорикова — человек у нас новый, при всем — городской. Не охвати — смалодушничают, убежит. И потом она какая-то такая... нездешняя.

— Всех-то «охватывать» начнешь, я и сама «нездешней» стану.

— Я тебе и говорю: давай поженимся.

— Одолжение делаешь? Разве так предлагают? Раз — и на тебе. Эх, ты!

— А что? В наше время все должно делаться без промедления и без лишних там всяких атрибутов. Вот я тебе говорю — хоть завтра.

— Спешу и падаю. Как же, герой!

— Опять заладила... А вообще-то как он?

— Помрет без Иван Антоныча. У него воспалительный процесс. Только и держится на снотворном. А то бы криком кричал.

— Тащил его, тащил, а он возьмет и помрет. Так-то, брат Николай, сын Петра. Село народу, а будем смотреть спокойно, как человек на наших глазах умирает...

Я усмехаюсь. Ишь желторотый страус: гуманистическую платформу под самолюбие подводит. Сам, конечно, не пойдет, а — как это у них называется — «людей организует». Сам же будет сидеть здесь — девку щупать. Знал бы, кого ты спасал, за сорок верст то место обогнул бы. Знаем мы вас, человеколюбивых.

Я скашиваю взгляд в сторону коридора. Парень стоит ко мне в профиль, привалившись к стене плечом. Он высок, патловат, с безвольным, плоским подбородком. Говоря, он рукой с силой теребит тесемку халатика, небрежно накинутого на плечи:

— Поговорю с ребятами. Побоятся — один пойду.

Ах как сразу меняется девчонкин голосишко! Он прежнего деланного небрежения и следа не остается. Я, даже не глядя, чувствую, как все до последнего нервика дрожит в ней, будто в осинке при дороге:

— Коленька, Бога ради, с ума не сходи. Кто же в такую непогодь тайгой ходит? Верная гибель!

— Не по-людски ты рассуждаешь, однако. Не можем мы, не имеем права отступить перед природой. Человек умирает — понимаешь?

Парень явно агитирует не девку, а собственный страх. Но я с жадностью прислушиваюсь к разговору: чем же он все-таки кончится? Меня страшит не смерть, нет, — перспектива, как выражается старуха, «обезножить». К смерти я отношусь равнодушно. Я, видно, организм примитивный. Помню, еще заключенный Зяма Рабинович объяснял мне, что лишь примитивные организмы безболезненно относятся к смерти, а потому выживают при самых невероятных обстоятельствах. Да, я много раз выживал, тогда как другие умирали. Вот хотя бы на юге или там — в плену. Но остаться

без ног! Я ведь не червяк, я не могу жить одной половиной. Если уж меня можно отнести к примитивному виду, то лишь к сороконожкам: мне необходимо уметь бегать...

А вьюга все продолжает вплетать свои жгучие ленты в резкую косу бьющего в глаза света...

Говор в коридоре становится тихим и почти бессмысленным:

Он:

— Понимаешь?

Она:

— Понимаю.

Он:

— Так надо, Галя.

Она:

— Так надо, Коля.

Он:

— Больше некому, Галя.

Она:

— Больше некому, Коля...

Это как перекликающееся в горах эхо. Я засыпаю под его тихие раскаты, но — черт побери! — последнее, что я чувствую, — грусть.

VI

В прежние дни я узнавал свое жилище по присущим ему запахам: прелой листвы, лежалого тряпья, гниющих досок. Сегодня обоняние мне изменяет. Я с несколькими бродягами сгружал одному оборотистому дельцу цемент на станции, и нос мой накрепко склеен бетонной пылью. Работа была адской: по двое взбирались в вагон, выбрасывали ровно по пятнадцать лопат и сразу же соскакивали на воздух. К ночи все валились с ног, зато каждый стал обладателем целого богатства — тридцати рублей. Причем за хозяйский счет наелись до от-

вала. За полночь все уходят искать вина, а я плетусь домой уставший, как черт, но довольный: такое счастье мне никогда еще не фартило. Танцы давно кончились. Отыскиваю две заветные доски, отодвигаю. В темноте нащупываю свое логово и, будто ударенный током, отдергиваю руку: там кто-то лежит. А этот «кто-то» сонно и пьяно бормочет:

— Ложись, не обижу.

Кровь бросается мне в лицо и начинает яростными молоточками стучать в виски. Я никогда не знал женщины. В детстве ею для меня была та — с косичками, будто из резины, и я носил тот портфель и делился яблоком на перемене. А юность теплилась во мне грустной сказкой о прекрасной под тремя вековыми пальмами. Правда, многие бродяжки моего возраста хвалились иногда при мне любовными похождениями и даже рассказывали подробности. Да я и сам не раз видел, как беспризорницы из тех, что постарше, уходили в темноту под берег Риони с ворами, но мне всегда казалось все это вроде бы ненастоящим, несостоящим.

Слышится протяжный зевок, на меня тянет винным перегаром:

— Ну, где же ты?

Влажные руки ее шарят по мне в темноте, зовут. Я, задыхаясь, отталкиваюсь, но сила, куда более огромная, чем стыд, захлестывает меня. И вот уже головокружительное тепло врывается ко мне в душу. И слова, почти лишённые смысла, слова страшные, как шорохи ночного леса, слова нежные, точно дрожащая дымка утреннего моря, начинают свое кружение у моего уха. Потом — забытье.

Утром она будит меня. Я стараюсь не смотреть в ее сторону: мне мучительно стыдно. Я угрюмо бормочу:

— Ну, чего тебе?

У ее смеха явно снисходительная окраска:

— Эх ты, в первый раз, наверно? Конечно, в первый — я-то знаю.

— Да уж не в тебя.

— Подумаешь, принц какой. Сказал бы спасибо...

Краем глаза я все слежу за соседкой. На вид ей лет пятнадцать, от силы — шестнадцать, но первые морщинки двумя снопиками лучиков уже отстрелились от уголков ее глаз. Хотя сами глаза — большие, серые, точь-в-точь два круглых голышика с берега — высвечены изнутри ясным и добрым светом. На тощеньком, обтянутом серой кожей лице они выглядят почти неправдоподобно. Что-то видится мне в них, а если честно, то я хорошо знаю, что именно: мое удивленное детство.

В то мгновение, когда соседка моя начинает причесываться, солнечный лучик, скользя в щель меж досок, падает на ее вскинутую руку. Бледная кожа у локтя начинает светиться, и я вижу все жилки под ней. Они трепетно пульсируют. И здесь волна неведомой мне дотоле благодарности подкатывается к сердцу:

— И зачем ты вот так-то, а?

Горьковатая усмешечка сквозит в ее словах:

— Ничего — привыкнешь. Станешь таким же, как все... Эх, похмелиться бы... Пошамать у тебя не найдется?

На чистой тряпице раскладываю я перед ней кукурузную лепешку, помидоры, соль.

— Зачем пьешь?

— Собака и та от тоски воет, а я вроде человек.

— Плохо — в колонию иди.

— Была.

— Жди — поверю.

— Была, дурашка. Это только по книжкам в

колонии рай. А мне там душу наизнанку вывернули. У, ненавижу!

Девчонка грозит куда-то вверх маленьким грязным кулаком. Но мне почему-то не смешно. Я протягиваю ей яблоко, и вновь что-то далекое, давнее, сокровенное слабым отзвуком вздрагивает в душе и тут же гложет.

Острыми, словно у крошечной пилы, зубами она надкусывает яблоко, подбирает под себя ноги, так что колени ее касаются моего плеча, и, наклоняясь надо мной, начинает говорить быстро, горячо, с придыханиями:

— Послушай, я вчера была с одним. Видно, вор, но из чистых — пижонистый такой, Альберт Иванычем зовут. После всего он мне дело предлагал. Мне, говорит, нужны такие щуплые. Домушник, наверное. Говорит, можешь, мол, вдвоем-втроем приходить. Вот тут я сразу про тебя и подумала. Я ведь тебя давно знаю. И конуру твою тоже давно знаю. Я тебя еще весной заметила. Больно ты не похожий на всех. Не ворует, и все особняком... А потом я тебя у моря видела... Я ведь тоже утром туда ходить люблю... Может, пойдём, а? Альберт Иванович нынче затемно приходить велел. Адрес дал... Пойдем со мной, а? Воровкой стану, так хоть не всякий лезть будет... Пойдем, а?

— Нет, мне такого дела не нужно. Своего хватает.

— А зимой как?

— Какая тут зима. Никакой зимы тут вовсе и нет. А от дождя я и под сценой перезимую. Даже лучше — танцев не будет, да и облав меньше.

— Трудно ведь зимой заработать. И потом голо все — на виду будешь. Не хочешь со мной вот так — я приставать не стану... Только бы душа родная какая рядом.

— Чудачка, да разве я тебе родная душа?

Она загадочно и светло этак улыбается.

— Теперь — родная.

— Как хочешь — не могу. Не надо мне такого дела.

Почти собачья тоска рвется из ее глаз.

— Да, может, он и не вор никакой! Ведь неизвестно, что за дело. Может, вправду хорошее. «Одену, говорит, обую. Пей, говорит, ешь — не хочу. А жилье!»

Я неохотно сдаюсь:

— Ладно, посмотрим.

Вся она озаряется такой кричащей радостью, таким торжествующим сиянием, что я вдруг каждой, даже самой малой, своей кровинкой ощущаю, какой же обидой ее обидели в миру!

Утренний город весь в смещении косяков тени и солнца. Море кольшется прямо над прибрежными крышами. И кажется, оно дышит. Еще безлюдно. Мы выходим с нею к пустынному берегу. Мы ложимся в еще прохладный галечник, и доброе небо оплывает над нашими головами к востоку стаей невесомых, как парусники, облаков. Я гляжу в солнечное марево горизонта, но уже не вижу за ним высокого берега, увенчанного тремя пальмами, и печального лица, застывшего в тоскливом ожидании. Сказки когда-нибудь должны кончаться.

VII

Сколько я проспал? Час? Вечность? Ноги тупо ноют, будто после ледяной воды. Дежурит скуластенякая. Она напряженно глядит в окно. Что она видит там? О чем она думает? Вот, видно, почувствовав на себе взгляд, она вздрагивает, оборачивается. С чуть осунувшегося лица ее соскальзывает к припухлым губам заискивающая полуулыбка:

— Держимся?

Вопрос задан ею явно по профессиональной привычке. Сама же она совсем не здесь, а вся в законной темени. Но мне не до лирики. Я должен знать правду, знать сейчас же. Я спрашиваю нарочито грубо, чтобы заранее предупредить жалость:

— Сестра, ноги отрежут?

Она снова вздрагивает и мгновение молчит, как бы вдумываясь в смысл вопроса. Потом сразу начинает говорить горячо и убежденно:

— Что вы, дорогой товарищ, что вы! Все будет хорошо, все-все! К утру привезут Ивана Антоновича, обязательно привезут, и все будет замечательно!

Но я-то чую, чую звериным нутром своим, что убеждает сейчас она вовсе не меня, а кого-то другого там, за окном, в тайге. Я и мщу ей за это по-своему:

— Врешь ты все, сестра!

Я достигаю цели: девчонка от неожиданности роняет на пол приготовленный ею было для меня градусник. Вскрикивает. Крутой подбородок мелко-мелко дрожит. А вот уже и частые, с замутью слезки бегут по смуглым щекам. Уронив голову на грудь, она семенит к двери. Только похрустывают под подошвами тапочек осколки градусника.

А через минуту приходит Сима. Раньше я знал ее только по голосу и походке, теперь вижу наконец в лицо. Сима — грузная, лет сорока женщина, с маленькими острыми щелочками вместо глаз на отечном лице. Ей-Богу, заочно она казалась мне много привлекательнее. Я ожидаю умеренных нотаций со спокойствием человека, которому на них наплевать. Но Сима, разместившись кое-как на табурете, сообщает доверительно:

— Вы ее простите, уважаемый! Она еще молодая, опыта нет. К тому же разволновалась. Жених

у нее пошел с собаками в район за нашим доктором Иваном Антоновичем. В такую пургу у нас никто не ходит. А она ведь на четвертом месяце, да... Так что вы уж не обессудьте. Вот вам, уважаемый, снотворное... Спите, утро, оно вечера мудренее... Вот и хорошо, уважаемый... Вот так... Пошла я, а то что-то сердце у меня нынче... К погоде, знать.

Сима уходит, медленно переставляя ноги-тумбы в войлочных шлепанцах: точь-в-точь добродушный слон с лубочной картинки. К своему месту на цыпочках вновь пробирается скуластенякая. Она считает, что я уже сплю, и молча садится у койки. Из-под припущенных ресниц мне видно, как глаза ее опять устремляются в одну точку — в окно. Вся она будто летит туда сквозь темь и снег — к нему, только к нему. И — черт меня побери! — я, засыпая, еле сдерживаю себя, чтобы не сказать ей: «Прости».

VIII

Странное лицо у этого Альберта Ивановича: резкое, почти меловое, обрамленное короткой рыжей прической, с бачками до подбородка. Трудно определить, сколько Альберту Ивановичу лет. Иной раз ему можно дать сорок, иной — шестьдесят. Когда он улыбается, смеется или даже хохочет, кажется, будто этим заняты у него только мускулы лица, а сам он — его тело, душа, глаза судорожно напряжены, как у кошки перед прыжком.

Сейчас я не вижу Альберта Ивановича в темноте, но и сквозь нее я чувствую на себе его взгляд, от которого, как и всякий раз за эти три года, у меня противно ноют коленки. Я никогда раньше не думал, что один человек может иметь вот такую власть над другим. Кажется, что ты в кошмарном

сне: тебя догоняет страшное и неотвратимое, а пошевелить рукой или ногой не в твоих силах. Но там на помощь приходит пробуждение. Здесь же я не могу проснуться вот уже три года. Три года его глаза приклеивают меня к месту, стоит мне только подумать о бегстве.

Единственный вопрос, который я осмеливаюсь задать ему в день нашего знакомства, так и остается первым и последним моим вопросом. В ответ Альберт Иванович коротко этак по-своему усмеяется:

— Кто я? Чудак! Я — цыгковой агтист. Ты был в цигке? Видел фокусника? Так вот я и есть фокусник. Я тоже могу вынуть из пустого цилиндра все, что угодно стгаждущей душе — от анаша* до шелковых чулок включительно. Так что, друг мой, считай, что тебе повезло, а твоей даме — вдвойне.

С тех пор я не спрашиваю, я только слушаю. Все — манера говорить насмешливо и небрежно, одежда, даже эта легкая картавость — отличает Альберта Ивановича от всех, с кем мне раньше приходилось встречаться. На людей он смотрит, как кукла, в упор, не мигая, словно бы и не замечает их. Но кто-кто, а я-то знаю, что вот этими, будто и равнодушными глазами мой хозяин видит, схватывает, запоминает многое. Иначе ему нельзя жить: Альберт Иванович — контрабандист, или, как он сам себя называет, «последний из могикан».

Свое чувство беспомощности перед хозяином я возмещаю тихой ненавистью к нему. Я даже в душе веду счет, по которому втайне надеюсь когда-нибудь получить с Альберта Ивановича полной мерой. Кредит мой начинается Валькой. Памятная ночь с ней не проходит для меня даром. Сказки детства мстят за неблагодарность. Каждая по-свое-

* Анаша — разновидность опиумных.

му, моя — желанием. Оно душит меня по ночам, преследует ежечасно, ежеминутно. Я вижу Вальку всю такой, как в то утро, — униженную и зовущую. Но Альберт Иванович определяет: быть ей при нем. А это равнозначно закону. Но я только смиряюсь, а вовсе не забываю. Время от времени воспоминание о той единственной ночи протаскивает душу мою по битому стеклу ревности, и тогда волна исступленной злобы к новому хозяину захлестывает меня. В такие минуты я готов убить его. Но стоит только мне встретиться с ним взглядом, как я мгновенно ступешываюсь и погасаю.

Вот уже три года я хожу через границу. Я не знаю, что я ношу. Меня это не касается. Об этом знает хозяин: ему и карты в руки. Ходить через границу опасно, но не очень сложно. Пограничное село, расположенное здесь, разделено надвое: одна сторона — наша, другая — турецкая. Днем родственники навещают друг друга запросто — по разовым пропускам. Ночью же граница закрыта. Но родственным чувствам ночь не помеха. А поэтому, если с обеих сторон и постреливают, то так — больше для порядка.

Сам Альберт Иванович не ходит. Хожу я. Так безопаснее и вернее: при провале мне грозит лишь колония, ему — высшая мера. А хозяина это почему-то не устраивает. Я у Альберта Ивановича третий. В минуту пьяной откровенности он снисходительно похлопывает меня по плечу:

— Тебе, Сегега, фагт: дольше всех дегжишь-ся. В губашке, видно, годился. И вообще я к тебе пгивык здогово. Ты умеешь слушать, а это достоинство мудрых. Если ты подегжишь-ся до моего дня...

Сегодня «день» пришел. Вот почему мы сидим сейчас друг против друга в подвале дома неподалеку от границы. Три года дом этот служит нам «ма-

линой». Хозяин — батумский спекулянт Сандро — устраивает нам этой ночью последний переход. Мы уходим насовсем, навсегда — за кордон. Мы сидим и молчим. Молчим уже второй час. Нам не о чем говорить. Мы уходим — навсегда, насовсем.

Три года не малый срок, особенно для меня. Но за все это время я так и не смог разгадать своего хозяина: кто он, зачем он? Такая загадка мне просто не по плечу. Для меня Альберт Иванович, как и в первую встречу, страшен и притягателен, словно заброшенный дом.

Что я могу сказать о нем? Я редко вижу его веселым или разговорчивым. Говорит он обычно лишь только охмелев и говорит долго и непонятно:

— Что мы в мигоздании? Блеф, мигаж! А может быть, даже и то, что мы, смегтные, называем мигозданием, есть всего одна молекула дегьма, какой-нибудь мошки непостигаемого нами мига... И вдруг — на тебе! — геволуция! Здогово живешь! Зачем, к чему? Ну, объяви советскую власть по всей солнечной системе, ну и что? Я-то ведь, я так и останусь сам себе планета, сам себе мигоздание, тем более — власть... Так убигайтесь же вы из-под ног, быдло! Неблагодагные скоты. Сначала они топчутся у погога: «Хлебушка не пожалте ль до зимы», — а потом гадят в истогических вазах Зимне-го. Я понимаю: геволуция — Гобеспьег, Консьег-жеги, ночи Конвента! А тут — Васька да Тгишка, Пгов да Никишка... Тьфу!

Потом на него вдруг накатывает волна пьяного разгула:

— Жизнь, бгат, кгасива только в гиске, в полете, так сказать, в вечном угаге гусагского беспутства... Жизнь сама по себе — тлен, а потому надо гогеть — не чадить... А тюгьма, бгат, антгакт между действиями... маленькая пгогулка в буфете... Ты, к пгиге-му, знаешь, что такое лейб-гвагдия... Впгочем,

откуда тебе знать. Коли все твои пгедки из колена в колено — быдло. Слава Господу, хоть из тебя-то, волею судеб, человек получится... А в общем пошли все к чегту!.. Валька, газдевайся! Пей, однава живем!..

А сейчас мы сидим и молчим, сидим и молчим. Скоро нам выходить. Мне жутко, как посреди пруда, когда сводит ноги. Противно ноют зубы, и сосет под ложечкой. Если бы не вино, которое мне молча — кружку за кружкой — наливает Альберт Иванович, я бы, наверно, заскулил вроде щенка. Я расплескиваю вино: у меня трясутся руки. Хмель не приносит забытья, а только наполняет голову чугунной тяжестью. Наверное, раз сто сходил я туда и обратно, но сегодня не будет «обратно». И от этого берет оторопь. Я снова, как и в детстве, кажусь себе маленькой, ничтожной песчинкой, затерянной среди огромного и чужого мира. Куда меня несет? Зачем? Хаос мыслей, воспоминаний, предчувствий свертывается в горький комок у горла.

На противоположном конце стола вспыхивает спичка. Трепетный язычок пламени выхватывает из темноты лицо Альберта Ивановича. Прикуривая, он смотрит на меня сквозь огонь. Я знаю за ним привычку дожигать спичку до конца, перехватив ее за сгоревшую часть. На этот раз он гасит спичку на половине. В последнее мгновение я замечаю: у него дрожат пальцы. Но, может быть, это мне показалось. Наверное, показалось. Красный глазок папироски то обволакивается пеплом, то вспыхивает с новой силой, будто высвечивает в темноте мои мысли и передает их хозяину.

— Закуги.

— Не хочу.

— Это пгойдет.

— Не по себе как-то.

— Стгашно?

— Не по себе, говорю.

— Я знаю — бывает. В первый раз это всегда.

— А разве будет «второй раз»?

— Зависит от тебя.

— Не понимаю.

— После поймешь.

— Когда?

— На том бегегу.

— Что мы там будем делать: чужие все?

— Деньги, друг мой, лучший паспорт и лучший язык. Пока ты со мной — ничего не бойся.

Если я не совсем пьян, то в голосе Альберта Ивановича я уже не слышу резких, требовательных ноток, скорее, наоборот — убеждающие и даже прескительные. Я смелею:

— И зачем только я вам, Альберт Иванович?

Папиросный глазок яростно вспыхивает, но тут же угасает:

— Тебе не понять, брат... Но вкратце это пигменно выглядит так: стагому пигату хочется иметь на чужбине кусок живой години, с котогой хоть немного свыкся... В общем, лигика, но будут и дела...

Вот где наступает перелом в наших отношениях. Если бы знал старый волк, какую ошибку он совершил. Пока я чувствовал себя на привязи его взгляда, он мог быть спокоен: у меня не хватило бы духу восстать. А теперь, когда минутная слабость подставила ему в темноте ножку, Альберт Иванович, всесильный Альберт Иванович и сам не заметил, как очутился на лопатках.

Но я не спешу. Я выжидаю. Я слушаю. Слушать — достоинство мудрых. Кажется, так учит Альберт Иванович.

Я слышу легкие шаги. Вот кто-то осторожно открывает дверь, очистив от темноты кусок без-

звездного неба. Темень начинает шептать Валькиным голосом:

— Сандро сказал: можно.

— Тише, дуга! И пикгой двегь.

Я чувствую, как с минуты на минуту трезвею. Я знаю, знаю определенно, что Валька сейчас, притаясь в темноте, смотрит не в мою сторону, а на багровый глазок папиросы, смотрит, как смотрела тогда на меня — по-собачьи преданными блестящими глазами, и оттого сердце во мне набухает злостью, словно вата гремучей смесью.

Огонек, в последний раз побагровев, веером рассыпает по столу крошки искр:

— С Богом.

Мы с Валькой взваливаем на себя груз¹. Если верить Альберту Ивановичу — последний. Сам Альберт Иванович идет налегке: для страховки. Это тоже, если ему верить. Так мы и выходим гуськом в душную августовскую ночь. Впереди Альберт Иванович, за ним — Валька, за Валькой — я. Я еще ничего не решил, но уже твердо знаю, что за эти вот горы, темными громадами вставшие, кажется, прямо у глаз, я не пойду. Мне там нечего делать. Да, нечего. На тропинке перед нами неожиданно вырастает силуэт Сандро. Грузин предупреждает:

— Прошли. Теперь надо ждать через полчаса. Успеете, батоно¹.

И тает, будто его вовсе и не было. Мы двигаемся дальше. Ровно, без всплесков, урчит ночная речка. Осклизлые камни, будто намыленные, уходят из-под ног. Мы двигаемся, не переставляя, а, по совету Альберта Ивановича, как на лыжах, передвигая ноги, но шума от этого не меньше, только идти труднее. Вода завихряется вокруг лодыжек,

¹ Батоно — господин (груз.).

и, кажется, она не просто бурлит, а прямо-таки грохочет на всю округу. Когда ступня моя нащупывает наконец первый сухой камень, я слышу впереди себя голос Альберта Ивановича:

— Слава Богу, прошли.

Я не верю своим ушам: он уже не картавит.

Он говорит мне:

— Иди вперед, я — нагоню.

Я молча иду в ночь. Но, отойдя шагов на десять, я останавливаюсь. Мозг чуток, как незажившая рана. Что-то тяжелое плюхается на прибрежную гальку. Я определяю: заплечный мешок. Потом оттуда же доносится короткий металлический стук. Ясно: Альберт Иванович взводит курок. И сразу же:

— Иди назад.

— Как же я, Альберт Иванович! Клялись...

— Иди назад, сука!

Валька не говорит — скулит:

— Альберт Иваныч... Альберт Иваныч... За что же?.. Я же все для вас...

— Иди же, мразь, у меня нет времени...

Он не картавит, ну нисколечки.

— Меня теперь и в колонию не возьмут — взрослая. Опять на улицу, Альберт Иваныч!..

Но вот она вскрикивает. И в этот же миг неожиданно даже для самого себя я решаюсь. Я начинаю действовать расчетливо, как лунатик. Руки мои нащупывают под ногами булыжник. С вывороченной стороны булыжник в прохладной земле. Я обхватываю его и поднимаю над головой. Так я и прохожу все десять шагов, отделяющие меня от Альберта Ивановича, с поднятым над головой булыжником. Альберт Иванович не слышит моих шагов. Шум реки и возбуждение заглушают их. Я уже явственно различаю обе фигуры. Она — перед ним в воде на коленях. Он стоит над нею с занесен-

ной для удара ногой. Наши удары, наверное, приходятся на одно мгновение, потому что, падая, он подминает под себя Вальку. Она барахтается в воде, выбираясь из-под него и, видно, еще ничего не понимая. Я делаю движение к ней, но Валька вдруг шарахается от меня в сторону и хватается за камень:

— Падаль, ах, падаль! Со спины людей бьешь... Ах, падаль!.. Не подходи.

Лицом ко мне она медленно шаг за шагом отступает в темноту, приговаривая:

— Падаль... Тебя из грязи, а ты... Ах, падаль!..

Чего я хотел от Вальки, когда поднимал камень на хозяина, — благодарности, раскаянья, покорности? Пожалуй, нет. Крик ее лишь послужил искрой, взорвавшей во мне накопленную за три года злость. Но такого оборота я все-таки не ожидал. Мною вдруг овладевает страшное равнодушие. Темь еще что-то бормочет, но я уже ни к чему не прислушиваюсь. Я вхожу в воду и бреду по ней без смысла и направления. Мне все равно, куда идти. Мне все надоело. Но прежде всего мне надоело сопротивляться. Где на земле есть такое место, где бы сложил я свою обремененную ненавистью душу в тишине и покое и ее — эту самую душу — никто не тронул?..

— Стой, кто идет?

Нет никакого места.

Он вырастает передо мной — солдатик с винтовкой — конопатый, курносый и совсем-совсем юный. Только в глазах строгий отблеск, наверное от штыка. Едва ли ему девятнадцать. А насколько я его старше? Лет на сто, видно. Если не больше, да, если не больше...

— Руки вверх!

Я покорно поднимаю руки.

Я никогда не думал, что в такой квашне на костях, как Сима, может таиться подобная ловкость. Недаром же руки ее по сравнению с ней самой кажутся игрушечными. Любой карманник отдал бы Симе полжизни за такие руки, тем более что вторая половина жизни карманнику ни к чему. Еще вчера я считал всякую перевязку в моем положении равносильной четвертованию: ноги, казалось, не выдержат и малейшего прикосновения. Но вот Симины руки начинают колдовать надо мной. Я стараюсь не глядеть в ее сторону: я боюсь увидеть свои ноги. Мне кажется, они черные. Только время движется, а я еще не чувствую боли. Лишь пропитанный мазью бинт, медленно отсасываясь от кожи, напоминает мне, что перевязка идет полным ходом. А Сима знай себе колдует-приговаривает:

— Сейчас мы вас за милую душу обработаем... Всего на пять минут и дела... От ихтиолочки ногам и теплее и покойнее... А потом пенициллинчиком мы ее, боль-то, и припугнем... Она, боль-то, и рассосется... Хорошо, ей-Богу, хорошо... А сейчас потерпите, голубчик, самую малость... А вы молодцом, молодцом... А ведь я вас досе и не знаю по имени...

— Сергей.

— Ой, Силовна, — обращается она к стоящей тут же старухе-няньке, — ну что нам за больной попался, право, самородок... Я его ручищами, ручищами, а он терпит... Терпи-ит... Ну-ка, Силовна, перехвати... Вот так... Теперь правую... Потерпите, Сереженька, еще минуточку... Вот так... Поддержи, Силовна!.. Вот... Вот... Вот... Все. Уф!

Тыльной стороной ладони Сима вытирает со лба пот. Глазные щелочки ее излучают на мои ноги откровенную горделивость:

— Не ноги, а загляденье. Им теперь как в печке. Боль тепла боится, ой, как боится!.. Накрой, Силловна.

Боль и впрямь, будто послушная ее заговору, утихает. А Сима все никак не успокоится:

— Вестей-то я вам еще новых не сказала? Как же: связь наладилась; Иван Антоныч едет. А Иван Антоныч мертвого на ноги поднимет... А сейчас поедим, поедим. Нельзя так — не емши и не емши.

Я пробую отнекаться: при одном упоминании о еде у меня начинает выворачивать внутренности. Но Сима только руками машет, что тебе наседка крыльями:

— Этак вы меня, Сережа, в гроб вгоните! Что Иван Антонович скажет? Какой же, извините, это режим, — по двое суток не есть? Уж как-нибудь, голубчик, уж как-нибудь... Я мигом.

Сима, шаркая подошвами, уходит. За ней, общинчески мне подмигнув, скрывается и старуха. Я остаюсь один. Окна будто вымазаны густой синькой: водянистыми бликами по палате крадется рассвет. В сквозной мелодии ветра все чаще и продолжительнее намечаются паузы: кажется, вьюга, прежде чем дунуть, как бы набирает полную грудь воздуха. При каждом новом порыве занавески на окне зябко подрагивают. А движок неподалеку бесперебойно встреливается в буранную сутемень. В такт его стрекоту кусочек света под потолком едва заметно трясется, будто зуб на зуб не попадает...

Да, Сима, посыпала ты мне солью самое что ни на есть больное место — совесть. Некуда сейчас мне деться от себя самого. Двадцать с лишним лет глушу я воспоминания в спирте, в злобе, в судорожной драке за свое место под солнцем. А что же мне делать сейчас, когда один на один с ними? Воспоминания обступают меня со всех сторон, я

растворяюсь в них, как жель в «царской водке», не имея под рукой даже соломины. Второй раз в жизни встречается мне человек, который случайно, а может быть и с умыслом, выманивает, словно улитку из ракушки, душу мою на свет Божий и заставляя ее изворачиваться от тоски и боли...

Силовна торжественно, как приз на бегах, вносит миску с дымящимся супом. Глубокие морщины у ее глаз собираются веерными гармошечками: старуха улыбается. Два единственных зуба победно обнажены.

— Отведай-ка нашего. В Верхнереченске такого не варят. Где вашим. Язык откусишь. Со стерлядью.

Она начинает с ложки кормить меня. Я глотаю густой горячий навар, не ощущая ни запаха, ни вкуса. Но жгучее, расслабляющее тепло нарастает во мне, и я уже не сопротивляюсь. А старуха все потчует:

— Ешь, милай, наедай пузо. Не варят у вас в Верхнереченске такого? Не варят ведь, а?

На этот раз мне не приходится кривить душой. Я соглашаюсь в тон ей:

— Не варят.

— Сима для тебя постаралась. Она у нас такая — добром щедрая. Жалости в ней — на полсвета хватит. Для себя вот только не остается. И-эх!

— Да, ничего вроде.

— И-и, парень! «Ничего». Не знаешь ты нашу Симу. Только диплому нет, а так — истинный доктор. Ее к нам Иван Антонович привез с фронту. Сколько она там народу выходила! И все больше не руками — сердцем. Свое людям раздарила, сама еле дышит. Вот и сейчас постояла у печи и слегла. Вредно ей у печи-то. Да и не ее это дело. Так нет — «сама» да «сама» И-эх! У нас, почитай, три семи-

летки в округе — Симины крестники. Одна приняла. А за тридцать-то лет прикинь — армия! И-эх!

В одно мгновение я затягиваюсь спасительным ракушечным панцирем: хватит с меня дурацкого умиления. Ведь эти люди не знают, кто я. Стоит им узнать всю правду — и масло гостеприимства загорится в их глазах волчьим огоньком ненависти. Они перешагнут через мою душу не раздумывая, даже раздавить побрезгуют. Сейчас я должен играть с ними в «кто кого». Лишь бы сохранить ноги. Побеждает тот, в ком меньше иллюзий. Здесь я могу им дать очков шестьдесят вперед. А когда я почувствую под собой землю, я перешагну и через десяток таких Сим. Шацк — цель. Там явка, там лежбище, там отдых.

Еда и тепло делают свое дело: меня клонит ко сну. Я смыкаю веки. Вороное крыло забытья заносится надо мной, и тончайшая кромка, отделяющая явь от сновиденья, точно острие бритвы, подступает к горлу давно забытым вопросом: «Людей ви- нишь, а разве ты среди людей жил?»

Я мысленно в исступлении кричу, дабы замять, заглушить в самом истоке рвущуюся из сокровенных тайников памяти тоску: «Да не агитируй ты меня, Семен Семенович, не агитируй, Бога ради! Без твоей агитации кровь в жилах свертывается!»

А старуха все вздыхает, вздыхает:

— И-эх!

Х

Мы идем на запад. Вернее, нас ведут на запад. Мы — это колонна военнопленных, со дня на день теряющих человеческий облик. Мы идем по этапам — от лагеря к лагерю. И перед каждой новой дорогой нас становится все меньше. Где конец нашему бессмысленному пути, не знает, наверное и сам

Господь Бог, иначе и Ему надоело бы такое однообразие. Мы идем в ряду по шестеро. Скорее в силу инерции, чем с умыслом, шестерки стараются не распадаться и если обновляются, то разве лишь за счет окончательно выбывших. Видно, тяга к привычному в людях — вроде инстинкта самосохранения — живет до последней минуты.

Нашему ряду не очень везет — велика убыль, но те, кто остается, тоже стараются держаться вместе. Собственно, таковых трое — я, мой сосед справа, Семен Семенович, и дядя Ваня, неизменно занимающий место третьего от края. У дяди Вани болят глаза. Тяжело набрякшие веки его всегда полуопущены, как у дремлющей курицы. Чтобы хоть что-нибудь видеть, ему приходится постоянно задирать голову, отчего со стороны он кажется страшно заносчивым. На самом же деле дядя Ваня — человек очень уживчивый, даже робкий. Во время ночевки и привалов он ложится лицом вверх, вытянув руки по швам, да так и остается нем и недвижим до самого подъема. Идет дядя Ваня тоже молча и как-то неестественно осторожно, словно боится расплескать себя ненароком. И сдается мне, что несет он в себе какую-то огромную тяжесть, для которой и слов-то еще не придумано, чтобы ее высказать.

Крайним справа от меня шагает Семен Семенович — небольшого роста, будто выплетенный из жил и вен, московский скорняк. Я не знаю, чем он держится, — у него открытая рана под нижним ребром, кое-как замотанная исподней рубашкой. Но ему днем и ночью снится побег. В пути скорняк постоянно гложет ноготь большого пальца, все чего-то рассчитывая, прикидывая, вымеряя. В душе я считаю его чудачком. Какая корысть бежать? Пусть их дерутся и грызут друг другу глотки. Я лично не ударю палец о палец в этой кровавой потасовке. Три отсидки меня кое-чему научили. К

черту! Но своей страстной целеустремленностью Семен Семенович все же внушает мне невольное уважение. Да и не только этим. Есть в нем что-то от моего отца, упрямая, что ли, уверенность в себе.

Знакомство наше с ним происходит при нескольких необычных обстоятельствах еще там — в Лозовой, когда нас впервые выгружают из вагонов. Сразу же за городом во временном лагере — обыкновенном загоне на территории бывшей колхозной фермы, окруженном колючей проволокой, — начинается «чистка». В первую голову берут евреев и политработников. Расстреливают здесь же — метрах в трехстах от лагеря, у заброшенных окопов. Поначалу жутковато. Но к этому постепенно привыкают. Скоро на выстрелы и крики в той стороне уже никто не обращает внимания. Каждый думает о себе. Так практичнее. А по лагерю уже шныряют первые осведомители из добровольцев. Они опознают «нежелательный элемент», а между делом обирают ближних. Особенно усердствует щуплый низкорослый татарин с приплюснутым, словно перешибленным, носом. Угорелым крысенком мечется он между лежащими, переворачивая всех уткнувшихся лицом в землю на спину.

— Ты чаво нос парячешь, а? Жид, видать, а? Камиссар, а? Саволачь!

Я вижу, как татарин после долгих безуспешных поисков натывается наконец на добычу. От радости он почти визжит:

— Попался, саволачь, а? Я из тебя нонче палов собакам саварю, а? Камиссарская морда, а? Пародали Расею, а?

Татарин волчком вертится вокруг долговязого рыжеволосого пленного в продранной голубой майке. Пленный молчит, привалившись спиной к стене сарая и низко опустив голову. В его согбенной, ослабленной фигуре столько отчаянной усталости и

безразличия, что кажется: рухни сейчас небо — он, вымороженный смертным равнодушием, не поднимет взора, не вздрогнет, не шевельнется.

А татарин прыгает около него, тычет ему под нос ссохшийся грязный кулачишко и все оборачивается, все оборачивается к пленным, как бы ища сочувствия:

— Братцы, взводный, а? Я ему подчанылся, а? Каровь из меня пил, а? Пародали Расею, а?

Все молчат. Тяжело молчат. Чудаки, наверное, не понимают, какое такое татарину дело до проданной России. Право, чудаки.

Злоба душит татарина. Крохотные глазки, похожие на два острых уголька, впиваются в пленного со звериной ненавистью. Затем татарин в прыжке наотмашь бьет его по лицу. У рыжего от губы к подбородку сразу же вытягивается алая струйка, но он — ни слова, только отводит голову в сторону да жалко по-ребячьи морщится.

Я не жалею рыжего. Для меня, собственно, безразлично, убьют его или нет, но мне до тошноты противен этот ублюдок со сплюснутым носом и эта его манера разговаривать вопросами. Таких я уже встречал и раньше. Такие служат любимым властям. Им все равно, что продавать и кого продавать, лишь бы выжить.

Я окликаю татарина:

— Ты, хмырь болотный, ползи сюда, слово сказать надо.

Я вижу, как к щучьим губам татарина сбегает от глаз-угольков заискивающая ухмылочка: своего, мол, по голосу узнаю — договоримся. Он подходит и останавливается около меня, широко расставив кривые ноги в хромовых, явно не по росту сапогах.

— Привет, братишка! Когда освободился?

Я, не вставая, с размаху бью его пяткой в пах.

— Это тебе, паскуда, мой адрес и справка об освобождении. Заходи, когда соскучишься.

С минуту, икая и повизгивая, татарин перебирает ногами по земле. Потом с тихим воем отползает в сторону и сразу же растворяется в мешанине распластанных вокруг тел. У моего плеча раздается сухой, словно бы кашляющий смешок:

— Не боишься?

Я оборачиваюсь на голос. Серые, прищуренные, будто от яркого света, глаза смотрят на меня чуть насмешливо и в то же время испытующе.

— Нет.

Мне действительно не приходится бояться. С эсэсовской точки зрения биография моя — вне критики, поэтому не посмеет татарин накапать на меня — знает, с кем дело имеет.

— Где отбывал?

Я отвечаю вопросом на вопрос:

— Ты что, следователь?

— Не ершишь, может, в одних краях были.

— Что-то я тебя, батя, в своих краях не видел.

— Плохо смотрел.

— Дальстрой.

— Бухта Нагаева.

— Сколько?

— Семь лет. Сколько?

— Два года.

— Вор?

— А ты, батя, видно, за святость семерик оттягивал?

— Пятьдесят восемь, пункт — одиннадцать.

— Понятно.

— Что же тебе понятно?

— Да я вот тоже с надзирателями навоевался. Сыт по горло. Хватит. Теперь пусть пижоны за меня повоюют, а я отдохну.

— Ничего тебе, брат, выходит, непонятно. А взяли меня, если хочешь, без памяти, а то бы ни в жизнь не дался. Гляди.

Сосед заворачивает гимнастерку. Исподняя рубаха, перетянутая по поясу вместо бинта, коробится от засохшей крови. Я сочувственно причмокиваю:

— Да... А вообще-то вы, политические, все с заскоком.

— Думаешь?

— Да уж знаю.

— Плохо знаешь.

— Два года отмахал — насмотрелся.

— Не с теми людьми водился.

— А что — люди? Люди одинаковые, вроде этого татарина, — зверье.

— Эка ты, брат, о людях-то.

— Сволочи.

— И я, выходит, тоже сволочь?

— А что? И ты.

— Коли все, тогда зачем за командира вступился?

— А я не за него. Мне просто морда эта татарская не понравилась.

— А ты, парень, тоже с заскоком.

— Какой есть.

Мы еще долго беззлобно спорим. Потом мы возвращаемся к этому разговору при каждом удобном случае. Все мои козыри перед скорняком теряют свою масть: жизнь у него не легче, даже тяжелее. Резкими, как удар лома, словами он легко разрушает все мои логические построения:

— Людей винишь? А разве ты среди людей жил? Накипь всякую за людей считаешь? Этот Альберт Иваныч твой просто-напросто сифилитик из недобитого офицерья. У него же мания. Власть, говоришь? Тюремного надзирателя за советскую

власть считаешь? Да разве ж это советская власть? Я вот раза в три больше тебя отбарабанил: знаю — не сладко. Так ведь нашлись люди, что и через семь лет разыскали меня на краю земли, разобрались, оправдали. А какая величина — простой скорняк? Значит, есть люди. Значит, есть правда. А ты спрашиваешь, почему я добровольцем пошел? Вот по этому самому и пошел, что свою землю под ногами чую.

Я не очень доверяю словам. Я слышал их на своем веку предостаточно. Люди чаще всего обряжают словами, как яркими перьями, свою убогую сущность. Но в устах скорняка слова как бы приобретают осязаемость, их, кажется, можно пробовать на ощупь: за ними правда его собственной биографии. Я отбиваюсь от этих слов с отчаянной злостью, накопленной почти за десяток лет волчьей своей жизни, но после каждой новой схватки со скорняком во мне остается все меньше силы да и охоты сопротивляться. На привалах дядя Ваня неизменно пристраивается возле нас. Лежа с вытянутыми по швам руками, он чутко вслушивается в смысл наших разговоров. Время от времени — обыкновенно в самые ожесточенные моменты спора — из-под набрякших век его озорным чертиком выскальзывает усмешка, и по ней без труда угадывается, что дядя не верит ни мне, ни Семену Семеновичу. У него какая-то своя правда, и он ее бережет про себя и для себя. Наверное, жизнь выдает со дня рождения каждому по особой правде.

Нас ведут — от лагеря к лагерю — по дымящимся дорогам сквозь пекло августовских полдней. Дороги оседают у нас на зубах хрусткой до дрожи в спине пылью, дороги рвутся из наших легких сухим и надрывным кашлем. Мы идем мимо приземистых, словно задавленных лихолетьем, сел и деревень, и женщины смотрят нам вслед

— черные, скорбные, безмолвные, как надгробные памятники.

Еду и питье нам оставляют у обочин. Еще издалека мы замечаем кадку с водой, а около кадки в ряд — узелки, узелки, узелки, точно разноперые птицы. Мы-то знаем наверняка, что никому ничего не достанется, но каждый из нас мысленно уже развязывает их, ощупывает содержимое, насыщается. Но главное — вода. В голове все мысли скипаются в одну: пить. Чего бы ни отдал я сейчас за глоток воды! Жажда такая, что порой сам себе кажешься вывешенной на солнце вяленой воблой. Но как только голова колонны равняется с кадкой, шершавую от зноя тишину прошивает автоматный стрекот. Десятки пар глаз жадно устремляются на несколько струек искристой до пронзительности воды, фонтанирующей прямо из стенки кадки. Вода льется на землю, и алчные губы многочисленных трещин и трещинок почти мгновенно поглощают ее. Несколько минут слышно только нестройное шлепанье сотен босых ног по пыли да вот это убийственно безмятежное журчанье. Затем даль смыкается за нашими спинами.

Бочку простреливает «лысый». Так мы называем пожилого поджарого солдата, чем-то удивительно напоминающего индюка. У него такая же негнущаяся шея с крупным, постояннодвигающимся кадыком, узкий яйцевидный лоб, далеко выдвинутые вперед надбровия, из-под которых со спокойным, даже беззлобным равнодушием светятся темные глаза. Он почти никогда не кричит, не дерется. Он только стреляет, стреляет с деловитостью немца, занятого будничной работой. Пожалуй, больше половины выбывающих приходится на его долю.

Я легонько толкаю локтем скорняка, кивая в сторону «лысого»:

— Смотри, гуманист, вот тоже человек идет.

Скорняк, не поворачивая головы, огрызается сквозь зубы:

— Ты лучше перемножь узелки при дороге на тех баб, что всей деревней их собирали и тебе, дураку, несли.

На пятки колонне наступает автоматная очередь: еще один остается в пути. А мы идем дальше, идем на запад.

Но вот кто-то глухо выдыхает всей грудью:

— Братцы, туча!

Все головы поворачиваются в ту сторону, где из-за кромки горизонта вползает на белесый небосклон иссиня-черная опара грозы, и у каждого в глазах подбитой птицей бьется вопрос: дотянет или пройдет мимо? Сначала дождь дразнится: прыснет по пыли мелкокалиберной дробью, обожжет выдубленные зноем лица несколькими водяными искрами — и снова молчок, только сердце яростно заколотится в исступленной надежде. Потом штопорный вихрь закручивает вдоль дороги пылевые волчки, а следом за ними косою саженью перехлестывает колонну гулкой навесной ливень. Мы подставляем ему головы, глаза, рты. Мы почти растворяемся в нем. Семен Семенович сбрасывает с себя набухшую гимнастерку:

— Подставляй ладоши, Серега!

Он выжимает мне в пригоршни замешенное на земной грязи и крови августовское небо. И я пью это небо жадными захлебывающимися глотками. Дядя Ваня тоже не спеша одной рукой отжимает в другую края исподней рубахи и по-собачьи слизывает влагу с ладони. И только у лысого немца, размеренно топающего сбоку, унылые складочки обозначаются в уголках тонких губ: дождь не подлежит расстрелу.

Мы так и ночуем под ливнем, тесно прижавшись спинами друг к другу. А утром я не могу попасть зуб на зуб. Меня колотит знакомой мелкой дрожью. Я стараюсь убедить себя, что это от холода, что к полудню все пройдет, но судороги в скулах и горячая окись во рту уже ставят свой диагноз: очередной приступ лихорадки. В моем теперешнем положении любая, даже пустяковая, болезнь равносильна гибели, тем более малярия. Когда нас поднимают, я уже определенно знаю, что мне далеко не уйти. Всё — предметы, дорога, люди — расплывается предо мной в колеблющемся мареве. Семен Семенович тревожно суетится вокруг меня:

— Ты что, Сергей? Не вздумай заболеть. Держаться надо. Душу в зубы — и шагом марш. Э, брат, да ты совсем плох.

— Малярия.

— Так слушай меня, парень. Пьяным никогда в метро не садился? Нет. В общем, задача простая: держись тверже на ногах, чтоб этот лысый черт на мушку тебя не взял, а то ведь он, сам знаешь, как акула — все время падали ждет. Я тебя подпираться буду. Главное — до следующей ночевки дотащиться, там стойдешь. Двинули.

Я иду, едва переставляя ноги, которые кажутся мне чугунными. Голова полна тяжелого звона. А в глазах — круги, круги, круги. Они множатся, нанизываясь друг на друга, вспыхивают радужными пятнами, распадаются градом цветистых искр. Семен Семенович осторожно упирается мне в бок костистым плечом. И это больше, чем все слова, сказанные им. Но самое мучительное — жажда. В легкие мне будто кто-то, как в самовар, насыпал горячих углей. Режущий огонь жжет меня изнутри, требуя воды и воды. Сухим, шершавым языком я провожу по запекшимся губам:

— Пить.

Будто сквозь подушку отзывается на мой тихий крик голос Семена Семеновича:

— Потерпи маленько, Серега, очкастый сме-нит этого пса лысого, я попробую гимнастерку в канаве намочить. Тот вроде парень ничего. А пока — нельзя.

Но я в полубреду твержу и твержу одно-един-ственное слово:

— Пить... Пить... Пить...

Вдруг Семен Семенович отстраняется от меня:

— Погоди-ка. Соберись с силами — иди пря-мо. Я сейчас попробую, вроде лысый по ту сторону зашел.

И уже в следующую секунду короткая оче-редь, прострекотавшая под самым моим ухом, на мгновение возвращает мне трезвую ясность. Я ви-жу, как Семен Семенович, точно подломившись, неуклюже падает сначала на одно колено, потом на локоть и, наконец, отвалившись на спину, сползает в кювет. Память моя снова гаснет. Перед глазами калейдоскоп зыбких видений.

Каким образом удастся мне дотянуть до конца еще один день пути, я не знаю. Скорее всего по инерции. Я прихожу в себя среди ночи. Черниль-ная высь обклеивается холодными немигающими звездами. О чем-то весело гогоча, переговаривают-ся конвоиры. Рядом со мной все так же, вытянув руки по швам, лежит дядя Ваня. Вопрошающе гля-дят на меня мертвые полулуния его глазных яб-лок. Он говорит мне шелестящей скороговоркой:

— Как можно меньше движений, как можно меньше эмоций. Закон сохранения энергии.

Мне вдруг хочется крикнуть ему в самое нутро что-то злобное, уничтожающее, но у меня на душе в эту минуту ни одного слова, кроме матерных.

Первое, что я ощущаю, пробуждаясь, — солнце. Очень много солнца. По-зимнему острое, ослепительное, оно льется в оттаявшие прогалины стекол, высвечивая в своих недвижных потоках кружение мириадов микроскопических светил.

Палата пуста. Но в коридоре властвует простуженный, с хрипотцой бас:

— Симочка, главное — как можно больше горячей воды, как можно больше. Мне надо отогреть руки. А то черт знает что. Как костяшки... Когда его доставили?

— Третьего дня. Николай в тайге наткнулся.

— Знать бы, сколько он там пролежал... Температура?

— Утренняя — тридцать восемь и две.

— Так ты думаешь, гнойный бурсит?

— По-моему, Иван Антонович, типичный; слизистая сумка, покраснение, флюктуация. Ко всему — температура.

— Жалуется?

— Молчит. Выносливый. Спрашивает только, отрежут ноги или нет.

— А боль-то ведь адская. Откуда он?

— Документов при нем нет, наверное из экспедиции.

— Это в общем неважно пока. Ест?

— Еле-еле.

— При такой температуре это естественно. Готовьте, Симочка, все, что нужно. Попробуем сделать из парня первостатейного танцора.

— Дай Бог.

Я слышу шаги. Шаги все ближе и ближе — упругие, размеренные. Я притворяюсь спящим. Скрипят половицы в моей палате. Кто-то легко опускается на табурет около меня. Крупные хо-

лодные пальцы, еще пронизанные вьюжным дыханием дороги, перехватывают мне запястье. Я начинаю слышать свой собственный пульс. От человека, сидящего рядом со мной, тянет дешевым табаком и чуть-чуть овчиной. Я немного размыкаю ресницы и сквозь них вижу глыбистого рябого парня лет тридцати пяти в накинутаю прямо поверх линялого кителя докторском халатике. Парень сосредоточенно следит за секундной стрелкой на циферблате карманных часов. Под щербатой кожей на лице легонько поигрывают тупые скулы. Так вот ты какой, Иван Антонович! От него веет монументальным спокойствием и уверенностью. Доктор прячет часы в карман и окидывает меня цепким, оценивающим взглядом:

— Не спишь ведь?

Я открываю глаза:

— Не сплю.

— Болит?

— Резать будете?

— Буду.

— Совсем?

— Посмотрим.

— Отнимать не дам.

— Боишься?

— В детстве разучился. Но уж лучше в ящик, чем без ног.

— Плясать умеешь?

— Приходилось.

— Значит, и еще придется.

Иван Антонович встает — по-медвежьему широкий, кражистый, со смешливыми зайчиками в раскосых татарских глазах.

— Ну, завязывай первым узелком — сейчас тронемся.

Доктор выходит.

— Сима, скоро?

— Пять минут, Иван Антоныч.

Я слышу, как хлопает входная дверь. Еще ощутимо на меня несет дуновением морозного воздуха. И сразу же вслед за ним возглас:

— Иван Антоныч, не встретили?

Докторский бас понижается до предела:

— Не встретили, Галя.

— Может, разминулись?

— Значит, разминулись, Галя.

— Вы Волчьей балкой ехали?

— Волчьей, Галя.

— Так ведь и он этой дорогой...

— Галенька, милая, тайга, сама знаешь, не иркутский проспект.

Симин голос как бы подводит черту под грустным диалогом.

— Силовна, неси воду!

Из самой глубины коридора, словно из другого мира, доносится старухин голос:

— Сей секунд.

— Готовьте больного, Сима.

Мне вдруг передается спокойная уверенность этого хриплого голоса. Я начинаю верить, что все обойдется благополучно: быть мне в Шацке. Чтобы ни о чем не думать, я закрываю глаза и принимаюсь считать: «Раз... два... три...» После каждой сотни я повторяю сначала: «Раз... два... три...» Но вот меня поднимают с належанного места и перекладывают на что-то твердое и холодное. Словно сквозь дрему я слышу шепот:

— Осторожнее, Силовна. Левую подхватывай. Вот так. Накрой его простынью.

— Легкай-то какой!

— Кожа да кости.

«...Девятнадцать, двадцать, двадцать один...» Меня куда-то везут. Потом мы останавливаемся, и надо мной повисает хриплый вопрос:

— Сейчас начнем, слышишь?

Я молча киваю головой, продолжая считать: «...сорок семь, сорок восемь, сорок девять...» Последнее, что я слышу, — отрывистый, как перекличка, разговор:

— Готово?

— Готово.

— Маску.

— Вот.

— Наркоз.

— Даю.

«Девяносто три... девяносто четыре... девяносто пять...»

XII

Поезд, словно икает, подрагивает на стыках. Остекленный квадрат ночи, в котором, объятые языкатыми тенями, отражается беспокойное людское месиво, аспидно густ, и только по этому вот реденькому иканию колес можно угадать, что состав движется. Над дверью купе трепетным светляком бьется в дымной паутине желтое пятно кондукторского фонаря. Лица в его неверном отсвете еще серее и призрачней обычного. Я лежу под лавкой, головой к проходу, стиснутый со всех сторон телами и кладью. А надо мной — бредовое кружение стонов, шепота, ругательств. И слово, короткое и обнаженное, как удар хлыста, мечется по вагону. Оно склоняется здесь на все лады: то горько, то раздумчиво, то с мстительной надеждой. Оно плачет, вздыхает, пьяно хрипит и сладострастно хихикает. Оно срывает дыхание и обволакивает десны кисловатой слюной. Я знаю это слово с детства, но никогда раньше оно не вбирало в себя столько смысла.

— Хлеб.

- Хлеб.
- Хлебушек.
- Засуха.
- От Бога — за грехи.
- Беда за бедой. Войну проводили, голодужу

встретили.

- Одно слово: засуха.

В другом конце другое:

— Я яму и грю: ранетый, мол, я. Имею заслуги. Куды ж мне подаваться? А он мне, значит, грит: мол, нонче ранетых да с заслугами хучь печи топи аль заместо изгороди. Нету у меня для вашего брата ни шиша, окромья, как по шее... Завоевал, значит...

— Вот-вот. На таких, как ты, дураках, тыловые и навозили себе водички.

— Ах ты гад! Я тебе как растоварищу-гражданину, а ты... Да я тебя враз кончу!

— Ладно, ладно. На ладан дышит, а туда же... Кончалыщик. Я сам с заслугами: тифью переболел. Одно слово: трудовой фронт.

А совсем рядом на нижней продольной полке двое шелестят между собой:

— Совсем новая, на бобре...

— И за сколько?

— Полпуда дал... Да потом три капота да юфти в придачу...

— Ишь ты, пофартило.

— Рука легкая. Сыздетства.

— Может, схлестнемся?

— Много ли стоишь?

— Больше — кожа, да и потяжельше что есть.

— И не боишься?

— Битые.

— Тогда оммоем.

Короткое журчание. И снова:

— Тяни.

— Хороша.

— Плохого не держим...

Я против воли вытягиваю шею. И сразу же голодной окисью сводит мне скулы: двое едят. Едят они чуть не из рукава, воровато стреляя по сторонам. У того, кто сидит напротив, серое, словно отсыревшее, лицо в редкой, кое-как распиханной по обвислым щекам бородачке. Он вроде даже не откусывает от куска, а захватывает его мягко и беззвучно дряблыми, будто старушечьими, губами. И мне уже не опустить глаз. Хлеб притягивает меня к себе. Хлеб властвует надо мной. Жесткий, обкусанный вялым ртом хлеб. Взгляды наши встречаются. Сосед медленно опускает на пол ноги в портянках, зашпиленных у щиколоток булавками. В нос мне бьет тошнотворный запах устоявшегося пота. Голова заходится кругом, и все перед глазами начинает вращаться плавно и смутно. А где-то у самого уха поигрывает пьяными словами торопливый шепоток:

— Подвинькася... Ну-ка вот жуй... Жуй, не бойся — не ворованный... Куда едешь-то?.. Ну, ешь, ешь... Я покеда погожу... А ты в силе...

— А что в ней, в силе-то?

— Моя голова, твои руки. Котел общий. Не пропадем.

— Зачем я тебе?

— Там поможешь, там пособишь...

— По барыжному делу я не мастер.

— А твое дело бери больше, неси дальше.

— Противно.

— Ну, коли с гонором, тогда лапу соси.

Я с ужасом чувствую, как воля покидает меня. Все во мне становится словно бы ватным. А нужно ли противиться? И зачем? В этом омуте горя каждому только до своего спасения. Да и что будет дальше? Может, ничего не будет? Может быть,

ночь уже и не кончится вовсе? А голос, настоящий луком и сивухой, вползает в уши, рот, глаза и, кажется, даже в самую душу.

— Со мной поедешь — не пропадешь... Чуть еще подвинься... у меня жратвы хватит... Ты — мне, я — тебе.

Но в то мгновение, когда последний отголосок страха и отвращения замирает где-то под сердцем, из противоположного конца вагона легким дуновением накатывается в мою сторону предостерегающее шуршание:

— Милиция, милиция...

И так же, как «хлеб», на все лады. Пьяное дыхание около моего уха затихает. А по вагону, прямо на меня, небрежно перешагивая через тела и мешки, движется человек, кажущийся в этой мешанине скрюченных существ почти огромным. Все в нем, от походки до скуластого большеглазого лица, властно и крупно. В одной руке у него керо-синовый фонарь, каким он высвечивает себе темные углы, другая — правая — лежит на кобуре, забранной под шинельный ремень. Вот человек заслоняет собою от меня верхний свет, и бурка, оправленная мокрой еще калошей, опускается у самых моих глаз. Потом свет начинает расти, расти, пока наконец вровень с моим лицом не вспыхивает падучей звездой язычок его фонаря.

— Кто там, вылазь на свет Божий!

Сосед, кряхтя и чуть слышно чертыхаясь, выбирается первым. Голос над головой недобро насмешлив:

— Аа! Здоров! Вам моя карточка вроде знакомая?.. Эх, Хижняк, Хижняк, сколько же у тебя теток! Этак весь Союз обработать можно теткам на прокорм. Я вижу, ты и работником обзавелся. С полным штатом, можно сказать, разъезжаешь... Эй, негоциант, ау-а! Силь ву пле, пардон то есть...

А ничего, ничего, глаз у негоцианта есть... Здоров! Давно с ним?..

Я поспешно, боясь, чтобы меня не перебили, вставляю:

— Я сам.

Глядя на меня, человек щурится, словно от яркого света, а в светлых навывкате глазах его поигрывают злые искорки. А старше этот человек в сравнении со мной, ну, может, года на четыре, от силы — пять.

— И откуда же?

Чую я, что крепко упирается парень этот ногами в землю, а потому меня вдруг охватывает отчаянное желание сказать ему какие-то особенные слова, чтобы он понял и передал мне хоть взглядом, хоть движением малую частицу своей силы и уверенности, но непослушные губы складывают лишь короткое:

— Из плена.

Гаснут искорки в выпуклых глазах. И уже другим тоном, вроде зло, вроде смущенно, парень говорит, легонько подталкивая меня впереди себя:

— Ладно, с нами пойдешь, разберемся... Агуреев, веди этого... Да не мечись ты из-за барахла, Хижняк, барахло, так думаю, тебе уже ни к чему...

Курносый старшина с сонными по-рыбьи глазами выводит меня в тамбур и, опасливо оглянувшись, тянет на себя дверь:

— Прыгай, паря.

— Зачем?

— Нынче вашего брата знаешь как привечают... Прыгай, а то быть тебе на лесоповале... А я сам, брат, у немцев лагерной водички хлебнул. У своих, я думаю, она не слаже будет. Валяй.

Выбравшись на подножку, я прыгаю в ночь, и гулкая земля идет мне навстречу.

ХІІІ

Я просыпаюсь оттого, что кто-то монотонно бормочет надо мной. На своем обычном месте справа от меня сидит Силовна. Кончик ее схожего с бесформенным куском пемзы носа краснеет под ободком очков. В руках у старухи исписанный с обеих сторон тетрадный лист. Она шевелит дряблыми губами, старательно связывая то и дело ускользящие слова:

— «...а еще в последних строках сообщаем вам, что выслали тебе денег триста рублей. Купите себе подарок какой на праздник по вкусу. Кланяются вам жена моя Нюра и сын мой Степка. Остаюсь ваш любящий сын Петр. Совсем было запомнил: я ведь теперь мастер, и еще нам скоро квартиру...»

Я осторожно пробую пошевелить ногами, и в то же мгновение в моем сознании золотой рыбкой всплескивается радость — целы!

Значит, ходить мне еще по шарику собственными ногами. Головокружительная легкость пронизывает меня. И веря и не веря такой удаче, я спрашиваю у старухи:

— С ногами я вроде, мать?

От неожиданности очки на носу Силовны подпрыгивают, и в них игольчатой искоркой мелькает улыбка:

— С ногами, с ногами, милай. А то как же? Иван Антоныч в своем деле промашки не даст. Его вон в Новосибирск зовут, оклад профессорский обещают, квартиру — не идет... Температурил вот только после вчерашнего-то... Сорок верст по такой пурге — черта просквозит.

— А эта... Сима, что ли, как?

— А Сима, известное дело, около него.

— А детей у них нет разве?

— Тому, милай, целая история. Они ить и не живут вовсе. Сима-то, конечно, со всей бы душой, да ведь Иван-то Антоныч наш женатый. Семья у него в Иркутске. У жены его свой расчет — не едет. А он, почитай, годов двенадцать у нас... У Симы к нему любовь с фронту, только вот такая — безответственная. Ее бы сердца-то на тридцать три царевны хватило, да наружностью не вышла... И-эх...

— Долго мне лежать, не знаешь?

— А тебе чего, лежи — сало належивай. Спешить некуда. Какой нонче из тебя работник? А ежели что — куда сообщить надо, так это завсегда можно. Родне там, на службе...

— Нет... Не надо... пока...

— Растревожить боишься?

Я усмехаюсь и поддакиваю:

— Вот-вот.

— Гордай! А мне так мой Петька в любом разе пишет — и с горя и с радости... Опять вот прислал... Заказное. Рыбак он — в Мурманске. У нас все по семейству рыбаки, потомственные... Повезло мне на невестку — двух внуков принесла... Деньги, пишут, послали. Вроде бы и не нужны, а не отказываюсь. Не то дорого, что деньги, а то, что не забывают. И-эх! Веришь ли, иной раз нету письма, так я старые достаю и сызнава перечитываю. Любое возьми, как песня: все бы повторяла и повторяла.

Хоровод певучих слов кружит надо мной, и я укачиваюсь в их колыбельной монотонности. Мысли мои уже далеко от этой квадратной комнаты с заснеженными окнами под марлевыми занавесками. Для меня начинаются дни, когда всякая минута покоя должна быть отдана трезвому, хладнокровному расчету. Моя задача — взвесить все, до мельчайших деталей в предстоящей дороге. Выбраться зимой из таежного села незамеченным поч-

ти невозможно. Но именно в этом самом «почти» я и обязан найти лазейку. И я ее найду. И я через нее выберусь. Для этого мне достаточно одной ветреной ночи. Одежда моя где-то здесь рядом, в больнице. Лыжи найдутся в любой избе. Я их возьму. Значит, нужен только ветер. Только одна ночь ветра. Здесь я полагаюсь на счастье. Но, странное дело, к сознанию близкого возвращения желанного круговорота жизни примешивается смутное ощущение недовольства собой: будто я, как тот кривоногий татарин в плену, ни за что, ни про что, этак походя, плюнул кому-то в душу. Я вдруг ловлю себя на том, что думаю о вихрастом парне, ушедшем на собаках в район за доктором. Одолевая дрему, я силюсь спросить о парне старуху, но забытье перехватывает вопрос на полпути.

XIV

Я не могу не сойти на этой станции. Я схожу здесь вопреки простейшим законам бродяжьего племени, вопреки здравому смыслу, наконец. И вот я стою на привокзальной площади, узнавая и не узнавая родной город. Нет, это уже не тот довоенный Южногорск — скопище подслеповатых пятистенников в дымной короне окрестных терриконов. Время прошло по его приглушенной акварели дерзкими угловатыми мазками, почти начисто изменив общий рисунок. Сквозь шелестящее марево акаций прорубается навстречу мне сквозными магистралями новый город, с новыми домами, красками и даже запахами. Чуть не до темноты брожу я по незнакомым улицам, между многоэтажными каменными коробками, пытаюсь отыскать хоть какие-то следы своего детства. Я вглядываюсь в лица с надеждой угадать в одном из них знакомые черточки. Но перекрестки разлетаются

в разные стороны незнакомыми дорогами, лишенными памятных примет, а люди проходят мимо, ни одним штрихом в облике не откликнувшись на мой зов. И только выйдя к Хитрову пруду, я натыкаюсь случайно на крохотный островок прошлого. Отжатый почти к самой воде глухой стеной огромного заводского корпуса, стоит на берегу, как и много лет назад, выросший по пояс в землю и хромо́й на все четыре угла дом старика инвалида Гурьяна Блаженного. Не раз и не два спасала меня его крыша от расправ и обид домашних. Старик жил одиноко, на отшибе и целыми днями вырезывал из бросовой щепы для нас, слободских пацанят, всяческие игрушки. А Блаженным его звали за то, что всю свою пенсию старик скармливал птицам, коих вилось над его ледащим двором всегда превеликое множество.

Я долго стучусь в изученную вдоль и поперек дверь. Открывает мне дородная губастая старуха в засаленном переднике. В нос ударяет густой тошнотворный запах: букет кухни — лежалой рухляди и нечистот. Старуха вопросительно смотрит на меня блеклыми, будто сырыми глазами, вытирая о передник жирные пальцы.

Я в растерянности топчусь на месте, потом, чтобы хоть как-то разрядить неловкость, спрашиваю:

— Скажите, кто здесь живет теперь?

— Как это кто? — Старуха подозрительно окидывает меня с ног до головы. — Мы живем — Кашкины.

— И давно?

— А как Гурьян Блаженный помер, так и живем.

— Вот как!

— А вы что, сродственник ему или как? Если сродственник, так у нас и купчая, и горсовет...

Мутная брезгливость бросается мне в голову. Старуха стоит передо мной, овевая, как боец пороховым дымом, победным запахом кухни, омерзительная в своем почти сказочном безобразии. Последнее, что я слышу за спиной, — это сальное урчание:

— Ходюць тут всякие...

Потом я долго лежу на траве под станционной насыпью, положив ладони под голову и ни о чем не думая. Детство теперь и вправду кажется мне приснившимся. На земле оно не оставило даже следов. Значит, его и не было. Значит, я все это просто придумал.

Из оцепенения меня выводит надсадный паровозный гудок. Вверху, медленно набирая скорость, проплывает товарный состав. Я взбегаю по насыпи, цепляюсь за поручни проплывающей мимо меня закрытой тормозной площадки, подтягиваюсь и тут же оказываюсь лицом к лицу с конопатым большеглазым мальчишкой лет двенадцати, деловито уюмившимся на жиденьком вещмешке.

— Здоров!

Мальчишка смачно надкусывает ломоть хлеба и гостеприимно отодвигается:

— Садись, места хватит.

— Не прогонишь, значит?

Сосед разламывает хлеб пополам и половину протягивает мне:

— Далеко?

— Да вроде бы дальше некуда.

— Может, по дороге?

— А тебе куда?

Мальчишка, набивая рот хлебным мякишем, шепелявит:

— На Ангару. Слышал? Отец у меня там. Я его, как родился, не видел. Мать говорит: пропал.

А я-то знаю: куда все, туда и он. А все — на Анггару.

— Далеко, брат, тебе еще до цели-то, ой как далеко.

— Доберусь. А там приду к начальнику, скажу: где тут Пал Палыч Горобцов работает? Это моего отца Пал Палычем зовут. А я, значит, Сергей Палыч.

Он продолжает говорить — горячо, убежденно, сбивчиво, а я все никак не могу сглотнуть острый комочек, застрявший вдруг у меня в горле. О чем я думаю сейчас? Да разве есть тому обозначение на небогатом нашем людском языке? Я запускаю пятерню в пшеничные вихры большеглазого попутчика:

— Эх, Серега, Серега, нарвешься ты, брат, на своего Альберта Ивановича. Вот и будет тебе тогда Анггара.

Мальчишка затихает, чутко вслушиваясь в смысл сказанного. Потом задумчиво морщит лоб:

— Не нарвусь.

Поезд сбавляет ход. К дороге начинают сбегаться прострельные улочки вечернего села и пристанционные постройки. Мне следует сойти заранее, чтобы избежать столкновения с транспортной охраной.

— Ты, брат, — говорю я соседу, — затихни, а я, покуда стоять будем, харчишек достану. До Анггары-то ой-ой-ой сколько.

Мальчишка лишь заговорщически подмигивает мне.

Я спрыгиваю на ходу и бегу в спасительную темноту лесополосы. Оттуда я выбираюсь на дорогу и уже со стороны села подхожу к станции. Площадь пустынна, только на освещенной лестнице перед входом в вокзал стоит усатый милиционер. Отступить поздно — усач явно видит меня, — и я,

стараясь ступать как можно уверенней, направляюсь к открытому ларьку. Разговаривая с продавщицей, я спиной чувствую на себе цепкий оценивающий взгляд: следит. Я начинаю заказывать то одно, то другое, оттягивая неизбежное. Подведенные брови разбитной девахи продавщицы удивленно ползут вверх: ну, мол, и покупатель! Когда же я, груженный всяческой снедью, решаюсь наконец обернуться, милиционер оказывается шагах в пяти от меня. Он делает безразличный вид, искоса этак только поглядывая в мою сторону, ой как нехорошо поглядывая.

Мысль вспугнутой птицей бьется о железные стены логики. Сейчас все решают секунды. Я делаю шаг ему навстречу. Пересохшие губы складывают первое, что приходит в голову:

— Слушайте, сержант, здесь вот парнишка на тормозе едет. Подобрали бы — пропадет.

Усач только козыряет в ответ:

— Где?

Счастье снова улыбается мне: там, в темноте между составами, уйти куда легче, чем здесь на открытом месте. Мы идем вдоль железнодорожного полотна, и я то и дело ловлю на себе короткие изучающие взгляды попутчика. Под вагонами плавают желтые огоньки осмотрщиков, оставляя позади себя короткий металлический перестук. У «пульмана» с закрытой тормозной площадкой я останавливаюсь.

— Тут.

Сержант зажигает карманный фонарь, вспрыгивает на приступки и берет на себя дверь.

— Вставай, дорогой товарищ, приехали.

Мальчишка хмурится от резкого света, наведенного на него, потом молча встает и покорно спускается вслед за сержантом. На мгновение

взгляд его задерживается на мне, и он выдыхает с недетским гневом и презрением:

— Эх, ты!

От неожиданности я теряюсь. Из рук моих падают и раскатываются по земле баранки, печенье, конфеты. А сержант снова козыряет:

— А вас, гражданин, прошу тоже пройти со мной на предмет составления протокола.

Я коротко прикидываю обстановку, стараясь отвечать спокойно и впопад:

— Спешу я, товарищ сержант, некогда мне. Сделай вот доброе дело, потом не распутаяешься...

Мимо нас медленно проплывает порожняя платформа. Подбравшись, я цепляюсь за борт и всем телом перемахиваю на нее и тут же спрыгиваю с другой стороны.

— Стой! Стой! Стрелять буду!

Позади будто лопаются детские хлопушки: стреляют. Я бегу, ныряя под вагоны, на огни за линией. Но вдруг кто-то грузно наваливается мне на плечи и берет «на хомут». Задыхаясь, я хриплю:

— Пусти, черт, сам пойду.

XV

Сон бежит от меня, но я не размыкаю век. Слух заменяет мне теперь зрение. Я ловлю каждое ненароком оброненное слово и кладу его, как скупец монету, в копилку своей памяти. В любом из них может таиться для меня и гибель и спасение. Одно короткое слово обещает оказаться ориентиром, сигналом об опасности, доброй вестью. И потом, вот так, не отвлекаясь, мне легче сосредоточиться. Сейчас я слушаю, как в коридоре против моей двери Сима уговаривает плачущую Галю:

— В твоём положении, голубушка, этак распускаться нельзя. Ты теперь не только о себе должна думать.

— Да разве я о себе!

— Так ведь не иголка — человек он, а значит, найдут. Вся округа на оленях тайгу прочесывает, вертолеты поднялись, а ты реवेशь по нем, как по покойнику. Разве слезами-то поможешь?.. Эх ты, сидит Николай твой на зимовье каком у печи да в ус посмеивается.

— Я ведь ему и не сказала даже...

— И правильно сделала, вернется — радость вдвойне... А я крестной буду... Ну, ну, будет уж, глупышка. Иди посиди около больного. Ему скоро физиологический раствор вводить. А я пока к Ивану Антоновичу.

Слышно, как Сима, грузно ступая, идет в глубь коридора. Скуластенькая няня опускается на табурет рядом со мной. Я чувствую на себе ее взгляд — пристальный, изучающий и, по-моему, враждебный. Но если раньше всякая враждебность, от кого бы она ни исходила, натыкалась во мне на глухую стену ненависти, то сейчас я ступевываюсь, чувствуя себя проигравшимся картежником, бегущим от долгов. В душе моей как бы сдвигается с места, дает трещину по сваренным кровью и, казалось бы, навечно сваренным швам вся моя философия, которую я воздвигаю — камень за камнем — вот уже почти сорок лет, а в образовавшиеся щели врывается обжигающий поток вопросов и сомнений. Лица, лица, лица обступают меня со всех сторон. Я вижу их, встреченных мною на крутых поворотах жизни, — того глазастого красноармейца, что в ночь ареста отца то и дело прикрывал одеялом разметавшуюся во сне Гальку, Семена Семеновича, Сережку с тормозной площадки, вихрастого парня по имени Николай,

ушедшего в пургу за доктором для меня, всех больничных, — и когтистая пятерня совести сжимает мне сердце. Да, наедине с самим собой я могу сознаться, что в многолетнем споре с ними я проиграл. Но мне поздно идти на попятный: жизнь прожита. А жизнь не передумаешь заново. Я уйду, уйду, перешагнув, коли потребуется, через всех них, но никогда отныне уже не нащупать мне твердой опоры под ногами... А девчонка все смотрит на меня, все смотрит, будто ощупывает мои мысли. Я не выдерживаю:

— Я его не просил.

— Не надо, что вы.

— Не просил, слышишь?.. А, что ты понимаешь?.. И не смотри на меня, я не люблю, когда на меня смотрят.

— Хорошо, не буду. Вы только успокойтесь.

— Чего ты меня успокаиваешь, чего ты меня успокаиваешь? Я и сам успокоюсь! Уйди, понимаешь?

— Разве я виновата?

— Не хочу, понимаешь? Спать хочу, понимаешь?.. Уйди, говорю, понимаешь?

Она поспешно вскакивает и спешит к выходу, часто-часто в испуге оборачиваясь на ходу. А я все кричу, кричу, кричу.

XVI

Я надвигаю в затухающий костер комель сухой лиственницы. Рой искр впивается в чернильную темноту таежной ночи. Из-под комля по иссохшей коре начинают выползать язычки пламени. Темь раздвигается, обнажая корневища близких деревьев, спящего на телогрейке Патефона и Зяму, который сидит против меня, уткнув подбородок в острые коленки. В коричневых зрачках

его пляшут желтые чертики огня. Я знаю, о чем он думает. Я прочитал его мысли сегодня, когда мы в поисках брода через протоку вышли к реке. Зяма глядел на село, раскинувшееся по ту сторону, с такой откровенной тоской, с такой жаждой тепла и света, что у меня более не оставалось сомнений: он испугался, он не хочет идти дальше, он не пойдет. Зачем я связывался с ним? У меня, видно, врожденная тяга до людей «с заскоком».

В колонии Зяма слывет художником. Но рисунки свои он тщательно хоронит от посторонних глаз. Мне Зяма все же кое-что показывает. Из всего написанного им мне запоминается один пейзаж. В глубине осеннего бора, среди лишь контурно очерченных сосен, ярким до рези пятном горит медно-красная листва карликовой березки, неизвестно каким ветром занесенная под это бесприютное небо. Своим трепетным пламенем она как бы олицетворяет осеннюю обреченность. Пейзаж впечатляет, и, по-моему, Зяма действительно талантлив. В колонии Зяму уважают за уживчивость и умение рассказывать увлекательные романы собственного сочинения.

Мы сходимся с ним на книгах. Я перечитал много книг, даже очень много, если учесть мой образ жизни. Но для меня каждая из них — только предмет любопытства. Мне интересно наблюдать чужую жизнь со стороны, хотя я и не верю всему, о чем написано. Книги, на мой взгляд, противоречат друг другу, доказывая каждая свою правоту. В действительности все гораздо проще и жестче. Действительность не выносит красивых слов и эффектных положений. Действительность, ей-Богу, укладывается в самую наивную формулу: «цыпленок тоже хочет жить».

Зяма, наоборот, относится к книгам, как верующий к святым мощам. Для него книга — путе-

водитель по запутанному лабиринту жизни. Он весь начинен идеями. Я сравниваю его душу с кочаном капусты; каждый листок — идея.

— Понимаешь, — говорит он, — хорошая книга вбирает в себя опыт целого поколения. Благодаря книгам человечество развивается в геометрической прогрессии. У тебя, дорогой, чисто потребительский подход к чтению. Уж лучше совсем не читать.

К побегу я начинаю готовиться сразу же по прибытии в колонию. Прежде всего я приглядываюсь к окружающим, подыскиваю партнера. Мне нужен человек, для которого нет ничего святого если не на земле, то хотя бы в пределах этого государства. Я долго перебираю про себя — одного за одним — своих соседей по бараку. Но народ кругом по большей части мелкий, крикливый, доверия не внушающий. Наконец выбор мой падает на матерого столичного громилу Николу Патефона — низкорослого, кряжистого парня с собачьими челюстями. Патефон туп, угрюм, а главное — у него нет родственников. Для меня это имеет решающее значение: человеку нечего терять. А без напарника в тайге нельзя. Тайга не любит одиночек. Это правило я усвоил еще в первую отсидку. С Николаем мы договариваемся враз. Он только крепко сжимает свои собачьи челюсти и цедит сквозь зубы короткое:

— Лады.

В ночь перед побегом под бок ко мне подкатывается Зяма. Умоляющий шепот вместе с его жарким дыханием вползает в мое ухо:

— Возьми, Сергей... Знаю, идешь ведь... Да не молчи ты, не молчи... Возьми... Не могу больше...

— Ты что, сдурел?

— Как иной раз посмотрю кругом, ей-Богу,

повеситься впору... Один останусь — с ума сойду. Привык к тебе...

Где-то в самой глубине сердца вздрагивает вдруг давным-давно умолкнувшая струнка, и от короткого и доброго звука ее вливается в мою душу тепло благодарности к неказистому фармазону — Зяме Рабиновичу за эту его привязанность. И, отлично сознавая, что он не нужен мне в предстоящем пути, что он будет только тяжкой, а может быть и опасной обузой, я все-таки выдавливаю из себя:

— Дорогой пикнешь — прикончу.

Зямина рука нащупывает в темноте мой локоть, и я чувствую слабое, но благодарное пожатие...

Пламя снова начинает слабнуть, и я снова поддвигаю в огонь обугленный комель лиственницы. Зяма ладонью прикрывает лицо от разметавшихся искр. Я тихо спрашиваю:

— О чем думаешь, Зяма?

— А?

— О чем думаешь, говорю?

— Да так... Вот о матери вспомнил... Она у меня уборщицей в школе работает... Трудно ей...

— Брось.

— Она всегда мне говорила: «Зяма, ты плохо кончишь». А мама у меня слывет очень рассудительной женщиной.

— Меньше думай, Зяма, меньше думай. Думать — это вообще роскошь, а в тайге и подавно.

— Я не могу не думать. Уж так, наверное, устроена моя голова. Смешно, но я не могу не думать. Неужели люди могут жить и не думать, а?

— Зяма, ты начинаешь мне действовать на нервы. У простейших это тоже, знаешь, бывает — нервы. Я не люблю черной магии на сон грядущий. Ложись спать, это надежнее.

— Понимаешь, я не хочу спать. Не знаю, что со мной, но я не хочу спать... Я, понимаешь, завидую тебе. Странно, что я никогда нигде не был. Всю жизнь я делал людям липовые документы, а сам вынужден был жить по настоящим. У меня больная мама, никуда не денешься: всегда на глазах у милиции.

— Ложись спать, Зяма. У тебя еще будет время подумать о маме. Сегодня мы поднимемся очень рано. Нам надо идти быстрее. Зима гонится за нами. Ложись.

— Ладно. Я буду спать. Я таки попробую спать. Не знаю, что из этого получится.

Зяма кутается в бушлат и валится на бок, отодвинувшись от костра. Уже засыпая, он бормочет:

— Нет, я действительно-таки плохо кончу.

Он засыпает почти мгновенно, по-детски заложив ладони между коленками. Это его последний сон. У меня нет иного выхода. Если дать ему уйти, он вольно или невольно наведет кого-нибудь на наш след.

Я должен выбирать между собой и им. Мне не следовало связываться с Зямой. Я почему-то надеялся, что у него хватит мужества добраться хотя бы до того места, где мы условились разойтись в разные стороны. Да, это его последний сон, но, глядя на живой комочек нервной плоти, обернутый в стеганый бушлат, я никак не могу справиться с ощущением противной слабости в руках.

Я тихонько толкаю Зяму. Он долго ворочается с боку на бок, бормоча что-то себе под нос. Потом приподнимается на локоть и сонно молвит:

— Это ты, Сергей?

Я не могу смотреть на него. Я встаю, поворачиваясь к нему спиной.

— Вставай. Пошли.

Вопрос Зямы тих и трепетен:

— Куда, Сергей? Ночь же?

— Вставай, говорю. А бушлат оставь. Бушлат тебе уж ни к чему.

За моей спиной — шелест: Зяма встает.

— Зря это, Сергей. Я же не по трусости разговор начал.

Мы продираемся сквозь темень — навстречу енисейскому ветру. Я веду его к реке. Он по-ребячьи сопит у моего плеча:

— Не надо, Сергей. У меня мама совсем-совсем больная. У нее — камни.

— Не трави, мразь, я тебя ни о чем не спрашиваю.

Недалеко от берега я говорю ему:

— Иди вперед.

— Сергей!

Я не вижу его лица, но по исступленному шепоту понимаю, что творится сейчас у него на душе. И я вдруг чувствую, что не совершу задуманного, вернее, не найду в себе силы это сделать.

Но от злости на свою слабость я говорю почти с ненавистью:

— Иди же, гад!

— Сергей!

— Иди!

Отрывистые шаги его затихают где-то впереди, а я поворачиваю обратно.

Когда я возвращаюсь, Патефон уже сидит, по-азиатски поджав под себя ноги, на Зямином бушлате и, щурясь, смотрит в огонь. Собачьи его челюсти размеренно двигаются: он ест. Чавкая, вор говорит:

— Сработал?

— Молчи.

В Патефоновом голосе — примирение и просительность:

— Понятно, знаю по себе, не сладко после этого. Как-никак живая душа...

Я сатанею:

— Молчи, хмырь! Что тебе о душе понятно, а? Ты же гад — плесень помоечная. Еще слово скажешь — сработаю начисто.

Патефон затихает. А на меня вместе со сном обрушивается моя жизнь.

Просьпаюсь я в ознобе. Меня колотит. Я уже не пытаюсь обмануть себя. Все ясно. Лихорадка снова наваливается мне на душу жутью и полубредом. Я кутаюсь в бушлат. В свете хмурого осеннего утра лицо Патефона видится еще более угрюмым и плоским, чем обычно. Он вглядывается в меня тревожно и выжидающе:

— Заболел?

— Ерунда, сейчас пойдем.

Я пытаюсь подняться, но серая высь, словно птица с перебитыми крыльями, устремляется мне в глаза. И тайга опрокидывается навзничь. Голова кажется огромным шаром, наполненным звенящим песком.

— Ты уйдешь один?

— Может, ты заразный?

— В одиночку тебе не дойти. Для тебя же тайга — смерть.

— Пойду — так еще бабка надвое сказала, а не пойду — оба сыграем в ящик. Да и ждать уже нечего.

— Гад ты, Патефон.

— Как все.

— Это ты верно.

— Ты бы ведь тоже ушел.

— Ушел бы.

— Ну вот.

— Ладно, иди.

— Я тебе бушлат Зямин оставлю, — может, отойдешь...

Я накрываюсь с головой. Патефон уйдет, уйдет на свою погибель, его не удержишь. Здесь уже срабатывает инстинкт. Впрочем, я сделал бы на его месте то же самое. Он, конечно, может и прикончить меня, чтобы забрать на всякий случай мое барахло. Но он не посмеет. Он боится и боится даже не меня самого, Сергея Царева, а моей профессии. Он уверен, что его найдут и на краю света, если ему вдруг придет в голову поднять на меня руку. Кретин! Где ему знать, что о таких, как я, обычно даже и не вспоминают. Только небрежно вычеркивают из списков.

Теперь же для меня важен один вопрос — догонит меня снег или нет. Я закрываю глаза, и на меня идет от крутого берега, увенчанного тремя пальмами, знойная волна бредового миража.

Я прихожу в себя рядом с кучей остывшей золы. Патефона уже нет. Нет и Зяминого бушлата. Патефон все-таки унес его. Я безучастно гляжу в небо, а небо оплывает надо мной обрывками ветхих парусов, и сквозь их частые прорехи глядят на меня с черной высоты холодные звезды. Очень холодные.

XVII

Я просыпаюсь от крика, оборванного на половине захлопнувшейся в конце коридора дверью. Тяжелая, напряженная тишина мгновенно оглушает меня. Я, словно стеклянным колпаком, отделен этой тишиной от звуков и дыхания бытия, а сама она настояна предчувствием какой-то непоправимой беды.

Я громко зову:

— Сестра!

Никто не откликается.

— Сестра!

Ответа нет.

Тишина становится нестерпимой. Я упираюсь ладонями в пол и, напрягшись, сползаю с койки. Забирая под себя расстояние между собой и дверью, я ползу по коридору. Тишина гонит меня за порог. Но вот коридор позади. Головой я толкаю заиндевелую дверь, и сразу же яркий свет обжигает мне глаза. Постепенно на ослепительно белом фоне начинают очерчиваться контуры предметов, деревьев, людей. Я вижу множество черных человеческих фигурок вокруг движущейся навстречу мне собачьей упряжки. Оглушительно скрипит снег под десятками подошв.

Вровень с санями упряжки, то и дело проваливаясь по колено в непритоптанном снегу, идет с непокрытой головой моя скуластенькая няня. Она идет, не замечая никого вокруг. Она смотрит на того, кто лежит в санях. Она не плачет, не кричит, она только, не отрываясь, смотрит на того, кто лежит в санях. Тишина становится говорящей: я знаю, кто там лежит. И я больше не хочу слышать этой тишины, я больше не могу выносить ее пронзительного голоса. Я кричу, кричу от боли, от обиды на жизнь и от чего-то такого, чему и слов еще для обозначения не придумано:

— А-а-а-а...

Чьи-то руки подхватывают меня и бережно несут в тепло.

Я не открываю глаз, я боюсь увидеть их лица, мне их страшно.

Но каждое слово, которое я произношу, сваливается камнем с моих плеч:

— Я бежал из заключения... Моя фамилия — Царев... Сергей Царев... Сергей Алексеевич...

ДОРОГА

I

*Александрю Алексеевичу
Побожему*

Едва войдя в кабинет Башкирцева, Иван Васильевич все понял. Произошло то, чего с недавних пор оба они ждали и с чем все-таки в душе никак не могли смириться: строительство прикрывалось. Башкирцев, по-бычьи склонив голову над бумагами и тяжело выдвинув крутые плечи вперед, вместо приветствия коротко кивнул на кресло у стола:

— Знаешь ведь, зачем вызвал?

И по тому, как это было сказано, и еще по этой вот его, чисто башкирцевской, привычке в тяжелые часы жизни взбываться и выдвигать плечо вперед, знакомой Ивану Васильевичу со студенческих лет, он без труда определил, что творилось сейчас на душе у начэкса.

— Знаю.

Гость устало опустился в кресло, и тоже нагнул голову, и тоже замолчал. Да и что сейчас они еще могли сказать друг другу? Эта дорога стала для них обоих той самой последней песней, какая обычно дается человеку в пору мудрой зрелости, и поют ее обычно на полном, но последнем дыхании. И вот теперь им обоим наступали на горло, а большего впереди у них уже не будет, большего просто не бывает.

Они молчали, не глядя друг на друга, и этим своим молчанием они говорили друг другу куда больше, чем могли бы сказать вслух.

Вместе им довелось построить за двадцать с лишним лет столько дорог, что вытяни их в одну линию — ею, пожалуй, можно было бы опоясать землю. И в каждом километре они оставляли часть себя, часть своей жизни. Они помнили все свои дороги — от скромных узкоколеек и подъездных путей до первоклассных магистралей, помнили так, что могли, верно, восстановить по памяти всякий ручей и овражек на пути, который приходилось тогда преодолевать.

А теперь они сидели друг против друга и молчали, и все, что в этом кабинете еще совсем недавно жило, дышало, было исполнено смысла и значения, молчало вместе с ними. Все это словно бы омертвело, как мертвеют вещи, теряя хозяина. Мертвыми распластались бумаги на столе, мертвыми выглядели самый стол, и стены, и стулья, и ковровая дорожка, и даже карандаш, зло зажатый в могучем кулаке хозяина, был мертв. Душа дела, трепетавшая здесь чуть ли не два года, ушла отсюда отныне и навсегда.

И хотя Башкирцев, а тем более Иван Васильевич, вложив в дорогу самую последнюю, самую зрелую свою силу, имели жестокое право на обиду, они бы все же смирились, если бы им перед тем с арифметической очевидностью не доказали страшную, чудовищную бессмысленность их дела. Дорога не вела никуда, дорога была никому не нужна. И теперь им оставалось только молчать: цифры и выкладки были сильнее эмоций. Но тут-то для них и начиналась бездна. Их души захлестывала иная боль — властная и пронзительная, — от которой под сердцем жгло почти нестерпимо.

Они все так же молча попрощались, и только уже у выхода Башкирцев, пряча глаза, попросил друга:

— Я мог бы по радио, но ведь сам понимаешь...

— Понимаю.

— Пусть пока не знают... Мало ли, вдруг да переменится ветер... У нас ведь всякое бывает...

— Бывает, — вяло согласился Иван Васильевич, но, прикрывая за собой дверь, только безнадежно махнул рукой.

II

Берег, оседланный лиственницей, тек под хлопотливое тарахтение буксирного катера к югу, и вода из-под кормы баржи спешила туда же. Но Иван Васильевич знал, сколь обманчива дремотная тишина берегового леса: там, за островерхими макушками, где-то совсем рядом, еще дышало умирающее чудище дороги, его дороги. Еще по инерции полным ходом шла отсыпка насыпей и укладки пути, еще вырубалась трасса, еще экспедиционники подыскивали для нее лучшие варианты. И за всяким, даже самым малым, результатом — оживало физическое движение, а в сумме это звалось работой. Работой многих и многих тысяч. Но работа эта была мертва, ибо она уже не имела смысла. И ему, инженеру, человеку точного расчета и логики, становилось оттого вдвойне тяжело. Ведь его собственная жизнь была лишь малой частицей того огромного делового фронта, что вытягивался на много километров, рассекая лесотундру от одной большой реки до другой.

Даже здесь, на барже, под монотонное тарахтение движка, колготила жизнь, вся пронизанная настроением гудящего неподалеку большого строительства.

Прямо против него два рабочих-поисковика, — это можно было безошибочно определить по казенной амуниции, выданной им со склада местной Северной, — уютившись на своих вещмешках, со

скукотным остервенением резались в карты. Один, молодой хиловатый парень с утиным носом, горячился, припечатывал каждую карту со смачной оттяжкой и, сыграв, всякий раз победно взглядывал на противника: ну, как, мол? Другой, крепенький мужичок, из тех шабашников, каких в верховья калачом не заманишь, выкладывал карту, так же как, наверно, и все, что он делал, вдумчиво и степенно, и притом, прежде чем вытянуть ее из своего «веера», слегка поплеывал на пальцы. Разговор у них между собой велся вяло и как бы между прочим, более для порядка, чем из интереса.

— Чудно, — говорил хильй. — Гад ты, это я тебе без зла, а в своем деле мастер. Всяких столяров видел...

— Да уж, могём, — равнодушно соглашался мужичок.

— Сколько гадов видел, все филоны, а ты...

— И я — филон... Это только так, в охотку.

— Значит, гад все-таки?

Прежде чем ответить, тот долго обдумывал ход, потом послунывил пальцы, нашел нужную карту, выложил ее на кон и все так же равнодушно согласился:

— Гад.

— Даешь, мальй!

— Так все гады. Ты-то вот тоже, полагаю, пятерик не за свят дух оттягивал... Да ты не шебуршись, не шебуршись: ты мне без зла, а мне-то уж сам Бог велел ближнего любить. Так вот... Я тебе по любви этой и толкую. Ну, ты сам посуди: какая корысть на дядо надрываться, а? Это пусть идейные стараются, у них рога длинные... Да они и не задарма... Вон Скопин наш кричит: то да сё, мол... Я бы на его-то месте за пять тысяч и не так блажил... По всей трассе!.. Или вон кореш твой, отставник, старается. Может, он специально к наше-

му брату приставленный, может, ему за это десятерной кошт идет...

И по мере того, как он говорил, глядя в карты, а не на собеседника, тот начинал темнеть и, словно тетива, вытягиваться. При последних словах парень легонько взял партнера за подбородок и стал медленно цедить в лицо мужичку побелевшими губами:

— Слушай сюда, гнида, ты, видно, как глухарь — не слышишь, что поешь, а? А если бы ты слышал, ты бы сгнил от страху, потому как я сейчас буду бить тебя до третьих кровей вперемежку с дерьмом, или — по-докторски — с калой... Где ты был, хмырь болотный, когда майор в окопах вошь кормил? Где ты, гад, был, когда майор три раза тонул и пять раз горел?..

— Ты что? Ты что? — Мужичок поспешно стряхнул руку соседа и рывком отодвинулся в сторону, утягивая за собой пузатый вещмешок. — Окстись... Я ему без зла, а он... Психа... Форменный уркач... Набирают!

А хилый вдруг потерял всякий интерес к бывшему партнеру и отвернулся к реке.

«Сколяра бы сюда, — горьковато подумал Иван Васильевич про экспедиционного кадровика, — неплохой для него урок классового самосознания. — И тут же отметил: — Да, брат, и для тебя тоже».

Когда в управлении Иван Васильевич отказался от самолета и решил спуститься по реке до Ньюшина Камня, вблизи которого начиналась родная для него трасса, а затем пройти по ней до самой базы пешим ходом, многие отговаривали: долгонько, мол. Но он решил, что спешка в его положении уже ни к чему, и теперь не жалел об этом. Сейчас ему, как никогда раньше, требовалось отрешиться от текучей суеты, остаться наедине с собой и по-

думать, подумать обо всем, о чем ему за повседневными делами некогда было думать: подбить, так сказать, бабки.

Жизнь не давала ему передышки. Со стройки на стройку, из одного конца страны в другой. Семью он с собой не возил, чтобы дать детям спокойно доучиться на одном месте, и поэтому видел ее, как говорится, в авральном порядке, во время отпусков, которые не всегда затягивались. Правда, жена наезжала к нему, но и здесь они виделись урывками: большую часть суток ему приходилось быть в деле. Он все откладывал на «после», и это самое «после» представлялось ему и его домашним чем-то вроде непрерывного праздника в семейном масштабе. Каждый из них так и планировал свое самое заветное желание: «Вот, после того как отец...» И вот оно пришло, его «после», и он с горечью и сожалением должен был сейчас признаться себе, что праздника не состоялось...

А берег тек и тек себе на юг, будто утверждая всей своей непрерывной дремотностью, что он вечен и неистребим, как вечна и неистребима вода у его подножья и небо над его островерхим воинством: так было, так есть, и так будет.

Но разговоры вокруг Ивана Васильевича все же держались на одном дыхании, на одной и той же, казалось, теме, главным направляющим словом в которой победно трепетало: «дорога».

Неподалеку от него, усевшись в кружок, закусывали рабочие, судя по новеньким спецовкам — весеннего набора. Один из них, жердеватый и жилистый парень лет тридцати, ухватисто и толково разделявая кусок красной рыбы, убеждающе подсчитывал:

— Тыщу двести чистыми. Ну, не без того, чтобы выпить... Бросаю пять бумаг... Семьсот остает-

ся... Вот тебе, Анюта, и крыша новая, и самой на платье, пряники пацанам.

— Ты бы, Митя, — смешливо похрустывал луковицей его сосед, губатый, белозубый, улыбочивый, — на другой день опосля похмелья деньги считал, так-то оно целее.

— Тебе что, — беззлобно огрызнулся первый, — ни кола ни двора, ни нахлебников, вот и хлопаешь пастью...

— Любил кататься, — озорно хохотнул чубатый, — люби и саночки возить. За тебя дитёв-то не сосед делал.

— А, что с тобой, балаболкой, и говорить...

Третий, в ношенной кожаной куртке, явно с чужого плеча, и кепке-москвичке, только усмехался, и снисходительная эта усмешечка, выскользнув из одного уголка его нетвердых губ, возникала в другом. При этом он изредка взглядывал в сторону Ивана Васильевича, как бы приобщая его к своей молчаливой иронии.

А Иван Васильевич думал о том вечном, добром качестве русского человека, умеющего строить планы и надеяться, несмотря на то, что на каждом шагу ему противостоят обстоятельства, абсолютно не зависящие от его воли: войны и пожары, болезни и наводнения, неурожай и распоряжения свыше. Пусть не получит этот раз какая-то далекая Марья или Дарья ни на крышу, ни на платье, ни на пряники пацанам, но даже если этому парню придется двадцать раз обмануться в своих расчетах, он землю есть начнет, а в конце концов, в двадцать первый, все же будут у его далекой Марьи или Дарьи и крыша, и платье, и пряники для пацанов.

И вдруг Ивана Васильевича обожгла мысль, и мысль эта была до того предельно простой и ясной, что он подивился, как же она не приходила ему в

голову до сих пор: «Ведь ничто не исчезает бесследно, не может исчезнуть! Даже самая бессмысленная работа составляет другую, не осязаемую на ощупь, но человечески определенную ценность — опыт».

Но и спасительная, казалось бы, формула не дала желанного равновесия, скорее наоборот, захлестнула душу смутным, незнакомым ему прежде томлением. Ведь цена, что придется уплатить за этот опыт ему, ему лично — Ивану Васильевичу Грибанову — для него, для него лично — Ивана Васильевича Грибанова — будет последней, и какой! И ему вдруг нестерпимо захотелось встать и пойти, пойти просто так, куда глаза глядят, чтобы смять, избыть в хождении это почти удушливое ощущение собственного бессилия перед неизбежным.

Но под ногами простиралась только узкая, слишком узкая, даже для того, чтобы перепрыгнуть ее, полоска баржи, а кругом царствовала вода, много-много тысячеверстной воды, и лес над ней, много-много тысячелетнего леса. И тогда он отвернулся и заплакал, заплакал так, как не плакал даже в ту январскую ночь, когда его, с распоротым животом, волок по великолукскому насту усталый, злой и тоже раненый старшина, заплакал и неожиданно для самого себя с удивлением и благодарностью почувствовал, как его светло и властно стало заполнять облегчение.

III

Прежде чем выйти на трассу, Иван Васильевич провел день в Ньюшином Камне, у председателя местного рыболовецкого колхоза Каргина. С председателем он сошелся с той поры, когда экспедиция еще только начинала разворачиваться в

этих местах. На первых порах Каргин многим помог поисковикам, и, хотя в конечном счете не остался в накладе, добро, оказанное в трудный час, не забылось Иваном Васильевичем. Потомственный чалдон, Каргин, против правил, был подвижен и горяч, а потому лишь редкостная хозяйская хватка и «полный ажур» в отчетности вывозили его в самых сложных административных переплетах.

— Понимаешь, родимай, — метался Каргин по комнате в одной исподней, заправленной в парусиновые брюки, и в шлепанцах на босу ногу, — все галдят: рыбы! А где я им ее возьму, разве что рожу? Не идет рыба. Вон немцы из воды не вылезают, а что толку? Нету ее, рыбы, и вся недолга. А здесь еще присылают всякую мошку. Жужжат: рыбы! Так это кому сказать: скупаю! Скупаю у частного сектора. Скупаю за рупь, сдаю за грош. — Он сплюнул в сердцах, подскочил к столу, налил полстакана, выпил и, ткнув во что-то вилкой, но так и не закусив, вновь бросился вдоль по горнице. — А деньги где я брал? Ковал, что ли? Ты давал... Да, да, не хлопай хлопалками, сам не замечал, как давал. Лодки у кого арендовал? У Каргина. Проводников? У Каргина. Гужевой транспорт, а? Снасть всякую? У меня же. А я ведь не жалел, драл, самого совесть часом брала, а я ведь не из стыдливых. Драл, потому как знал: финансируете «от объема работ». Бери больше, Каргин, потому как «от объема». Дорога — кормилица, ей и вздохнули малость. А теперь что же, а? Снова в долги? Снова трижды в неделю на ковер?.. А ты говоришь, что мне дорога. А уж про девок и не говорю, зарез им полный выходит. И мужское поголовье мое остается на нуле.

Он наконец присел, но только так, на краешек табурета, пошарил быстрыми глазами по тарелкам,

ткнул вилкой в заливную рыбу, но есть снова не стал, а, искоса взглянув на гостя, спросил:

— Все эти мои болячки — ерунда, сто лет жили без вас и еще тыщу проживем, ты мне, Иван, вот что скажи: зачем же было и огород городить? Деньги! Ладно, не оскудеем... Люди! Вот в чем гвоздь! Зряшный труд не тем страшён, что зряшён, а тем, родимай, что он в человеке делателя убивает, заинтересованного, так сказать, производителя. А сколько их тыщ здесь, тебе лучше знать. Ведь он какой он там никакой, а дорогу строил. Ведь это ему на всю жизнь: дорога. И на карте ткнуть может. И поедет, так погордиться не замедлит. А теперь ему начхать, потому что он самолично видел, какие рубли можно зазря в землю вгонять. — Каргин сожалительно махнул рукой, и снова налил, и снова выпил, и снова не успел закусить. — Да и только ли рубли?.. Теперь это уже не заинтересованный производитель, а машина: от гудка до гудка — и с колокольни долой... С таким не то что «светлое будущее», а какое есть не потерять бы...

Слушая Каргина, Иван Васильевич пытался было примерить ко всему, что говорил сейчас председатель, каркас своей продуманной еще на барже и показавшейся тогда ему такой объемной формулы. Но боль отдельного человека, в данном случае — Алексея Каргина, не втискивалась в нее, начинала кровоточить. Тогда он сказал, как можно увереннее сказал:

— Все это так, Каргин, — и он повторил любимое его словечко, — так, родимай. Но ведь это не ликвид, а консервация. Придет время...

— Консервация! — взвился тот. — Тебе ли тундру не знать, Иван! Через пяток лет сюда медведь вернется и не почует, что железом пахнет... Ваня, родимай!..

Но о чем еще мог сказать Иван Васильевич своему другу, чем успокоить, когда у него самого на душе смутно и зябко сквозило и слова, которые приходилось сейчас ему говорить, — он сам это знал и чувствовал, — были пусты и необязательны? Но он не мог уйти от ответа, не мог, не имел права спрятать глаз от цепкого взыскующего взгляда хозяина.

— Ты спрашиваешь меня, Каргин, а я спрошу у тебя: ты помнишь, как тогда, в зиму, я привез сюда первую партию, десять человек, в снег, в лес? Я всю трассу пересек наравне с рабочими. А ведь все это через мои руки прошло, через душу мою, если хочешь. Мне не больно? Выть хочется. Ты кричишь, я кричу. Нам больно, вот мы и кричим, каждый по-своему. Но крик проходит, а суть остается.

— Какая суть! — почти застонал Каргин.

— А суть, — сказал Иван Васильевич и сам не узнал своего голоса, до того он был сухим и жестким, — в том, что, кроме наших причитаний, существует объективная необходимость. Упрямая, Каргин, штука. Никуда от нее не денешься. Тебе больно, мне больно, тому, кто закрывает, тоже, наверно, больно, а закрыть надо. Надо — и все тут. При государственном планировании слезы в расчет не берутся.

— Должны браться! — вскочил и снова заметался по горнице Каргин. Сухой и взъерошенный, сейчас он был похож на птицу, случайно загнанную в помещение. — А как же, Иван, родимай? Ведь сначала сверху, потом посередке, а потом на каждого распределяется: выполняй. А как же он, этот самый каждый, будет выполнять, когда у него бед полная кошелка, ему бы их расхлебать, не до плана... И пошел наш план обратным ходом: один не сделал, середка не дотянула, в целом прогар...

Он остановился против Ивана Васильевича и, явно довольный удачным своим оборотом, победно взглянул на него: ну, что ты, мол, скажешь?

«Э, да ты философ, — подумал Иван Васильевич, одновременно и радуясь и завидуя неистощимому каргинскому натиску. — Не сносить тебе головы, паря, коли, как всегда, кривая не вывезет».

Спор затягивался, и спор — это Иван Васильевич по опыту знал — беспредметный. Он и не был расположен спорить, потому что боль Каргина была и его, Ивана Васильевича, болью, и продолжать разговор означало поддаться слабости, потерять власть над собой. Он переборол искушение и заторопился:

— Что ж, пожалуй, двинусь, Ильич. Думаю, проводишь до просека, по пути и договорим.

— Спешить? — Враз погасая, Каргин усмехнулся, и по тому, как усмехнулся, без труда угадывалось, что ему понятны и состояние гостя и причина его неожиданной торопливости. — Теперь ведь вроде бы спешить некуда...

— Эх, Ильич, еще дел да дел!.. Сдача вот-вот. Концы свести надо... Да и вообще в одиночку проветриваться мне сейчас не вредно... Мысли всякие... Прикидываю, что к чему.

— Одолевают все-таки? — хитро взглянул в его сторону Каргин. Он натягивал у двери сапог. Сапог не поддавался, и ему приходилось еще и еще раз перематывать портянку. — Лезут, значит, проклятые... А зачем они тебе, Иван? У тебя же есть зацеп: государственный интерес... Вот и вешай все на эту зацепу. Фу ты черт! — Он наконец натянул один сапог. — Эх, Иван Васильевич, Ваня, родимай, сколько вместе попито-поедено, а поговорить по душе так и не состоялось...

Ну разве мог объяснить Каргину Иван Васильевич, с каким желанием, с какой доброй охо-

той накрепко оседлал бы он сейчас теплый табурет, хватил бы вместе с хозяином по стакану-другому, и потек бы, пошел бы между ними разговор без обиняков, тот долгий мужской разговор, после которого люди становятся либо друзьями до гробовой доски, либо врагами на всю жизнь. Но Иван-то Васильевич потому и торопился, что бежал от этого разговора, бежал, страхась самого себя, вернее — все нараставшей в нем смутной, но жгучей тревоги...

Они поднялись на косогор, откуда трасса проглядывалась чуть не до самого горизонта, явственной лентой рассекая тайгу надвое. Позади них тускло поблескивала река. С косогора она казалась неподвижной и оттого еще более огромной и притягательной. Впервые за несколько лет их знакомства они обнялись, и Иван Васильевич, как это часто бывает, вдруг остро почувствовал, что он прощается не столько с Каргиным, сколько с частью своей жизни, оставленной им в этом человеке. Наверное, они ощутили это одновременно, потому что Каргин, вдруг оттолкнув его и отвернувшись, зло молвил:

— Зря не поговорили.

И здесь, за минуту перед прощанием, Иван Васильевич не посмел покривить душой перед человеком, который ждал от него важного, нужного для себя слова, но так и не дождался.

— Зря, — коротко сказал он и еще раз утвердил: — Зря.

Сказал и шагнул в лес, и лес раздался перед ним.

IV

Как только он вышел на тропу, тайга обступила его со всех сторон, определив перед ним единст-

венную сквозную дорогу — коридор трассовой просеки. Иван Васильевич еще ощущал спиной долгий каргинский взгляд, но лес уже приобщи́л его к своей глубине, к своему тревожному спокойствию, заключив путника в тот вещей, слепой круг, из которого пути назад — нет. И он отдался лесу, как спасению. С тайгой у него была связана почти половина жизни, и если другим тайга виделась сплошной и темной стеной растительного беспорядка — цвета охры и зелени, то для него это была сама тишина, только выраженная в линиях, звуках, оттенках. Она, эта тишина, делала его и маленьким и великим одновременно: маленьким перед ее тысячеверстным размахом и великим рядом с ее беззащитностью.

Явственно очерченное солнце, едва коснувшись горизонта, вновь потянулось к зениту, и подсвеченные восходом вершины стволов излучали ровное красноватое сияние, отчего игольчатая их оснастка как бы парила в упругом утреннем воздухе. И у каждого шороха и шума звук был чист и отчетлив, словно определен заранее. Тайга тихо и трудно дышала неверным теплом еле отогретой земли.

Будущее с его горькими заботами и болью словно бы отодвинулось, стало видаться далеким, а может быть, даже и несуществующим. Иван Васильевич вдруг почувствовал себя молодо и беспшашно, как человек, отставший посреди луга у семафора от случайного и ненужного ему поезда. По сравнению с тем, что окружало его, все, что могло или должно было случиться или уже случилось, выглядело сейчас пустой опиской в очередном анкетном папирусе. Стремительные стволы, продираясь сквозь чащу и гулкий сушняк, уносили на своих остриях туда, к низким ребристым нагорьям, тугое от глубокого вдоха небо, чтобы там, за

горами, оставить его наедине со студеным морем. Удивительная, ни с чем не сравнимая легкость проникала Ивана Васильевича, и он шел и шел, и ему и в самом деле думалось, что конец его пути тоже там — у моря...

Впереди обозначилось, становясь с каждым шагом все шире, тусклое, безлесое пятно тундры, и сразу же на стыке равнины и чащи навстречу Ивану Васильевичу выплеснулся костерок. Над костерком вместо котелка лоснилась свежей копотью банка из-под английского маргарина. Умело орудуя небольшим тесаком, сидел чуть в стороне на корточках сухощавый старик в хлопчатобумажной робе, заправленной в мелкие резиновые сапоги. Лицо его, узкое, несколько удлинненное книзу, точно грубо вырубленное, можно было бы назвать суровым, даже властным, если бы не глаза его, в которых, наверное сыздавна и навсегда, отстоялось этакое ровное ликующее свечение. Так смотрят в мир лики святых старого письма и глубоко больные дети в минуту внезапной радости. Если б не таежная глухомань кругом, его можно было бы принять за мастерового, махнувшего между двумя сменами на рыбалку, — до того не вписывался он в жесткую ясность Севера.

— Бог в помощь! Здравствуйте.

Старик взглянул в сторону Ивана Васильевича, и лицо его сразу же обмякло, посветлело, он разогнулся, отложил тесак в сторону и молвил неожиданно низко и густо:

— Здравствуйте. Присаживайтесь, сейчас чай пить будем.

Он сказал это с таким подкупающим радушием, так по-домашнему, словно они давным-давно знакомы и вот один из них забежал к другому на огонек по дороге домой. С хлебосольной широтой разливал он пахнувший дымом кипяток по круж-

кам, щедро сыпал туда сахар, раскладывал перед Иваном Васильевичем немудрящую свою снедь, весело приговаривая:

— Я старый ходок, можно сказать, вечный, и, уж поверьте на слово, знаю: чай — продукт в дороге первейший... Съешьте, съешьте больше... Углеводы... Да... Вот говорят: тайга, мол, тайга... А я вот сколько иду — и дня не было, чтобы кого не встретил... Как в России...

И речь старика, и вид, и его совсем не свойственная северянам словоохотливость обличали в нем гостя с материка, причем гостя недавнего. Но Иван Васильевич, решив не нарушать доброй таежной традиции, расспрашивать не стал, да и не до того ему было. Впервые, пожалуй, за много лет жизнь, прогоняемая сквозь него все последнее время убыстренной кинолентой, когда он почти не успевал запоминать лиц, мест, событий, замедлилась, позволяя ему рассмотреть, кадр за кадром, мельчайшие свои подробности. И каждая из этих подробностей оказывалась для Ивана Васильевича откровением, открытием. Уже там, на маленькой барже, действительность предстала перед ним серым планом, и уже тогда если не поразила, то обескуражила его. Выходило, что у людей, которых он привык считать десятками и сотнями, и заботиться, и думать о них как о десятках и сотнях, есть свои личные, единственные заботы, куда более важные для них, чем дело, которым он жил и заставлял жить других. Между ними возникали конфликты, о каких он и не подозревал, они несли в себе радости и беды, к каким он не имел касательства. И все его тогдашнее — на барже — состояние, теперь он это начинал понимать, было лишь неосознанным протестом естества, привыкшего улавливать, а не глядеть, догадываться, но не узнавать. А время не давало ему опомниться, оно

не хотело считаться с его случайным раздражением. Действительность все замедлялась и замедлялась, укрупняла планы и, наконец, лицом к лицу столкнула его с Каргиным. И человек этот, изученный, казалось бы, вдоль и поперек, прочитанный вроде бы и оцененный, окончательно выбил его из колеи, разрушив в нем представление о самом себе.

Но, вступив в лес, Иван Васильевич увидел мир так близко у своих глаз, так крупно, что все оставленное им позади показалось ему теперь пустяшным и мелким, и к нему сошло ровное спокойствие, и сейчас, у костра, с каждым глотком пахнущего дымом кипятка, оно, это спокойствие, только укреплялось в нем.

А старик смотрел на него круглыми блестящими глазами, словно прикидывая, сколько он, Иван Васильевич Грибанов, может стоять, и говорил мягко и густо:

— Я недавно в этих местах, хожу, смотрю... Думаю обосноваться...

— Не курортное, должен я вам сказать, место выбрали.

Старик вдруг замялся и поскушнел:

— Рады бы в рай, да грехи...

Тень, скользнувшая по обсеченному ветрами и временем лицу, коснулась глаз, и глаза погасли, будто обуглились. Горький опыт Севера подсказал Ивану Васильевичу его вопрос:

— На поселении?

— Я — нет... Друг — да, действительно на этом самом. — Старик явно не хотел повторить слова, произнесенного Иваном Васильевичем, а другого, равного по смыслу, но менее определенно-го, никак не находилось. — Так сказать, в общем... без свободы передвижения... Но, кажется, скоро... — он заторопился, словно боясь, как бы собеседник не подумал Бог знает чего и не ушел, — да, да, уже

посланы бумаги. И начальство поддерживает... Он очень старается...

— А вы что же, — начал было Иван Васильевич, чувствуя, как ему перехватывает дыхание, — ждете, выходит?

— Пропадет он без меня, совсем пропадет... Мы ведь, знаете ли, лет сорок вместе. С той войны еще... Он здоровьишком всегда слабоват был, а теперь и подавно — года... А у меня пенсия, я машинист, первый класс имею... Пассажирские водил...

— Так и живете возле него?

— Так и живу.

— Трудно?

— Смотреть трудно.

— Надо стараться смотреть мимо.

— У меня не выходит.

— Тогда, действительно, нелегко.

Старик вдруг снова посветлел и заговорил, и в каждом слове его теплилась нескрываемая благодарность к собеседнику за это вот, хоть и косвенно выраженное им, сочувствие:

— Обещали — вот-вот... Только бы он дотянул... Закончат дорогу — люди понадобятся... Глядишь, и мы с ним, по старой памяти, где-нибудь при депо... Правда, он не паровозник, движенец, но дело знает. Гремел когда-то... Журавлев... Может, слышали?

— Нет, не приходилось.

— Гремел, — как эхо, повторил старик и задумался, глядя в огонь, и отблеск пламени прибавил его глазам остроты и твердости. — И еще погремит. — И повторил, однако уже без особой уверенности: — Погремит...

Дорога! Иван Васильевич надеялся уйти, убежать от нее, от самих мыслей о ней, даже отдаленных воспоминаний, но и здесь, среди леса, возле, казалось бы, такого случайного костерка, она дог-

нала его, и с таким трудом обретенное равновесие рухнуло, и все то, что он тшился спрятать в себе как можно потаенней и глубже, взорвалось в нем, цепко охватило сердце, сжало, чтобы уже не отпустить до конца.

— И куда вы теперь? — машинально спросил Иван Васильевич, пытаясь случайными, зряшными словами заполнить горькую пустоту, разверзшуюся в нем. — В округ?

— Нет, я только в Ньюшин Камень — и обратно, — ответил тот и тихо пояснил: — Телеграммы жду... От своих путейцев. Хлопочут... Мы ведь всем миром навалились...

— В Ньюшин, значит? — прислушиваясь только к себе и к тому, что творилось с ним, переспросил Иван Васильевич. — А потом, значит, обратно?

— Еще, конечно, куплю кой-чего. Махорки, там, сахарку... Но главное — телеграмма. В телеграмме весь мой интерес.

— Вот что, — внезапно вникнув в смысл разговора и обретая трезвую ясность, заговорил Иван Васильевич, — там, в Ньюшином, есть такой человек — Каргин... Председатель колхоза. Скажите ему, что вы от Грибанова. Он знает... И поможет, коли нужда какая.

— Спасибо. Только нам, — он подчеркнул это самое «нам», — ничего не нужно.

Неожиданно для себя обозначив в своем лице начальство, Иван Васильевич ожидал всяких просьб и ходатайств, но старик вдруг весь подобрался, стал строже и темнее обликом, чем сразу же расположил к себе Ивана Васильевича. «А старикан-то, — оттаивая, подумал он, — ласков-ласков, а с норовом». Но вслух сказал:

— Может, и заночуем здесь? Солнце на убыль пошло, по-здешнему — дело к ночи.

Но старик неожиданно заспешил, стал лихорадочно запихивать в мешок нехитрый свой скарб.

— Торопиться надо: вдруг — телеграмма. Мы с вами здесь разговоры разговариваем, а ему каково там?.. Я поспешу... Вы уж загасите головешки-то.

— Загашу. — Старик нравился ему все больше. — А телеграмма, я уверен, будет. И может быть, уже ждет вас в Ньюшином.

Тот, пристраивая мешок на плечо, коротко этак и обжигающе взглянул на Ивана Васильевича.

— Спасибо на добром слове... Головешки не забудьте загасить... Всего хорошего.

— До свидания. Держитесь трассой!

Ответа он не услышал. Старик шел, тяжело ступая на пятки, к лесу, к трассе, и косая тень его изменчиво и неуловимо колебалась на мшистой целине тундры. И покуда высокая, сутулая фигура маячила в редколесье опушки, Иван Васильевич смотрел ей вслед — и странно! — верил, мало того, убежден был, что на этот раз в Ньюшином Камне старика действительно ждала телеграмма.

V

Багровое солнце тихо стекало за щетинистый срез близкого нагорья, когда Иван Васильевич вышел к Рубежной заимке — одной из перевалочных баз экспедиции. Понаслышке он знал, что хозяйничала здесь соломенная вдова из берегового села Хамовина, Васёна Горлова, но видеть ее ему не приходилось, и поэтому сейчас, как это всегда бывает перед встречей с человеком, о котором много наслышан, на сердце у него слегка сквозило.

А хозяйка, словно ждала кого, стояла на пороге и, приставив к подборовью ладонь козырьком,

вглядывалась, ослепленная закатным солнцем, в шагающего по ее тропе гостя, а взглядевшись, опустила руку и в коротком поклоне первая нараспев поздоровалась:

— Здравствуйте. — И, отстраняясь, чтобы дать ему войти, добавила: — Заходите.

Он ответил внятно и дружелюбно, в тон ей:

— Здравствуйте. Спасибо.

— А вы кто будете, — входя за ним в горницу, спросила она, — из партии или как?

— Я — Грибанов.

— Вот не ждала-то, — беспомощно выдохнула Васёна и растерянно огляделась, как бы призывая все вокруг в свидетели своего чистосердечия. — И не прибрано вовсе.

— Да вы, Горлова, не беспокойтесь. Я только отдохну у вас малость от комара — и дальше.

— Так пешком и идете от самого Судакова?

— Я до Ньюшина на попутной барже.

— Значит, от самого Ньюшина?

— От самого... Да вы, Васёна, — он впервые назвал ее по имени, — извините, отчества не знаю...

— Васёна, да и все тут. Все так и зовут, молодые и старые. Я уж и сама отчество свое, считай, позабыла.

— Вы не хлопчите, ничего не надо. Есть я не хочу, вздремнуть бы немного...

Но Васёна уже колдовала у печи, орудуя ухватками и гремя посудой.

— А вот попотчую, чем Бог послал, тогда и сны слаже будут... Я — мигом. У меня ведь без разносолов... Вы пока располагайтесь.

Предельно скупое убранство горницы точно соответствовало облику и образу жизни хозяйки: стол, несколько скамей, тумбочка в углу и патефон под ситцевым платком на ней. А чуть повыше, в

том же углу, киот, с которого черно маячило испуганное око Богоматери. Сбоку от образов, несколько выпадая из общего строгого тона, на стене кокетливо сиял полиграфической пестротой календарь с веселой госиздатовской картинкой «Праздник урожая».

— Веруете? — кивнул он в сторону киота.

Расставляя на столе миски со снедью, она ответила коротко и сухо:

— Для порядка. Какой дом — без иконы? Тепла в таком доме нету.

Она, по-деревенски, с силой прижимая каравай к груди и опуская глаза вниз, резала хлеб, и благодаря этому Иван Васильевич в первый раз подробно рассмотрел ее.

Лицо у нее было без какой-либо внешней черты или выражения, по которым бы оно могло вспомниться в случайном разговоре. Бесцветное на первый взгляд лицо. Но чем пристальнее всматривался в него Иван Васильевич, тем явственнее проступала в нем одна раз и навсегда обдуманная мысль, одно твердое решение, и эта Васёнина внутренняя целеустремленность сообщала ей едва заметную, но характерную особенность.

Из початой бутылки Васёна налила ему и себе по полстакана, залпом выпила и подвинула к нему закуску:

— Ешьте... Таймень... У рыбаков на спирт обменяла.

— Своего-то промысла нету?

— И-и, промысел! Мне, при моем бабьем деле, один промысел: посплю да посумерничаю, посумерничаю да посплю.

— И давно здесь?

— Летошний год пришла.

— В Хамовине дела не нашлось?

Васёна отсела от стола на лавку у стены и, упершись локтями в широко, по-мужски расставленные колени, сказала себе под ноги:

— У всякого свой резон.

— И не скушно?

— Я уж отскучалась, вот-вот сорок. Мне бы, — концом передника она коснулась глаз, — дитёв вырастить, вот и все веселье.

— Сколько ж их?

— Двое. — Она подняла лицо и улыбнулась сквозь слезы, и эта улыбка осветила тусклое лицо ее на удивление добрым и трепетным светом. — Один в четвертом, другой седьмой кончает. Едоки — в отца: что ни поставь... Все боялась — уедут. Отец-то ить черт-те где шастает, длинного рубля ищет. А нынче тверда: останутся... Около дороги-то всем дело найдется. Не все бурундуков гонять, тоже в люди выдут...

Дорога! Опять, в который раз, это слово, как бакен у поворота речного русла, направляло Ивана Васильевича в свой обязательный и неотвратимый для него фарватер. И он все с большей отчетливостью постигал, что, куда бы его ни заносило и чем бы ему ни хотелось забыться, оно, это слово, в конце концов настигает его и полонит, потому что все на тысячу верст вокруг определялось им, этим словом: жизнь людей, их надежды, лесотундра, расчеченная просекой, и даже, казалось, самый воздух.

Грубые, но ловкие Васёнины руки мелькали над столом, и вскоре перед Иваном Васильевичем осталась лишь недопитая бутылка со спиртом да рыба в миске, накрытая ржаным ломтем.

— Это коли среди сна опохмелиться захочете, — пояснила она и, походя взбив огромную и, наверное, единственную в ее хозяйстве подушку, стала расстилать на полу старый полушубок. —

Ложитесь, а я вас повеселю перед сном грядущим. Здесь партия ваша проходила. Там у них один соколенок был. На старшего моего похож, такой же востроглазый. Только масти чернявой... «На, говорит, тебе, тетенька, за веселый ндрав». Ну чистый артист! — Васёна подошла и сняла с патефона на тумбочке ситцевый платок и огладила обшарпанную голубую коробку довоенного образца бережно и любовно. — «Мне, говорит, тетенька, этот музыкальный ящик во где, — она сделала характерное движение ребром ладони поперек шеи. — Только пластинка одна-единственная... Остальные, говорит, тетенька, зверье слушает. Они, говорит, тетенька, звери, очень чуткие. Они, говорит, могут слышать и без ящика».

Вконец заигранная пластинка долго шипела и потрескивала, прежде чем сквозь этот шип и треск не прорвалась едва разборчивая скороговорка:

Сердце красавиц
Склонно к измене
И к перемене,
Как ветер мая...

И, засыпая под уже совсем почти стертую песенку герцога, Иван Васильевич почему-то вспомнил, что на обороте должна быть ария Каварадоси. Предельно отчетливо вспомнил: именно Каварадоси.

VI

Когда Иван Васильевич открыл глаза, увидел сидящего напротив за столом скуластого бородача, который в упор, не мигая, смотрел в его сторону светлыми, с пепельно-сухой искрой глазами.

— Здравствуйте, — несколько теряясь под взглядом бородача, пробормотал Иван Васильевич.
— А хозяйка...

— Здравствуй, коли не шутишь, — бесцеремонно прервал его тот. — А куда она денется, хозяйка? По дому суетится. Ты ведь гость сурьезный, вот и мельтешит.

Бородач продолжал разглядывать его, словно редкую диковину, с обстоятельным вниманием.

— Значит, ты и есть — Грибанов?

— Вроде того.

— Чудно.

— Это почему же?

— Виду нету.

— Вот как?

— А слуху много.

— Говорят?

— Всякое...

— Но все-таки?

— Больше хорошего.

— Ишь ты!

— И плохого тоже.

— Всем мил не будешь.

— И это правда.

Наступила пауза, во время которой стороны как бы изучали друг друга, настраиваясь на разговор, но к самому его началу подоспела Васёна.

— Выспались? — прямо с порога весело засуетилась она вокруг гостя. — А это вот Кирилл, ведун здешний... До Белого озера вместе дойдете. Все веселее. Ужо Кириллушка расстарается, не заскучаете.

— Нашла затейника-коробейника! — Бородач был явно недоволен выданной аттестацией. — Может, мне еще камаринского твоему начальнику сплясать?

— Ладно, Кириллушка, не обижайся, — ласково одарила его Васёна, закатывая подушку в полушубок и взваливая все это на печь, — это ведь я так, к слову... Я вот вам в дорогу рыбкинку завернула... Ну, и для устатку кой-чего...

Из узелка, поставленного перед Иваном Васильевичем, торчало горлышко так и не допитой бутылки. Он хотел было отказаться, но тут же подумал, что отказом только обидит женщину, и решил отдать по дороге спирт бородачу.

Уже снизу, из-под косогора, на котором прилепилась заимка, Иван Васильевич оглянулся: Васёна так же, как и вчера вечером, стояла у порога и, приставив ладонь к подбровью, смотрела им вслед, и ему подумалось, что, наверное, она стоит там всякий раз между встречей и прощанием.

Наступила та часть летнего северного утра, когда прижатая рассветным холодом к мхам и коврам комариная музыка еще не вошла в силу, и оттого тишина в лесу казалась особенно густой и чуткой.

Кирилл шел впереди, с уверенной развальцей ступая по еле заметной тропе, и, если бы не черные пяточки отпечатков его деревянной ноги, цепочкой врезанные в росистый мох, Иван Васильевич едва ли бы и заметил, что тот хром.

Некоторое время они шли молча, потом Кирилл на ходу полуобернулся и, не скрывая усмешки, спросил:

— Ну, как оно, своим-то ходом, начальник, кость не ломит?

— Я ее, дорогой, с топором прошел, трассу эту, не споткнулся. Тебе-то, брат, куда тяжелей.

— А ты на меня не смотри, я на своей ступе, считай, от самой Тамбовщины сюда припрыгал.

— Где ногу-то?

- Под Бобруйском немцу на память оставил.
- Не усиделось на Тамбовщине?
- Бога ищу.
- Где же?
- В душе людской.
- И нашел?
- Ищу.

Он утвердил это с такой обдуманной определенностью и верой в гордую правоту своего поиска, что Иван Васильевич, невольно проникаясь Кирилловой серьезностью и уже без иронии, спросил:

- А как — ищешь?
- Слушаю.
- Слушаешь?

— Вашему-то брату слушать некогда, суета опутала, дела, делишки разные... С человеками через бумагу общаетесь, через цифирь... А у меня время много, мне спешить некуда, я слушаю. Придет, скажем, баба, — бед у нее целый короб, и пошла выкладывать, а я слушаю. Слушаю и молчу: пускай ее облегчится. Может, я ее и не слышу вовсе, может, у меня в тот момент своих соображений хватает, только я молчу и слушаю. Отговорится она, отойдет малость — я ей в утешение скажу слово иное ласковое, глядишь, и пошла моя баба, будто десяток лет с плечей сбросила. И почнет она рассказывать всякому встречному-поперечному, какой, мол, святой под Хамовином объявился, враз облегчает... И невдомек ей, бедолаге, что эта она сама себя облегчила, а я здесь ни при чем... Зато теперь она к Богу привязанная, добра и света разыскает, каждый грех ко мне несет. Не к тебе же ей, бабе этой, иттить. Тебе ежели не про дела, то и слушать некогда, еще и посмеешься, коли она тебе свое тайное бабье выложит... Понастроите вы там

всякой всячины, а уж ни к чему будет, отойдут от вас человеки... Им ведь не токмо телу, а и душе приюту хочется... А такого приюту и нету у вас, потому как за суетой забыли об ём напрочь...

И хотя то, о чем говорил Кирилл, не уязвило, да и не могло сколько-нибудь уязвить Ивана Васильевича, — в его ли возрасте задумываться над вопросами, которые в свое время раз и навсегда были обдуманы и решены, — однако он не мог не признать в глубине души, что отчасти бородач прав, но вслух упрямо возразил:

— Совсем придем, всех перетянем. Один останешься. И грехи и беды не тебе — нам понесут.

— Чего же понесут, коли никакого греха у вас и нету вовсе? Убей, укради, пожелай, а там поймает закон мирской или нет — это еще бабушка надвое судила... Да и поймает, срок отбыл — и сызнова гуляй. А закон Божий всегда настигнет, и — без срока, во веки веков. — Он снова полуоборотился, внятно, вразяжку выговорив: — Да и не выходит у вас вроде с дорогой, рано оседать собрался, начальник.

Знал, видно, борода, по какому месту ударить, и ударил зло, наотмашь, в самое нутро, в самую душу. И Грибанов, чувствуя, как, все набухая, растет, подступает к горлу его жгучий комок обиды и горечи, вдруг взорвался:

— Рано хоронишь нас, паря. Выходит у нас с дорогой. Слышишь, паря, будет дорога. Скоро будет!

Кирилл невозмутимо шагал вперед, только пятачки от его деревяшки становились все чернее и глубже.

— Это на болоте-то?

— Мы ему на глотку наступим, и оно задохнется.

— «Мы» — это кто?

— Смертные.

— Ноги, пожалуй, не хватит, оно здесь без дна, болото это.

— Найдем и дно. Не будет здесь тебе работы, паря. Не будет.

— Земли для меня на мой век и без вас хватит. — И после многоречивой паузы: — Для всех хватит. А железом своим души людской тебе все одно не купить. Цена не та... А вот и Белое... — Он повернулся, встал с Иваном Васильевичем лицом к лицу, и тот не увидел в пепельных глазах его ни злости, ни раздражения, только тоску, долгую, устоявшуюся, почти собачью. — Эх, начальник, вслепую по земле бродим, сойдемся, а друг дружку не видим... Благодарствую на разговоре.

Кирилл быстро шагнул к повороту, но тут Иван Васильевич, вдруг вспомнив о бутылке, примирительно остановил его:

— Возьми вот Васёнин спирт. Мне он все равно ни к чему.

В ответ тот лишь укоризненно покачал головой.

— Я говорю — недосуг тебе ближнего слушать. Не услышал ты от меня ничегошеньки... Эх, начальник, так вот и расходимся всякий со своей бедой за пазухой... Бывай.

Четкая тропа отплескивалась в распадок, к матово блистающему меж деревьев озеру, и бородач пошел ею, более не оборачиваясь, все с тою же уверенной развальцей, а Иван Васильевич двинулся своей дорогой, но долго еще, несмотря на все возраставшую в нем с каждым шагом неприязнь к недавнему спутнику, он не мог избыть последних Кирилловых слов: «Так и расходимся, всякий со своей бедой за пазухой».

Лес редел, становился мельче, сиротливее, обнажая впереди как бы размытое солнечным светом пространство. Иван Васильевич прибавил шагу, и вот она распахнулась перед ним, сквозная, из конца в конец осиянная литым полднем тундра, вся в черных пятнах крошечных озер. И у одного из них, в самой близости, — три тихие палатки, три убежища от комариного голода, особенно злого в такой полдень.

Полог крайней к лесу палатки поднялся, и в темном треугольном ее провале обозначилось знакомое остроносое лицо Алексея Царькова. Царьков вопросительно воззрился в сторону Ивана Васильевича, но стоило тому сделать шаг, даже не шаг, а только полудвижение, как он бросился с места и пошел навстречу гостю, пошел короткими рывками, и в этих почти судорожных рывках его чувствовалась и безмерная радость и колкая, как холодок на острие ножа, тревога.

— Иван Васильевич! — Он подбежал, схватил руку Ивана Васильевича своими двумя и стал долго и воодушевленно трясти ее. — Откуда вы? Что случилось?

Два года тому в коридоре министерства столкнулся Иван Васильевич со своим товарищем по институту, Семеном Царьковым, и тот упросил его увезти одного, как он выразился, миитовского психа, хоть куда, лишь бы с глаз долой: «Задурил парень, совсем задурил». И, вопреки своему правилу никогда не радеть родному человечку, он взял и увез молодого Царькова, увез, едва взглянув в истине, как ему тогда показалось, сумасшедшие Лешкины глаза. Грибанов по опыту знал, что из таких психов обычно выходят наиболее толковые инженеры. И не ошибся. Из Алексея Царькова и

вправду вышел первоклассный изыскатель, хотя он нет-нет да и срывался изредка, ломал дрова, порой и по делу и — что чаще — по пустякам. Дорога для него стала целью и существом жизни, и поэтому сейчас, зная, догадываясь, чем, каким сомнением вызвана была его тревога, Иван Васильевич ответил как можно спокойнее:

— Все в порядке, Алеша, все в порядке. Просто захотелось проветриться... Показывай свое хозяйство.

— У меня — порядок, Иван Васильевич, — блестя в сторону Грибанова узкими, птичьими глазами, Алексей увлекал его к палатке. — Гравий, чистый гравий. Четвертая проба за пять дней. И всё — гравий.

— Это удача. — Иван Васильевич глядел, как Царьков дрожащими от возбуждения руками отсыпал перед ним пробы, и с трудом удерживался от искушения открыть парню правду. — Такой кусок тундры! Здесь гравий на вес золота, строители в ножки поклонятся... Из дому пишут? — он упрямо спешил перевести разговор на другое. — Как отец, скрипит?

— Пишут — скрипит, — отмахнулся тот и, в благой глухоте своей не улавливая в тоне и словах гостя мучительного беспокойства, гнул свое: — Сколько шли — сплошная супесь, реже — суглинок, а тут, прямо с этого вот подлеска, началось: что ни проба — гравий.

— Река близко, сказывается. Так, говоришь, скрипит старик?

— Может, все-таки случилось? — Все — отсутствующий взгляд гостя, вялость его вопросов и еще то, как он машинально пересыпал из ладони в ладонь горсть мелкого галечника, — заметно обеспокоило Алексея. — А, Иван Васильич? Я, сами знаете, могила.

— Ничего, Алеша, — мелкие камешки стекла в его ладони в пробную горку, — ровным счетом ничего. Просто старею... Никуда не денешься — за полсотни перевалило. Понимаешь... — Иван Васильевич отвел было глаза в сторону, ему было нестерпимо стыдно лгать сейчас, а не лгать он не мог, не имел права. Но цепкий взгляд молодого Царькова настиг его и заставил снова сойтись с ним лицом к лицу. — Нужно мне сказать...

И, наверное, Иван Васильевич все же выложил бы Царькову все, — слишком уж тяжелым становился его час от часу набиравший силу груз, — если бы вдруг возникшие снаружи быстрые шаги и шорох не оборвали его на полуслове.

— Алексей Семеньч... — во фронтоном треугольнике палатки обозначилось девичье лицо, затененное накомарником. — Опять Оржанников сачкует! — Она заметила и узнала гостя и соответственно взяла тоном ниже: — Иван Васильевич! Здравствуйте! Вы к нам?

— К вам, конечно, к вам — обрадовался неожиданному спасению Грибанов. — Не ждали?

Но Царькову уже не было никакого дела ни до чего, кроме того, о котором только что услышал. Он потемнел, подобрался, и без того худые, резкие черты его заострились, тонкие губы вытянулись в одну белую ниточку.

— А Кравцов?

— Как всегда — за двоих.

— Пошли... Вы располагайтесь, Иван Васильевич...

— Нет уж, я с тобой пойду. Знаю я тебя, дроволома.

— Взял понимаете, одного из вольнохожденцев. Славный парень... Кравцов... Павел. Из Белоруссии... Комсомольским головой на селе был... Невесту из секты хотел вытащить... Не вытащил...

А там, у трясунов, знаете как, заведутся — и кто кого сгребет... Ну и накрыл он ее... Ну и так далее... Три года: засчитали ревность... Работяга, прямо фанатик какой-то. А вроде, какая корысть: по его статье зачетов не полагается. Так в паре с ним наш, вольный — Гурий Оржанников. Роба полметра на полметра, жрет, как лошадь, а сачок, каких поискать. Сел Пашке на шею, благо тот безответный... Аля, — он обернулся к едва поспевавшей за ним девушке, — ты попридержись малость, я ему пару ласковых скажу, не для твоего уха...

Иван Васильевич было поднялся, но знакомая обложная боль вдруг взяла спину под левой лопаткой, он часто и трудно задыхался и, смахивая ладонью со лба испарину, глухо молвил:

— Подожди.

И взгляд, каким поглядел при этом на него Алексей, только укрепил возникшее в нем горестное сожаление: «Сдаю понемногу».

Сердце билось глухо и редко. И с каждым ударом его жгучий комочек все более раскалялся у горла. Но Грибанов все же пересилил себя и поднялся:

— Пошли.

Через ближнее редколесье они спустились в неглубокую лощину, и сразу же навстречу им выплыли голоса. В просвете меж деревьев определилась взмокшая спина Кравцова, орудовавшего ломом по пояс в шурфе. Спина качалась вверх-вниз с монотонной размеренностью, то открывая, то заслоняя собой распластанного рядом, под низко-рослой лиственницей, Оржанникова в застиранной гимнастерке, с заправленным в самый воротник накомарником.

Царьков остановился:

— Полюбуйтесь, Иван Васильевич... Картинка!

«Картинка» действительно выглядела довольно занимательно. Оржанников лежал, любовно оглаживая ствол шуршащей над ним лиственницы, и слова из-под его накомарника струились легко и безмятежно:

— Такой сосенке об эту пору у нас в Сычевской волости цены нет. Что хошь проси — дадут.

— Какая же это сосна! — отозвался из шурфа Павел. — Никакая это не сосна — лиственница.

— Все одно — дерево.

— И потом, — Кравцов разогнулся и вытер со лба пот, — тридцать лет с лишком советской власти, а у тебя в голове еще «волюсть» не оттаяла.

— А мне так сподручнее, — тихонько, с вызывающей наглечей хохотнул тот. — Власть, говоришь? Тридцать лет, говоришь?

— Ты что?

— Копай, копай... И я говорю — тридцать... С лишком...

Царьков не выдержал, тронулся с места.

И стоило ему выйти на мшистую прогалину перед шурфом, как Оржанников вскочил и засуетился было над своим инструментом, но Алексей уже встал между ним и шурфом и заговорил спокойно, почти дружески, но чувствовалось, как в этом кажущемся спокойствии его набирает силу яростный, взрывной гнев.

— Послушай, Гурий Ильич Оржанников, скажи мне — какая здесь будет дорога проложена? Может быть, скажешь, а?

— Понятное дело, — явно в ожидании подвоха замаялся тот, — наша... Северная...

— Государственная, — ласково поправил его Царьков. — А деньги ты, Гурий Ильич Оржанников, от кого получаешь?

— От экспедиции... — все больше терялся Гурий. — От кого же еще?

— От государства, — снова и еще ласковее поправил его Царьков, — от государства, Гурий Ильич Оржанников.

Гурий тупо повторил:

— От... государства.

— Так почему, — Алексей почти задыхался, — так почему же ты, паразит, хочешь их, эти самые деньги, получать даром? — Его прорвало, и он не старался сколько-нибудь сдерживать подступившее к лицу бешенство. — Почему ты фило-нишь, гад? Раба нашел? Да ты грязи с ног его не стоишь... Иди... Бери лом. Лопату. И чтобы до вечера полную дневную... Приду — замерю... А ты, — он повернулся к оторопевшему Кравцову, — ша-башь, ступай в лагерь, отсыпайся сегодня, мямля. За себя постоять не можешь!.. Бери его, Алевтина, корми...

Опускаясь в шурф, Оржанников еще силился хорохориться:

— Правов никаких вам не дано, чтобы сверх-урочные... И опять же кричать...

Царьков только взглянул на него, только взглянул, но этим-то мгновенным, как замыкание, взглядом он и смахнул с лица Гурия последнюю решимость к сопротивлению.

— Конечно, где нам... — пробубнил он, опу-ская голову. — Мы люди подневольные... Прихо-дите... Замеряйте...

И хотя Иван Васильевич не терпел в деле кри-ка и в другой раз отчитал бы Царькова за подоб-ную выходку, он промолчал. Уж больно вызываю-щей показалась ему эта вот неистребимая оржан-никовская уверенность в своей правоте. И только когда лес остался позади, Иван Васильевич добро-душно посожалел:

— На износ, Леша, действуешь. Дряни много, а ты один. Не наздравствуешься.

— Видеть я его не могу, — со страстной злостью вновь вскинулся Алексей. — Ведь такая нечисть, а Кравцова за человека не считает... Попробуй к такому подкопайся! У него все в ажуре. Анкета: «Не был. Не имею. Не связан». Его Уголовным кодексом не проймешь. А я бы эту еволючь не думая к стенке поставил... Слыхали небось: «Тридцать лет... с лишним». И как сказал!.. Тля кулацкая...

«Выдержит ли? — думал про себя Иван Васильевич, заранее полагая, что то испытание на трезвую зрелость, какое Алексею предстояло вскоре выдержать, будет его хрупкой для лжи натуре особенно опасным. — Ведь это тебе как обухом, дорогой ты мой человечек: положить дорогу, по которой никто, никогда, никуда не поедет, и не сломаться... Это, брат, задачка, да еще и со всеми неизвестными».

Тундра разворачивалась перед ними вся в струящейся дымке, забранная у горизонта темной щетинкой тайги, и в этой солнечной пустоте две — Али и Кравцова — фигуры впереди, казалось, не шли, а плыли сквозь марево, почти касаясь локтями друг друга. И, глядя им вслед, Иван Васильевич все почему-то ждал, что локти их вот-вот сомкнутся, и, когда они наконец сомкнулись, он облегченно вздохнул.

VIII

Маленький лагерь уже отужинал и собирался ко сну, когда у самого горизонта заколыхалось небо и серая волна стремительным полукольцом стала огибать тундру с восточной стороны.

— Олени! — восторженно вздохнула Алевтина. — На пастбище гонят. В горы.

Олени двигались плотно, голова к голове, кося тревожным взглядом за свистящим хореем погонщика. И тысячи, десятки тысяч их копытц вспарывали упругий ягель, отчего над тундрой плыл устойчивый хрустящий звук. Немного погодя из общей массы выделилась и заскользила к лагерю по сухому ягельному насту упряжка. Седок ее, морщинистый, еще не старый ненец, резко осадил нарты у самых палаток и, сразу же узнав и выделив из всех Ивана Васильевича, ослабил в желтозубой улыбке:

— Здорово живешь, начальник!

— Мишаня! Здорово! Куда путь держишь?

— На Котуй олешек каслаю. Богато олешек будет, однако, смотри, какая тундра!

— Заворачивай на чай, потолкуем...

Белое, почти прозрачное в дневном свете пламя вдарило в закопченное днище чайника, и даренная Васёной, но так и не допитая Иваном Васильевичем бутылка поплыла по кругу.

— За встречу! — сказал он и выпил первым. — Ишь красота какая...

Мимо них, все так же кося тревожным глазом в сторону хозяйской упряжки, ломило в храпе и шорохе долгое, тысячеголовое стадо, и на куцей вязи его рогов качалось линиялое июльское небо.

— Вот животи́на, — завистливо млея, проводил оленей Гурий, — корма не просит, крыши не надо, а! Ить это только подумать! На материке-то цены ей нет. Нам бы в деревню...

Прихлебывая кипяток, ненец лишь улыбался, и в кофейных пуговках глаз его плясали хитроватые чертики.

— Колхоз много денег нада. Патрон купи, порох купи, соль купи и всяко — купи. Где возьмет? Олешки дают. А у тебя все свой есть.

— Кому заливаешь, паря? Я вашего брата наскрозь и глубже. Ты, думаешь, шибко умный, а меня в лопухах нашли? Шиш с маслом! Я на Кандымской фактории десять лет проишачил, а ты мне — «порох». Его, порох твой, заместо дров можно приспособить с этакой-то прорвой...

Но Мишаня, не принимая явно невыгодного для себя спора, поспешно опрокинул кружку вверх дном и весело заторопился:

— Догоняй, однако.

— Как там Петр поживает? — Иван Васильевич намеренно задерживал гостя, чтобы хоть как-то оттянуть ту неминуемую минуту, когда ему придется залезть в царьковскую палатку и остаться там один на один с хозяином, с его исступленно вопрошающим взглядом. — Где он теперь?

— На Хету олешек каслает, — тот озорно подмигнул ему с нарт. — Жену привел.

— Да ну?

— Хорошую жену привел, однако. Трубка дыми, спирт пей, ребятишки рожай... Догоняй олешек надо, однако. — Хорей со свистом рассек воздух. — Будь здоров, начальник!

Упряжка круто взяла вдогонку уплывающему стаду и вскоре каплей влилась в его шелестящий поток.

— Чудной народ, — ни к кому в отдельности не обращаясь, покачал головой Оржанников, — ни кола ни двора, за тыщу верст, как на базар.

А девушка, вся устремленная вслед, вдаль, в пространство, мечтательно вздохнула.

— Страшно подумать: здесь — и вдруг вокзалы, станции, будки стрелочников с флажками... Может, вот прямо тут, где я сижу, будет полотно.

— Отсыпать-то его, — тихо, словно для себя, обронил Кравцов, и скуластое лицо его отрешенно осунулось, — другим придется.

Все затихли, и Грибанов впервые ощутил в душе как бы дуновение едва ощутимого холодка или, вернее, беспокойства, вызванного внезапной и оттого особенно болезненной мыслью о тех тысячах, десятках тысяч безымянных, для которых, как бы о них ни судить, эта дорога стала испытанием, а станет, когда они со временем осознают всю тщетность своей работы, проклятьем.

— Помню машины под Уренгоем, — после короткого молчания заговорила Аля, и большие выпуклые глаза ее, заполненные воспоминанием, незряче расширились. — Они сидели в кузове на корточках, только шапки над бортами... И все будто на одно лицо. Я еще тогда подумала: «Допрыгались, голубчики...» А теперь вот ближе рассмотрела — и не по себе как-то... Ведь за каждым из них — жизнь. Родные, друзья, может быть, дети. На них тоже часть его беды падает... А страна-то у нас какая — платком не прикроешь... Это сколько же людей вполсилы дышат, а?

Ей никто не ответил. Да и что ей можно было ответить на ее заданный скорее всего самой себе вопрос? Для Оржанникова все связанное с этим составляло одно понятие — «закон». Алексей, кроме своего непосредственного дела, вообще мало над чем задумывался, а Ивану Васильевичу люди, идущие следом за ним, по его трассе, с кирками и лопатами, были только «контингентом», «рабочей силой», и, пожалуй, лишь Кравцов мог бы сейчас разделить ее горькое недоумение, но он не имел на это права, поэтому подступившее было ко всем озарение тут же растворилось, растаяло в мешанине множества своих собственных, лично касающихся каждого из них дел и забот.

— Перекур с дремотой, — вставая, прервал тягостную паузу Царьков. — Счастливых снов. —

И уже из палатки напомнил о себе Грибанову: — Иван Васильевич!

И хотя оттянуть неизбежное более не представлялось возможным, Иван Васильевич поднялся с твердым намерением выдержать и на этот раз, не поддаться немому царьковскому укору. Растягиваясь на предупредительно постеленном для него хозяином спальном мешке, он будто невзначай обмолвился:

— А у Алевтины с Кравцовым, по-моему...

— Иван Васильевич, — почти взмолился Алексей, — ну что я, школьник, право, что ли? К чему нам в прятки играть?

— Нечего мне сказать тебе, Алексей.

— Я уже знаю, что все это неспроста.

— Что именно?

— Ну, и вояж в Судаково... и пеший поход этот... и недоговоренность во всем... словно гость проходящий... словно дела наши вроде вас и не касаются уже...

Рано или поздно Царьков должен будет узнать правду, но самая мысль о том, что именно ему, Ивану Васильевичу Грибанову, придется выбить жизненную опору из-под ног этого ставшего ему почти сыном парня, страшила его, принуждала крепиться и молчать: «Только не я, кто угодно и потом, но не сейчас и не я».

— Все в порядке, Алеша, все в порядке. И чем больше мы выявим гравия, тем лучше. — Он говорил равнодушным тоном, делая вид, что засыпает. — Не бреди себя зря... Это, знаешь, нервы... Бывает...

— А у ребят действительно, — вдруг после долгого и ёмкого молчания заговорил Царьков, и Иван Васильевич с облегчением отметил еще неровное, но от слова к слову укреплявшееся в его голюсе спокойствие, — кажется, серьезно... Ему

ведь год осталось... Я стараюсь не вмешиваться. Парень он дельный. Но Алевтина-то какова! Тихоня-тихоня, а решила — и не согнешь... Сразу основу учуяла, не ошиблась... Этот не подведет...

Иван Васильевич так и уснул под убаюкивающе ровный говорок Алексея Царькова, уснул без дум и сновидений.

IX

Солнце, ниспадая в палатку через фронтонное окошко, било Ивану Васильевичу прямо в глаза. Он повернулся на другой бок, но сон, отлетев, уже не брал его, и ему ничего более не оставалось, как лежать и вяло вслушиваться в сонную тишину спящего лагеря. Постепенно в кружении случайных звуков — шелеста ближнего леса, птичьего галдения и чьего-то храпа — выделились голоса. Иван Васильевич лежал головой к выходу, что позволило ему, чуть приподняв полог, взглянуть в сторону говоривших. У погасшего костра друг против друга сидели Кравцов и Алевтина. Они беседовали тихо-тихо, едва ли не шепотом. Разговор у них шел вне всякой логической связи, то и дело перескакивал с одного на другое, внезапно обрывался и столь же внезапно возникал вновь и, наверное, только для них двоих был исполнен какого-то определенного смысла.

— Уезжала — родня, словно хоронила, плакала. — Аля сидела лицом к Ивану Васильевичу, уткнув мягкий, округлый подбородок в колени, и задумчивый взгляд ее с испытующей сосредоточенностью упирался в собеседника. — Да я и сама боялась: что-то будет!.. А теперь вот привыкла, и не тянет на материк.

— А я вот никак.

— Что — никак?

— Не могу привыкнуть. Не получается.

— Разве к такому можно привыкнуть?

— Привыкают и к этому.

— Страшно...

— Бывает страшнее...

— Все как-то перепуталось. Раньше, до войны, все было ясно. Учились, мечтали... Костры, песни, клятвы... Помню Толика Маркова... Большеголовый такой, худенький, глазастый. Стихи писал. Собирался поэтом стать... Тихий-тихий мальчик, отличник... Семья у них огромная, и, когда отец ушел на фронт, Толик остался единственным мужчиной в семье. Мужчина в двенадцать лет... Около их дома — товарная станция. Сначала по мелочам: дрова, картошка... Потом бросил школу... Встречаю как-то... Сапоги, брюки с напуском, блатная кепочка, челка, тельняшка из-под рубахи... «Привет, говорит, Алька, куда канаешь?..» Теперь у него двадцать лет сроку... Где-то здесь...

— Бывает и так.

— Бывает, но не должно. У каждого, кто жил и стоял рядом с ним, есть доля в его сроке. Неужели вовремя нельзя было помочь!.. Легко сказать: сам виноват. А вы попробуйте выстоять в одиночку, когда вам двенадцать лет. Если арифметически прикинуть, во всем сроке на его вину падает года два, не больше, а остальные восемнадцать он отбывает за других...

— Выходит, и за тебя...

— И за меня тоже.

— Тяжело тебе будет жить, Аля.

— Есть тяжесть, без которой жить на земле преступно.

— Я рад, что встретил тебя.

— И я...

Они умолкли, как бы вслушиваясь в хрупкую тишину тундры, а Иван Васильевич вдруг поймал

себя на том, что в словах Алевтины ему услышалась его собственная давнишняя, оглушенная временем боль. Все действительно перепуталось, сдвинулось с места, смешав — так казалось бы — стройно отстоявшуюся цепь обязанностей и взаимоотношений. У Ивана Васильевича были друзья, от которых ему доводилось отказываться, и недруги, с которыми выпадало заводить дружбу; он вычеркивал из своей памяти истины, выстраданные опытом, и усваивал другие, случайные, подсказанные со стороны; им — и с годами все чаще — произносилось «да» там, где элементарно следовало сказать «нет».

Раньше Иван Васильевич старался не думать об этом, глушил в себе сомнения одним удобным для лжи и ёмким словом «надо», но вот здесь, сейчас, поставленный случайной встречей лицом к лицу с самим собой, со своей совестью, он не находил в себе силы отвернуться от того, о чем хотел во что бы то ни стало забыть.

А разговор у потухшего костра продолжался своим чередом.

— Не вернусь я теперь домой.

— А куда?

— К теплу подамся.

— Уже загадываешь?

— Холодно здесь.

— Отогреешься...

— Если не сыграю в ящик.

— Тебе жить да жить.

— Пробовал. Не дали.

— Детей иметь...

— Не заказано.

— Все еще впереди.

— Позади больше.

— Надо забыть.

— Не могу.

— Надо.

— Знаешь, Аля, как здесь у нас поют: «Я еще молодая девчонка, но душе моей тысячу лет». Устал я, Аля... Не от работы... Работа любая мне в игру... От холода устал. От снов. От крика...

— Это пройдет, Паша, вот увидишь, скоро пройдет...

— Еще год.

— Не так много, Паша. Надо научиться ждать... Нам обязательно надо научиться ждать...

— Для чего?

— Для меня хотя бы, — сказала она почти шепотом. — Или не стою?

— Вот, Аля, шел, шел...

— Ко мне и шел...

— На краю света...

— А те, к кому идешь, всегда — на краю.

— Боюсь: вдруг пожалеешь... Может, это у тебя от безлюдности... с тоски... Худо мне тогда будет, Аля, очень худо...

— Не надо, Паша...

— А — вдруг?

— Не надо... — умоляющая беззащитность, казалось, достигла предела. — Не надо...

— Прости...

— Что ты...

Разговор их входил в ровное для Ивана Васильевича русло, и он был им благодарен за утерянный было покой. Полые, ни к чему его лично не обязывающие слова убаюкивали память, восстанавливая в нем прежнее душевное равновесие, и боль уходила, отстаивалась в самой потаенной глубине.

Голоса у костра становились тихими-тихими.

— Меня дома все сумасшедшей считают. Ведь я могла после техникума в Москве остаться. А мне свет посмотреть захотелось. Вот и увидела... Все

стало и проще и сложнее... И дорога эта... И люди — там... И ты...

— Выходит, судьба...

— Выходит.

— И не забудешь, что говорила?

— Никогда.

— А вдруг жалеешь?

— Нет. — И еще тверже: — нет.

— Может, пойдем?

— Пойдем.

— Не устала?

— Ну ни капельки. Я, знаешь, спать стала бояться. Вдруг просплю что-нибудь...

— Так пошли?

— На озеро?

— Как хочешь.

Двое встали, она коснулась его плеча своим, и они пошли через осиянную новым утром равнину туда, к блистающим вдалеке озерам, и Ивану Васильевичу показалось, что сейчас на всем белом свете есть только он сам, солнце, тундра и два человека, плывущих сквозь ее струящееся марево. И сухие губы его сами сложили:

— Дай вам Бог...

Х

К Пантайке Иван Васильевич вышел в два перехода. Речка выплеснулась чуть ли не из-под самых ног у крутого среза высокого берега. Здесь ему предстояла переправа. Сидеть у воды в ожидании лодки с верховьев Грибанова никак не устраивало, и он решил спуститься вниз, к Кандымскому порогу, где ребятами устраивалась в свое время времянка для камеральных работ. Там, по мысли, должен был храниться кое-какой инстру-

мент, с тем чтобы любой проходящий мог при случае сбить плот.

Идя берегом, Иван Васильевич еще из-за леса заметил около темневшей на береговом юру времянки фигуру солдата с пистолет-автоматом наперевес. Красный околыш его фуражки резким пятном выделялся на ржавом фоне бревенчатой стены. Солдат с медлительной степенностью оборачивался вокруг строения, изредка поглядывая окрест.

Едва Иван Васильевич поднялся и ступил на тропу, ведущую к времянке, как окрик, не оставивший никаких разночтений в своих оттенках, заставил его застыть на месте:

— Стой! Кто идет?

— Свой.

— Кто свой? Документы! Нахожусь при исполнении...

— Я — Грибанов.

Солдат осторожно двинулся ему навстречу.

— Мне что фамилия... Я никаких фамилий знать не хочу. Документ подавай...

Солдату было лет девятнадцать, от силы двадцать, и в соловых глазах его, опущенных белесыми ресницами, деланное ожесточение едва скрывало самую что ни на есть мальчишескую растерянность. Он долго и обстоятельно разглядывал грибановское удостоверение и наконец, успокоенный, доверительно поделился:

— Препровождаю, товарищ начальник, важнейшего типа пешим этапом на базу. Приказ командования: доставить первым же самолетом в Судаково. Знаете, всякое может быть...

— Откуда?

— В партии на вольном хождении работал.

— У кого?

— Начальника Кузнецов фамилия.

— Знаю. И чего ждете?

— Переправляться нужно, а лодок нету... Мне сказали: вышлют навстречу. Вот и жду.

— И давно?

— Что?

— Ждете?

— Второй день.

— Так ведь здесь инструмент есть: топор, пила... Плот бы давно соорудили.

Солдат беспомощно развел руками, и последние остатки официальной фанаберии уступили место откровенной и теперь уже ничем не прикрытой растерянности. Не по годам рыхлая фигура парня вяло обмякла, всем своим видом определяя, что ему до последней степени осточертело выпавшее на его долю задание, из-за которого приходилось делать стойку в сторону всякого скрипа и шороха, но что, так как идти все-таки надо, он идет по силе-возможности, и большего от него спрашивать не приходится.

— Это ведь, брат, не Москва-река. Здесь и до второго пришествия ждать можно.

— Я что... Мне приказано, вот и жду...

— А прикажут пешим этапом по воде?

— Прикажут?.. Пойду...

— А голова для чего?

Тот лишь виновато блудил взглядом по носкам своих сапог.

Грибанов понял, что разговаривать далее бесполезно: не в коня корм.

— Ладно. Вместе будем думать.

Иван Васильевич взял дверь на себя и, только когда переступил порог, услышал запоздалое предупреждение вновь воспрянувшего конвоира:

— Под вашу личную ответственность!

За дощатым столом, в профиль к окошечному квадрату, сквозь который ломился, ниспадая на

стол, тугой солнечный поток, сидел гладко выбритый худой человек в застиранной исподней рубаше. Человек, стараясь держать руки в самом свету, продевал в иглу нить и был так сосредоточенно углублен этим занятием, что даже не повернул головы на стук двери.

Иван Васильевич кашлянул:

— Здравствуйте.

Человек перевел на него острый, прицеливающий взгляд, но, разглядев гостя, тут же вскочил, по привычке одернул рубаху, отчеканил:

— Здравия желаю, гражданин начальник!

— Вы меня знаете?

— Так точно, гражданин начальник. Вы — начальник Кандымской экспедиции. Этой весной я вас видел, вы у нас в партии были.

— Куда препровождают?

— Не могу знать, гражданин начальник. Этапируют в управление. Там, видно, скажут.

Человек стоял перед Иваном Васильевичем по всем правилам внутреннего распорядка, тянулся в струнку, ел глазами начальство с полной готовностью броситься исполнять любое вышестоящее указание, но именно это его слишком уж подчеркнутое раболепие и отличало в нем никем и ничем не убитое сознание собственной человеческой полноценности, если не сказать — превосходства. Ивану Васильевичу и раньше приходилось улавливать в общении с ним людей сходного положения эту особенность. Они смотрели на него так, будто они знали что-то такое важное и в высшей степени существенное, чего ему не дано было знать, но, занятый, как он полагал, делом огромного государственного значения, он относил все за счет обычного в их обстоятельствах комплекса, а потому лишь посмеивался про себя снисходительно.

— Садитесь, будем знакомиться. Грибанов Иван Васильевич.

Тот сел, не переменяв, однако, раз взятого выражения в лице.

— Михаил Петрович Скорняков, гражданин начальник.

— Так вот, Скорняков Михаил Петрович. — Он сел напротив и в упор взглянул на Скорнякова. Тот не отвел взгляд, только прищурился как бы от света из окошка, но озорной зайчик, юрко метнувшийся к переносице, не ускользнул от него. — С топором и пилой, я думаю, вас успели познакомиться...

— Оч-чень обстоятельно.

— Тем лучше. Будем мастерить плот.

— Я предлагал. Да разве с этим дуболомом договоришься?

— Курите?

— Отвык.

— Другие, наоборот, привыкают.

— Падать легче, чем идти.

— Это верно.

— Нагляделся...

— Так... Тогда не будем мешкать... Вон там, в углу, в ящичке, должна быть пила, а топор я уже видел под стрехой на притолоке...

И вскоре матерая лиственница, перечеркнув острием белую высь, уже сползла с крутого, почти отвесного берега к воде. Топором Скорняков орудовал на удивление легко и споро. Несколько точных, расчетливых взмахов — пузатый комель стесан вровень со стволом, два-три удара — готов паз для венца. Глядя, с какой любовной привычностью общаются тоненькие скорняковские руки со старым и давно не точенным топором, Иван Васильевич час от часу все более проникался к своему новому знакомцу.

— За тобой не угонишься, — неожиданно для самого себя перешел он на «ты», — а я ведь тоже не всю жизнь стулья просиживаю.

Тот поднял на него вдруг оттаявшие глаза и охотно отозвался на доверительность, чем как бы сразу приобщил его тому, от чего он был отделен своим чином и биографией:

— Я же, Иван Васильевич, сапер по военной специальности.

— Офицер?

— Майор.

— Извини, конечно, Скорняков... Но за что...

— Плен.

— Сколько?

— Как всем — десять.

— Писал?

— Писал.

— Ничего?

— Надо думать, для того и вызывают.

— Значит...

— Может, домой, а может... добавят...

— Да...

— Да...

Не сговариваясь, они оба посмотрели туда, в сторону времянки, откуда тревожно следил за ними изнывающий от должностных сомнений конвоир. Иван Васильевич вздохнул:

— Мается парень... Ему бы на сенокос сейчас, в деревню, вилами ворочать. Самое время... А он здесь...

— Да уж... Не для него работенка...

Ивану Васильевичу вдруг почему-то явилось и остро и больно ударило в сердце давнее и почти забытое видение, которое вот так неожиданно, среди случайного разговора иногда настигало его, и он, едва сдерживая волнение, спросил:

— Знаешь... Мысль, конечно, сумасшедшая...
Но как знать, а вдруг...

— Что могу.

— Не встречал, случаем, где по этапам Ефрема Рядченко? Рябой такой... Здоровый парняга...

— Офицерский состав?

— Офицерский.

— Нет, не встречал. Офицера бы запомнил.

— Блажь, в общем... Столько народу.

— Родственник?

— Нет, друг.

— Это — больше.

— Пожалуй!.. Что ж, давай шабашить, Скорняков... Подремлем перед дорогой малость.

Скорняков предусмотрительно заступил ему дорогу и пошел впереди и этим своим движением без слов снова восстановил их взаимоотношения и прошлое состояние. И, выходя на тропу следом за ним, Иван Васильевич не без горечи отметил про себя: «Вот и все дела».

XI

Снилась Ивану Васильевичу какая-то чертовщина. Снилось, будто летит он на юг — к морю. Вот так, ни с того ни с сего, досталась путевка, и он летит, заранее предвкушая ожидающее его тепло. Калейдоскоп лиц, отрывочные разговоры с соседями по салону. Но — странное дело! — за иллюминатором — тайга, заснеженная тайга, надвое рассеченная белой лентой трассы... Потом солнце, очень много солнца. И море. Очень много моря... И вдруг провал... Иван Васильевич приходит в себя уже в лесу на Кандымской базе... Вокруг знакомые лица. Старик... Васёна... Кирилл. И каждого из них он отчаянно пытается убедить, что только что был у моря, на юге. Но все вокруг зло смеются над ним.

Тогда он нащупывает в кармане и достает диковинный южный фрукт, не то ананас, не то инжир: «Вот я привез это оттуда. Ведь здесь я не мог этого купить!» Но смех вокруг него становится злее и нестерпимее... И здесь перед ним возникает лицо старшего Царькова — Семена. Семен, тоже смеясь, говорит ему: «Так ведь у тебя огурец в руке!..» Иван Васильевич смотрит — и впрямь в руке огурец, соленый огурец, даже не огурец, а всего лишь ноздреватая осклизлая половинка... Он с обидой и гадливостью отбрасывает ее в сторону.

С ощущением этой гадливости Иван Васильевич и проснулся. Проснулся, открыл глаза и обморочно похолодел: Скорняков вгонял затвор в пистолет-автомат конвоира, который безмятежно похрапывал в сидячем положении у дверного косяка, а вороненый зев дула, матово поблескивая мушкой, косился в его сторону.

Громкий, отчетливый стук затвора заставил вздрогнуть и солдата. Солдат вяло расклеил веки и некоторое время, не соображая, в чем дело, оглядывал своего подопечного, но, когда смысл и значение происходящего дошли до него в полной мере, он побелел, бесформенные губы его жалко дрогнули, ему только и удалось сложить ими:

— Ты что... Ты что...

Иван Васильевич следил за каждым скорняковским движением, готовый в любую минуту броситься конвоиру на помощь. И без того худое лицо бывшего майора вытянулось, и на пергаментной коже явственно проступили желваки, горячие глаза прицельно сощурились, что-то решительно хищное обозначилось во всем его облике. Иван Васильевич решил было рискнуть и подняться, но в миг, отделявший решение от действия, Скорняков вдруг снисходительно этак усмехнулся и по-

ложил оружие на стол с того края, где сидел солдат:

— Чистить надо, начальник, а то игрушкой твоей уже вместо скалки можно лапшу раскатывать.

Только тут Иван Васильевич заметил горку замасленных тряпок у него под рукой и глубоко вздохнул:

— Ну и шутишь ты, брат...

Солдат долго еще не мог опомниться и, словно в первый раз оглядывая со всех сторон вновь обретенную свою защиту, все приговаривал себе под нос:

— Чистить! За такие дела, знаешь, по головке не погладят... Доложу командованию — вот тебе и будет чистка-смазка... Ишь чистильщик нашелся!.. Устава не знаешь? За оружие братья, когда она тебе не положена...

И все, что перечувствовал в эту краткую, как вздох, минуту Иван Васильевич, вложил он в облегчающее душу сожаление:

— Эх ты, начальник!

Конвоир вскочил, белесые ресницы его обиженно вспорхнули к надбровьям, рыхлые, бабьи плечи, дрогнув, опустились, и он, чуть не плача, выкрикнул без адреса, куда-то туда, в оплывшее солнцем окошко:

— Что вы меня «начальник» да «начальник», а у меня имя, отчество есть, фамилия имеется. — Он пулей вылетел из помещения, в сердцах хлопнув дверью, и, уже снаружи, вызывающе заключил: — Гаврилук я!.. Николай Степанович!.. Да!..

— Проняло-таки, — усмехнулся вслед ему Скорняков, — пусть отдышится. Это ему на пользу...

У Ивана Васильевича было такое ощущение, будто он, войдя со свету в темное помещение, на-

чинает постепенно выделять из крошечной еще минуту назад темноты четкие силуэты предметов. Ему в своей жизни приходилось пожимать множество рук и глядеть в еще большее множество лиц; одни из них, этих лиц, тут же стирались в памяти, как стирается карандашная запись на случайном клочке, другие запоминались какой-либо чертой или выражением, но никогда вне связи с делом, которым он занимался, вне круга вопросов, которыми он был заинтересован. Теперь же, в упор сведенный с явью, ранее просто не существовавшей для него, казавшейся ему только сопутствующим всякому общему движению хаосом, он неожиданно для себя разглядел в этом хаосе никем заранее не продуманную и все же гармоническую целеустремленность, где за каждым действующим лицом прочитывалась сложная, осмысленная судьба. Каргин, Старик и его подопечный, Павел Кравцов и Гурий Оржанников, Кирилл и Васёна, и, наконец, солдат Гаврилюк и бывший майор Скорняков — каждый из них нес в себе свой мир, имеющий прямое, непосредственное касательство к тому большому миру, о котором Грибанов судил только как о своей, принадлежащей ему вотчине. И никакая сила не могла отторгнуть их друг от друга. Но постижение этого предопределяло для Ивана Васильевича переоценку всей его жизни, а на это — в чем ему сейчас приходилось сознаться самому себе — он был не способен.

XII

Они вышли из леса над самой базой. Внизу, под ними, в утреннем холоде дымилась Пантайка, и строения на ее берегу, казалось, тоже дымилась, схваченные тающим туманом. Иван Васильевич остановился:

— Дома.

Солдат облегченно вздохнул и двинулся вниз, равнодушно обронив Скорнякову:

— Догоняй. Я — потихоньку.

Он стал спускаться, даже не обернувшись на примирительное грибановское:

— Иди прямо в контору, там распорядятся... Я еще пройду к порогу, на метеостанцию.

Здесь он немного покривил, просто ему, перед тем как войти к своим, хотелось побыть одному, сосредоточиться, собраться с мыслями, чтобы ни тени растерянности не проскользнуло в его поведении...

Иван Васильевич повернулся к Скорнякову: вроде бы теперь можно было поговорить о многом, — но, оставшиеся с глазу на глаз, они вдруг поняли, что сказать им друг другу нечего...

— Что ж, ни пуха тебе, ни пера, майор. Может, и впрямь к добрым вестям идешь.

— Спасибо... Только едва ли...

— Надо надеяться.

— Лучше — верить.

Иван Васильевич протянул Скорнякову руку и, ощутив ответное пожатие, спросил:

— Может, письма какие кружным путем передать надо?

— Спасибо, Иван Васильевич, да — некому.

Скорняков кивнул еще раз и стал спускаться с горы. Конвоир уходил вперед. Майор, устремляясь за ним, иногда оборачивался. А конвоир не оборачивался. Он просто уходил вперед. Наконец Скорняков догнал его, и они пошли рядом, нога в ногу.

А Иван Васильевич повернул обратно в лес, к трассе, и, когда ступил туда, увидел впереди себя метрах в тридцати ее конец — плотную стену подлеска, из-за которого черно маячила хмурая, мате-

рая, никем еще не початая тайга. Он добрал до самого конца трассы и беспомощно встал перед плотным строем молодняка. Дальше пути не было.

Он было повернул назад, но тут взгляд его упал на свежий пенек с вогнанным в него по самую рукоять да так и забытым кем-то из рабочих топором. И его как бы толкнуло что-то, и злость, жгучая, остервенелая злость разлилась в нем и обожгла сердце. И он понял, что не сможет смириться. Смириться означало — зачеркнуть себя, свою жизнь, все, чему оставался предан и без чего просто не имело смысла жить.

Он выдернул топор и со всего размаха вломился в росистый подлесок. И ничего не стало вокруг. Были лишь лес и он, Иван Васильевич Грибанов, схлестнувшийся в последнем единоборстве. Он рубил вправо и влево, рубил азартно и зло, рубил сплеча, под корень; вкладывая в каждый удар всю силу своей решимости и веры. Он чувствовал, как в нем жгуче набухало сердце, подкатывая к горлу удушливыми спазмами. Но ему уже нельзя было отступить. И когда с последним глотком воздуха оно задохнулось, чтобы через мгновение отказать совсем, Иван Васильевич, падая, успел увидеть между деревьев свет и подумать, что там, впереди него — море. Море, с которым должна сомкнуться дорога. Его дорога.

СТАНЬ ЗА ЧЕРТУ

I

*«Сколько раз прощать брату моему...
до семи ли раз?..»*

Евангелие от Матфея, глава XVIII, стих 21.

Михей сидел под берегом у ночного моря, и берег, выдаваясь слева от него круто вперед, обозначал перед ним одиноко светящееся пятнышко: окно дома — его дома. Время от времени Михей отглатывал из бутылки и все никак не мог заставить себя встать и пойти туда — в сторону зовущего светлячка. Тихая вода поплескивала у Михеевых ног, а он с острой почти до головокружения болью под сердцем думал и думал обо всем, что было в его жизни, но могло и не быть. Вот это самое «могло и не быть», накатываясь, жгло сильнее всего.

Михей одним судорожным глотком допил бутылку, но посуду по привычке не выбросил, сунул в карман. И собственные беды и боли его вдруг увиделись ему настолько зряшными и пустыми, что он облегченно вздохнул, поднялся и пошел туда — на это светлое пятно вдаль, более не думая и не останавливаясь. Михею казалось сейчас, что это не он идет к окну, а окно выплывает ему навстречу, все увеличиваясь и увеличиваясь, пока наконец не заполняет собою ночь.

Он увидел Клавдию сразу: сидя перед шитьем, она надкусывала нитку, и постаревшее, в очках, лицо ее не выражало в этот момент ничего, кроме углубленности в свое дело. Но, может быть, имен-

но поэтому стекло, отделявшее их сейчас друг от друга, казалось ему чуть ли не раскаленным.

Она только вскинула голову, только невидяще взглянула в окно, машинально взявшись за дужку очков, а тень предчувствия — так думал Михай — уже легла на весь ее облик.

— Ты, Ильинична? — услышал он.

Не получив ответа, Клавдия неожиданно взметнулась, вся готовая к самому несбыточному, быстрые руки ее, отодвинув шитье, выбросились к окну и разметали полуоткрытые занавески.

— Андрей?

Снова не получив ответа, Клавдия, уже вроде бы и не сомневаясь нисколько, бросилась от окна к двери. И путь от нее к нему отмечался, как «раз-два-три», вскриком двери, щелчком щеколды и опять вскриком двери:

— Кто?

И сразу, теперь уже не ожидая ответных слов, она потянула его за рукав, а он покорно шел за ней, все повторяя:

— А я, понимаешь... А я вот, понимаешь... А я вот так, понимаешь...

В эти свои три повтора Михай и оказался перед ней, жмурясь от света или скорее от вразсжавшего грудь смятения.

— Вот, значит, и я... Здравствуй, Кланыя... Помирать пришел... К тебе...

Словно приходя в себя после короткого беспмятства, Клавдия стала боком двигаться вдоль стены, не сводя с него глаз и слепо при этом оцупывая предметы на пути — машинку швейную, шкаф, стулья, — а когда она наконец тронула сундук, то лишь тут села, и сразу же отвернулась:

— Входи, Михай Савельич, раздевайся, ты не гость — хозяин.

— Я ведь как ты скажешь, Кланя. — Сглатывающая горькие комочки в гортле, он жадно оглядывался, и все здесь — и старьёй посудный шкаф, и сундук, укрытый лоскутным ковриком, и от входа к двери в смежную комнату, с одним окном на море, лоскутный же половичок, — все это издавна близкое ему и дорогое становилось сейчас во сто крат более близким ему и дорогим. — Я ведь как ты скажешь, Кланя...

— А что я скажу тебе, Михей, — Клавдия вдруг резко поднялась и пошла к нему, — что я могу сказать тебе? Сколько ждала, еще три раза по столько смогу. Потому и пришел ты ко мне. И не помирать пришел — жить.

И по мере того как она шла, колени у него подгибались, а руки начали ловить воздух, и, когда наконец Клавдия придвинулась к нему вплотную, он коснулся ее плеч вытянутыми ладонями и сполз на пол.

— Кланюшка-а-а! — Прижавшись к бедру ее, Михей плакал, плакал, не стесняясь, теми слезами, о каких он давно и забыл, и становилось ему от этих слез тепло и благостно на душе. — Кланюшка-а-а!

Тихие руки Клавдии оглаживали Михееву голову:

— По капле ты меня, Михей, брал, а я без слова по капле отдавала. Коли осталось, остальное отдам... Только ведь дети у нас... Как они...

И здесь он впервые поднял на нее глаза, и она смогла прочесть в них только страх.

— У них своя жизнь, Кланя, не маленькие, а нам с тобой свое бы дожить.

Поднимаясь, Михей искал ее взгляда, но Клавдия смотрела сквозь него, в пространство, и в том, что она говорила при этом, заключался какой-то

заранее и давно уготованный для него смысл. Михай понял: перед ним определялся выбор, и другого ему не приходилось. Бессилие душило его, но право ожидания было на ее стороне. Он заметался по горнице:

— Я не к ним — к тебе шел, думал, не забыла.

— Не забыла, Михай, ничего не забыла, так ведь и они помнят.

Убегая от ее слов, он почти кричал:

— Что помнят! Что им помнить!

— Всё.

Впервые за вечер жестокое слово было брошено Клавдией, но оно, и Михай это понял сразу, определило раз и навсегда отныне степень их взаимоотношений. И он сдался.

— Клавдия, — уже просил, вымаливал Михай, — не надо! Не снесу я! Ведь я жизнь прожил. И какую! Приснись она лысому, ведь он вот с такой копной проснется, только она у него век дыбом стоять будет. Всю жизнь в крике и на людях. Хватит! Не хочу больше. Стиснуться хочу, сжаться, затихнуть, как мышь в своей норе. Пускай свет колготчет. Я свое отколготал. Не хочу больше. Не хочу, Клания-я-я!

— Да разве, Михай, это от нашего с тобой хотения зависимо? Жмись не жмись, все одно видно.

За разговорами Клавдия бесшумно и споро собирала на стол, и ловкие, совсем еще и не старые руки ее с таким хозяйским изяществом плавали, парили над столом, что Михай, любуясь ею исподтишка, не выдержал наконец:

— С твоими, Клания, руками на пиянине...

Клавдия отмахнулась:

— На погост пора...

— Дом продадим, уедем в медвежий угол ото всех, станем век доживать. На жизнь нам хватит,

я не зря ведь по лесам скитался: запас есть, и в руках ремесло.

— Садись... Куда хочешь, хоть на край, а хоть и дальше, только сначала — дети. — Она села, подперла ладонью подбородо́к и подвела итог разговору: — Пей.

После второй Клавдия подступилась к нему: — Скажи по душе, Михей, с грехом пришел?

И по тому, как он подобрался весь сразу, сжался, а в глубоко и резко посаженных глазах его вспыхнула, тут же погаснув, жесткая искра, она и без слов, наверное, поняла, что не ошиблась, потому что спросила:

— И тяжек грех?

Михей ответил, ответил нехотя и кратко:

— Тяжек, Кланя.

— Детям знать надо.

И здесь он не выдержал взятый было тон, вскочил, бросился вниз лицом на сундук.

— Кланя, пожалей хоть ты меня, или я мало мук принял? И зачем мои грехи детям? Тебе — как на духу, а им зачем? За-че-е-ем!

— Не можешь — я скажу.

— Что же ты со мной делаешь. Кланя-я!

— Пусть все наперед знают, чтобы потом с меня спросу не было.

И здесь снова прорвало в нем на короткое мгновение прошлого Михея:

— А, спросу боишься!

Но Михей тут же погас и с убийственной для себя отчетливостью понял, что ему теперь никогда не одолеть, что перед ним уже не та Кланя, одного взгляда на которую хватало, чтобы она смолкала и ступшеывалась, и что — в чем он сам себе боялся сейчас признаться — отныне ему уготовано занять в доме Клавдиино в прошлом место. Появилась во всем ее облике — и в слове, в движении,

во взгляде — та определяющая духовный характер сила, то не передаваемое описанием выражение, которое сразу же заставляет окружающих невольно и с доверием отдать себя во власть этой силы. И хотя будущее с такой Клавдией не было заманчивым для Михея, ему стало одновременно и горько и приятно от сознания того, что это его Кланя, его законная, венчанная жена.

А Клавдия тем временем спокойно и, словно малому ребенку, со снисходительным старанием втолковывала ему:

— Не за себя, за тебя боюсь. За себя я тебе на сто годов вперед все грехи отпустила. А они пусть за себя скажут. Ведь ты от своего креста каждому дитю своему долю дал, от них тебе ее и обратно получать.

— Что же я им скажу, Кланя? — Михей тихо и почтительно смотрел на нее. — Что? Надоумь.

— Что? — Клавдия встала и стала медленно, по кругу обходить комнату, как бы заново осмысливая в ней каждую вещь и предмет. — Вот видишь, — она коснулась фотографии, — это мы сразу после венчания. А это вот с первеньким нашим — Андреем. — Ладонь ее постепенно оглаживала шкаф, сундук, стулья, гитару на стене. — Твоя... Это все наша жизнь с тобой, Михей. — Она сделала полный круг и, встав рядом с мужем, прижала его голову к себе. — Я за тебя все сама скажу... А теперь давай стелиться. И уж ты носа из боковушки не показывай. А то ходят всякие. Да и братеник твой глаз не сводит с дома, все прибаутничает. Я здесь, на сундуке. — Клавдия, словно вспоминая что-то только им ведомое, усмехнулась в его сторону одними глазами. — Авось мне не привыкать.

Михей просительно было позвал ее взглядом, и она не то чтобы отказалась, а этак бочком, но с

такой вызывающей насмешливостью окинула его с головы до ног, что ему самому стало неловко.

II

Уложив мужа, Клавдия, клубочком, не раздеваясь, свернулась на сундуке, но так и не смогла заснуть. Правда, была даже рада бессоннице. Снов она не любила, потому что сны располагают к гаданиям, а в будущее, как в глубокий колодец, она боялась заглядывать, считала: человек жив одним днем.

Печально, но без горечи вспоминала она сейчас свою жизнь. Она не винила Михея, скорее была даже благодарна ему: иначе и не почувствовать бы ей до века своей силы, не утвердиться бы в собственных глазах. Без него, в тяжких трудах подняла она троих, выучила, поставила на ноги. И ни один не остался без доли. Ощущение вот этого одного, до конца сделанного ею дела, его доброты и законченности и составляло суть той перемены, какую уловил в жене Михей: умно сделанная работа всегда метит особой печатью лицо своего мастера. Но для полного душевного равновесия ей не хватало последнего вздоха — Михея. Клавдия была уверена, что сумеет подобрать ключики к детям, ожесточившимся против отца, — уж очень хорошо она их знала: примут они его, смирятся. Но в размышлении об этом возникала в ней, в самой ее глуби, отдаленная боль сомнения, даже не сомнения, а легкой тени его: а вдруг? И от этого ей, как при мысли о смерти, становилось не по себе.

Едва скорый рассвет отбелил окна, она поднялась и вышла во двор. Придирчиво осмотрела свое нехитрое, но ухоженное хозяйство — садок в пять яблонь, птичник, кухню, — кое-где утвердила из-

городь и, лишь убедившись, что все в порядке, вышла к морю.

Когда-то, еще лет десять тому, до моря легким шагом было минут пять ходу, а сейчас край обрыва чуть ли не упирался в крайнюю стойку ее усадьбы: вода слизывала берег, и берег все ближе подступал к городу...

— Что, кума, ползем помаленьку, полегоньку к чертям на закуску? — И сам себе отвечал злобно и даже как бы со сладострастием: — Ползе-ем!

От неожиданности она вздрогнула, но не обернулась: узнала — Прохор, брат Михея. Жили они огород в огород, но не знали. Так вот только, по пьяной лавочке, лез к ней в душу сосед со своими разговорами.

Отвечать ей не хотелось, в иное время и не ответила бы, но сегодня снизошла:

— Не доживем. А доживем, так переберемся.

— А оно и там достанет, — Прохора прямо-таки разбирала хмельная озорнота. — Что тогда, кума?

— Тогда на кладбище, за Быструю.

— От него и за Быстрой не скроешься.

— Там все одно.

— Не скажи, кума. Пишут, я читал, может, и там жизнь. Только в ином роде. И вдруг — на тебе, дно морское. Хотя, — он жирно хохотнул, — ежели в смысле русалок, конечно...

И тут впервые она повернулась к нему:

— Тебе бы, Прохор Савельич, о душе пора...

Но не заключила, пошла себе мимо.

Круглое, глядевшее скорее вспухшим, чем толстым, лицо Прохора сразу осело и как бы даже сузилось.

— Вроде родня, — начал он примирительно, — а живем, как...

Уже проходя мимо, Клавдия брезгливо перебила:

— Что мне от твоего родства, теплее было или сытнее?

Она шла к дому, а вслед ей несло пьяное Прохорово:

— Не в ту сторону смотрела вовремя. Перешел мне братеник дорогу, а ты и позарилась: король! Вот и обсасывала всю жизнь девятый кол без соли. Где он теперь, король твой? А я и взаправду кум королю — трудовой народ. Мы всех этаких, как Михейка твой, к ногтю...

Ей даже плюнуть лень было в его сторону. Она вошла в дом, и сразу навстречу ей из светелки выплеснулся тревожный вопрос:

— Что там, Кланыя?

— Спи, братеник твой разоряется.

— На свет бы мне — я бы его мигом в чувства привел.

Клавдия усмехнулась, и не без горделивости: помнила, в каком страхе держал ее благоверный Прохора.

— Лежи...

И осеклась на полуслове: в окна, в двери, во все, казалось, открытые щели, хлынуло в дом с Прохорова двора:

Я люблю тебя, жизнь,

И надеюсь, что это взаимно...

Из светелки выскочил Михей и, замерев на пороге, смотрел от себя наискосок в окно и слушал, как, заглушая музыку, изголяется над его женой не единожды битый им, пьяный в доску братеник:

— Слыжала! Импортный! И еще два про запас. И «Темп»! Одних ковров болгарских пять!.. И в загашнике шевелится! И не в хибарке вроде твоей

обитаю — в доме о пяти стенках. Вот так люди живут, по тюрьмам не шляются!.. Стерьва!..

Прохор стоял, раскачивая межевой штакетник, и плакал при этом громкими пьяными слезами.

Клавдия взглянула в сторону мужа, и что-то в ней дрогнуло, покачнулось. Стоял он к ней в профиль, тень полураскрытой двери, падавшая ему от виска к подбородку, скрыла морщины, и сейчас, почти черный в исступленном бессилии, со сжатыми кулаками, готовый в любую минуту рвануться с места, Михей выглядел тем молодым заводилой в слободе, за которым, как в омут, бросилась она тридцать лет тому. Вся обращенная туда, в прошлое, Клавдия тихо и бездумно обошла Михея сзади, прижалась щекой к мужниной спине и сразу почувствовала частое гневное биение его сердца:

— Михей... Михеюшка...

III

Постель Михей устроил себе так, что окно оказывалось прямо перед ним. Теперь, когда он ложился, море становилось лишь продолжением проема, и белые парусники, бороздившие ближние воды, подплывали к самому подоконнику, касались его и тут же шли дальше. У моря пятидесятилетний Михей вновь становился мальцом с прибрежной слободы, и выгоревшая до дна бродяжья душа его плыла с каждым парусником на очередные чертовы кулички, подальше от земли, которую объездил он, кажется, вдоль и поперек и едва ли не всю, но ничего не принес домой, кроме отвращения и обид.

Поэтому стоило ему увидеть наконец Клавдию, вдохнуть ее тепла и света, он с особой, можно сказать, остервенелой злобой сетовал на судьбу

за то, что она уготовила ему счастье под собственной крышей, а послала разыскивать это счастье в тридевятом царстве. Да и сейчас, когда Михей вроде бы и перехитрил долю, он должен был взять еще свое кровное не иначе, как переступив через самого себя: у собственных детей выпрашивать.

Михей без обессиливающего его негодования не мог представить себе, как придут они и вот здесь, за этой самой дверью, станут судить его, Михея Коноплева, родного отца. И хотя чуял он, волчьим чутьем своим чуял, что неспроста Клавдия собирает их именно здесь, в родном доме, — хочет за столько лет боли свое взять! — ей прощал, им — нет...

А за дверью входили и выходили: кто-то прибежал за квашней, кто-то долго и нудно объяснял, зачем человеку и его имуществу необходимо страховаться; по радио передавали о новых происках империалистов в Дамаске; принесли газету, и Клавдия, разворачивая, шуршала ею. Все это отмечалось памятью, но не задерживалось в ней. Состояние, суть Михея можно было сейчас обозначить одним словом: когда? И уже как продолжение: когда придут?

Вот снова хлопнула дверь на веранде, и сразу же горницу заполнил голос, не по-женски басовитый, но со старческими придыханиями:

— Иду, иду, — дай, думаю, зайду... Здорово живешь, подружка.

— Садись уж. Тоже мне: «Иду, иду!..» Знаешь ведь где, сама и наливай.

— Все, Клавдюха, на лже стоит. Что ж мне, так вот и ввалиться без предлогу? Во всем, душа моя, итикет нужен, обхождение. Мне не жалко, а хозяину лестно: не без дела гость, с визитом... Хороша!.. И на чем ты ее только ставишь, Клавдушка? Не иначе, как на Божьем слове...

С предельным напряжением памяти вслушивался Михей в этот до дрожи в скулах знакомый, только как бы пропущенный сквозь испорченную мембрану голос и все никак не мог вспомнить, где и когда он слышал его. А разговор за дверью уже переходил в доверительный шепот:

— Что сказать-то?

— Скажи, мол, зовет — и все. Дело есть.

— Хитришь, Клавка. Только мне что, так и так по дороге... Полька, ясно, дома... Только где мне твоего шкodu искать? Его ведь, жеребца, у какой ночь застанет... Мал-мал городок, а лахудр — хоть на вывоз...

— Постыдилась бы, Мань!

— Это тебя-то! Что ты, поп или лектор? Налью на дорожку...

Михея бросило в жар. Маня! Манька с Патрульной! Первая мужская ночь его, первая, но не последняя, а сколько было бы их, если не увела бы его в свое ровное и робкое спокойствие Клавдия, один Бог знает. Он вдруг явственно представил себе полупьяную старуху с пропитым басом, ее грузную, неопрятную плоть в засаленном платье и в войлочных тапочках на босу ногу. Господи, да что общего могла иметь она с той разбитной девахой в веселом сарафане цвета морской травы, которая, казалось, не сама шла, а радостное озорство несло ее из рук в руки, пока не притихла она в одних — Михея!

Пожалуй, лишь в эту минуту его пронизало и наполнило всего, до холодного покалывания в кончиках пальцев, ощущение собственной, уже определившейся, старости. Михей скрипнул зубами и позвал:

— Мать, нацеди!

IV

По вялому и печальному виду Андрея Клавдия наметанным глазом определила, что он с тяжкого и затяжного похмелья. Соответственно с этим она и приняла сына:

— К матери некогда зайти, а пересчитывать пивные времена вдоволь?

Он не ответил, прошел к столу, сел, потер виски ладонями и только после этого отрывисто спросил:

— Звала?

— Откуда узнал?

— Ведьму встретил.

— Звала.

— Зачем?

— Поглядеть захотела.

— Брось, мать, и без твоих шуток тошно. Налей мне самую малость, а то плохой я тебе собеседник. Знаю ведь, без дела не позовешь.

Наверное, только сейчас она по-настоящему в нем разглядела молодого Михея: то же худое и ломкое, словно вырезанное из темной жести, лицо с глубоко посаженными под крутые надбровья глазами, те же беспокойные руки, цепко перебирающие предмет за предметом, та же манера время от времени потирать подбородок. И тепло беспричинной благодарности к своему первенцу заставило ее отвернуться, чтобы не заплакать, глядя на него:

— Подожди, закусить подам.

— Труженики нашей текстильной промышленности, мать, ежедневно выпускают для нашего брата миллионы метров закуса любых расцветок. Твое... Фу, мерзость!

— Вот и не надо, не пей.

— Я не ее, — он сразу же заметно оживился, — я себя ругаю. Эка я, действительно, образина, подобную божественность и залпом. Ее надо по глоточку, по капельке, как нектар. С чуткостью, так сказать, с признательностью. — Он умоляюще протянул рюмку матери. — Ма! Сотвори, а? Клавдия налила.

— Как ты живешь, Андрейка, о чем ты думаешь? Ведь так и до беды недолго.

— Живу между небом и землей, ни о чем не думаю, не болею... Ма, не пожалей еще одну, а?

— Отгулял ведь свое, пора остепениться. Жить-то когда?

— А зачем, — на какое-то мгновение подвижные, с хмельной поволокой глаза его погасли, а с уголков тонких губ соскользнула озорная насмешливость, — жить? А? — Но тень мелькнула и тут же исчезла, уступая место его обычной дурашливости. — А в общем, ма, живу я полнокровной жизнью не совсем молодого районного газетчика. Утром опохмеляюсь — и за авторучку. До обеда поскриплю — и снова в «Голубой Дунай». Темпы, темпы, мать... Спешу!.. Стишки вот опять накропал к уборочной... Хочешь, выдам? Классные, должен тебе сказать, стишки получились. Редактор пятерку не пожалел, а из него лишний рубль вытянуть — это что-нибудь да значит...

Слушая его, Клавдия силилась уяснить для себя: что с ним? Неужели то, что она почти тридцать лет лепила в одиночку, дало трещину? Когда? Где?

Пил Андрей подолгу, но редко. Грех этот по молодости она считала прощательным — кто не пьет, а гульба его — так что ж, мимо такого парня только слепая пройдет. В городе его любили за веселый и покладистый нрав. Уж на что доктор Исаак Борисович строгий в слове человек — и

тот, когда говорил о нем, уважительно поднимал палец вверх: «Талант!»

Вставая, Клавдия с обидой сказала:

— Все прячешься за юродством своим, от кого прячешься? Мать я тебе или кто?

Но Андрей вновь ускользнул от нее в слова:

— Нет, ты постой, ма, ты постой. — Он порылся в карманах, достал сложенную в несколько раз газету, долго и старательно разворачивал и отглаживал ее. — Взгляну, — веришь, самого сле- за прошибает. Один заголовок десятки стоит: «Хлеб — стране!» Каково, а? Слушай: «Встало солнце над страной, нива золотится. Поднимается стеной тучная пшеница. В гуле, в громе сельский плях, хлеб везут Отчизне. Молодежь на тракто- рах едет к новой жизни». Сила! Тьфу! — Газет- ный комок отлетел в угол. — А ты говоришь... Вот так и живу. — Сумасшедшие глаза его глядели в сторону матери со злой требовательностью. — Налей, старая, все равно нехорошо.

Клавдия видела сына таким впервые. Какой- то, самой затаенной, частью своего сердца она поняла: просыпается в нем Михей. И вдруг резануло ей, будто раздвинулись после ночи глухие занавески: а ведь и отец вот так, враз, и озверился, как бы невоготу человеку вдруг стало от чего-то, а отчего — он и сам, верно, толком не знал. И пошла у них тогда не жизнь, а сказка, чем дальше, тем краше: без синяков не ходила...

Веранда запружинила под тяжелой поступью Марьи. Она вошла и сразу как бы загрузила собою всю горницу.

— А я смотрю, будто кто-то прошел мимо моей изгороди, и будто Андрей Михеич.

Тот от стола пьяно отрезал:

— А ты садись лучше, тетка Марья, а то меня от твоей дальнорзости уже поташнивает.

Стоило Марье разместить себя на стуле, как все в комнате увиделось рядом с ней игрушечным. А рюмка, так та просто исчезла в ее мощной пятерне.

— А ты не тронь меня, — мелко тряслась она, беззвучно похохатывая, — Андрей Михеич, не торопи, я и смолоду, вон Клавдия не даст соврать, неторопкой была, а нынче так и совсем медлительной сделалась, люблю враспяжку. — Она залпом опрокинула рюмку, пошарила по столу, зацепила ломоть, понюхала. — Я и смотрю, будто Андрей Михеич...

— С твоим бы зрением, тетка Марья, — мутно озирает ее Андрей, — инструктором в сельхозотдел сводки показателей кропать, тебе б в глазах начальства цены не было б... И мне, ма, заодно...

Марья исходила довольством:

— Я и в своем деле дока. Все узрю. Где я тебя, кота, к примеру, нашла?.. Не буду, не буду... Ну, дай Бог не последнюю...

— А пьешь ты, старая, так и за двух инструкторов.

— А какая же я старая, Андрей Михеич, я и не старая вовсе. Я и сейчас пойду любую молодую перепляшу.

Потускневшие было глаза Андрея ожили, и он, опрокидывая стул, поднялся из-за стола.

— А это мысль!

Клавдия и не пыталась удерживать: знала — теперь бесполезно. Тихо только так помолила:

— Андрейка...

— Погоди, ма, погоди, — он сорвал со стены отцовскую гитару и теперь, с гитарой, да еще пьяный, стал уже взаправду Михеем худших времен, — пусть пляшет, карга. Я люблю, когда ведьмы пляшут. Это успокаивает нервы. Пляши, яга!

А Марья под его наигрыш выплыла из-за стола и — откуда что берется! — с легкостью, необыкновенной для такого объема, пошла кругом:

Девочка-тихонечка
Ложилась потихонечку.
Ложилась — боялась,
Как будто не влюблялася.

— Давай, ведьма, давай, жми на всю катушку!
А Марье только подыграй:

Я иду, а на меня
Из кустов таращатся:
Это дед с большой корзиной
За грибами тащится...

Рвалась из-под руки Андреевой та знакомая Клавдии злость, при одном воспоминании о которой у нее холодело под сердцем. «Михей, — утвердилась она мысленно, — Михей. Так сильно же надо ему будет в жизни происходить, чтобы к самому себе воротиться?..»

— Балаган в полном, можно сказать, разгаре. — Все в зяте Клавдином, Алексее Ивановиче, было подогнано под его ловкую и подвижную фигуру. Фуражка, китель с солнечно блистающими пуговицами и звездочками на погонах, тщательно отутюженные брюки и зеркального отсвета казенные ботинки. И сам он казался размер в размер подогнан к существованию на этой земле, до того они шли друг к другу.

Из-за кругленького плеча мужа кивала по очереди всем в горнице жена его — безответная Поля.

— Поля, проходи.

Андрей насмешливо качнулся ему навстречу:
— Привет, вашбродь! Воспитывать собираешься? В отделении не надоело?

— Не стой в дверях, Поля. — Фуражка легла на сундук. — Здравствуйте, Клавдия Андреевна!
— И в сторону Андрея: — Надоело, но буду. Должность такая... Да не стой же ты в дверях, Поля!

— Слушай, ты, господин околоточный, ты же не в пивной, а в людском доме, значит, следует здороваться, а то мне придется показать тебе обратную сторону со всеми отсюда вытекающими.

— Что такое? Да я...

Зная по опыту, что добром это кончиться не может, Андрей был уже явно не в себе, Клавдия поспешила круто повернуть разговор:

— Хватит! Отец письмо прислал. Просится.

И тишина, какая воцарилась в горнице сразу же после ее слов, объяснила лежавшему за дверью Михею больше, чем весь разговор, что состоялся вслед за этим.

V

Что они говорили! Вернее, чего они только не говорили! И о ком? — о нем, об отце! Чтобы не закричать, не завьть от бешенства и злобы, он до боли в висках закусил подушку. Дерьмо! Дерьмо! Ведь пришел он не к ним и не за ихним хлебом — пришел помирать в дом, который он, Михей, по камушку собрал своими руками. Дерьмо! Дерьмо!

Голоса их обступали Михея со всех сторон. Он накрывался с головой одеялом, затыкал уши, но голоса пробивались к его слуху, и каждый из них добавлял к его холодеющему от гнева сердцу свой уголек.

Первыми сцепились сын с зятем. Зять, словно гири на весы бросая, отсчитывал:

— Кто он такой, тебе известно? Какая у него изнанка, знаешь? За двадцать он мог такого понатворить! И потом — нашел, когда вспомнить о семье! Тебе что, с тебя спрос невелик: попрут из этой редакции — уйдешь в другую. А я — в органах, из меня лапшу резать будут.

— Моральный кодекс под свое повышение подводишь?

— Насчет демагогии вы, газетчики, мастера. Ты свое слово скажи.

— А мне плевать, должен же человек под старость где-то, так сказать, голову приклонить, вот пускай и приклоняет.

— Ты себя поставь на мое место!

— Ставлю. Перезимуешь, невелика птица — рядовой опер по малолеткам. Если уж такая тяга к пацанам, так у нас нынче тревожно с ясельными работниками. С руками оторвут. Могу и рекомендацию дать: у меня там связи среди медперсонала. А то ведь вас, оперов, в городе как собак нерезанных, на каждого малолетку по двое.

— Ты соображаешь, что ты говоришь?! Ты на что руку поднимаешь? Ты кого дискредитируешь?

— Не пускай пузыри, не страшно. Тебе он никто, а мне какой ни есть, а отец.

— Водку пить научил, вот и весь его вклад в твое воспитание. Хорош папаша.

— Не хочу устраивать базара, а то бы я высказал тебе, гражданин начальник, пару-другую мыслишек вперемежку с классическим мордобоем.

— Угрожаешь? Кому угрожаешь? Мы не таких скручивали.

— Кто это «мы»?

— Власть.

— Тогда ударь, начальник, или духу не хватает? Ты же власть. А я на тебя плюю. Как же я ненавижу тебя и твою благополучную, сытую ро-

жу, убожество твое самодовольное. Ходишь по свету, словно по заданию самого Господа Бога. А чему ты учился, кроме «тащить и не пущать»? Или, может, тебе льгота какая против других от рождения дадена? Или индульгенция на суд и отпущение от самого папы римского? Тогда бей, начальник, отводи душу! Только запомни: если ты и такие, как ты, действительно власть, то плюю я на эту власть с самой высокой колокольни, а потому заявляю: черт с ним, пусть едет, и чем у него чернее анкета, тем лучше!..

Михей больше не мог вынести этого. Он закрыл голову подушкой и укутался в одеяло. «Да он ненавидит меня, щенок, — мысленно неистовствовал Михей. — За что? Ну, этот ублюдок из милиции — понятно, ему по должности положено. Но сын! Единственный сын мой! Где же справедливость?! Да разве понять им, что я вынес, какое зыбкое, зябкое время пережил?»

Михей задыхался. Но едва он выпростался из-под подушки, голос дочери загнал его обратно:

— Разве не сами вы рассказывали, мама, как он, когда вам уже разрешаться было мною, бил вас во дворе, на снегу? Ногами бил! Голую! В живот! А как чуть не всю жизнь в людях прятались от пьяных глаз его? А как последнее на толкучку несли?

— А это не твой, мой спрос.

— Сами нас в лагерь к нему напоказ возили, думали: увидит — образумится. А он глядеть-то глядел, а лишь срок вышел, только его и видели. Да и за что сидел-то, сказать стыдно. Люди воевали, а он...

— Очнись, Полина, думай, что говоришь!

— Всю жизнь молчу. Да и жизни-то никакой не было, одно молчание: «Поля у нас тихоня», «Поля у нас безответная». Только надо ж было когда-

то и мне рот открыть. Вот я и открыла. И теперь уже не замолчу! Не хочу я его видеть, будь он проклят, не хочу! А примете — нет у вас дочери! Пошли, Алексей!

Рыбой, выброшенной на берег, Михей в удушье ловил ртом воздух. Сердце не билось, а натужно вздувалось под рубахой, подкатываясь, кажется, к самой шее. «Перестрелять всех, как куропаток, перестрелять! — Он судорожно хватался за пистолет под матрацем, но развинченные, словно у паралитика, руки не слушались его и лишь скользили по прохладной поверхности гашиетки. — Я вас породил, скотов, я вас и сотру в прах».

Но сын добил его окончательно:

— Пошел я, ма. Загляну как-нибудь... И вот что еще я хотел сказать тебе, ма... Городил я здесь не то... Просто ненавистна мне эта рожка милицейская. Позлить захотелось... Но в общем-то я тоже — против. Ради тебя самой против. И если придет, я за себя не ручаюсь. У меня рука не дрогнет... Пока, ма...

Здесь Михей уже окончательно обессилел. Кровавые круги плавали у него перед глазами. Ему казалось, что он горит, испепеляется в самом себе. И когда за дверью он услышал всхлипывания, а потом и плач, это его почти не удивило. Просто его оплакивали, как отпевали, две оставшиеся верными прошлому души — Клавдии и Марии. Вернее, не его, а себя в нем.

VI

Семен по-мальчишески торопливо пил чай, а Клавдия сидела против него и влюбленно потчевала:

— Ешь, Семушка, ешь. Ты вот с клубничным попробуй. В это лето впервой уродила. Своя-то, она всегда слаже. Там у вас, Сема, строго небось, не побалуешься.

— Ах, мама, — сын заулыбался, обнажая крепкие, ровные зубы, — вы меня все еще ребенком считаете, а я да-а-вно взрослый. Какое же, мама, баловство, когда мы в наставники пастве готовимся, слово Божье понесем людям. Каждый из нас в книгах по уши, вздохнуть некогда... И все-таки, мама, я доволен. Знаете, иногда подумаю, что судьба моя могла быть иной, и мне становится страшно. Делать что-то светское, когда кругом столько сырых, и страждущих, и нищих духом...

— Так ведь, Семушка: «Блаженны...»

— Нет, мама, неверно такое уничижительное толкование Евангелия. Господь создал человека по своему облику и подобию не с тем, чтобы тот смирился перед страхом бытия. И раз «по своему образу и подобию», — значит, равным себе. И от самого человека зависит лишь найти и взрастить в себе Божье начало. Нищета нищете рознь, как и смирение смирению. Осанна нищете духа, но не духовности, осанна смирению, но не смиряемости. Духом жив человек. Дух отличает его от любой другой твари. Смирение приемлется христианином как самопожертвование ради ближнего, а не как рабство перед властью имущим. И если человек не поймет этих простых истин, он всегда, во все века, останется игрушкой в руках честолюбцев, обуянных дьяволом крови и корысти. Каждый должен возвышаться до Бога, приобщиться его истин и, только усвоив их, смирить свой дух — не дать произрасти в себе самому тяжкому греху — гордыне. А духовная нищета червей — только производное рабство. Черви пожирают самих себя...

И хотя Клавдия прекрасно сознавала, что Семушка ее повторяет сейчас не свои, чужие прописи, дышит благоприобретенной страстью, она все же не могла не отметить про себя и с одобрением уже явственно проявившуюся в нем мятежность коноплевского характера с его постоянным недовольством и стремлением переиначить все вокруг себя.

Решение Семена поступить в семинарию свалилось на Клавдию как снег на голову. До той поры он был для нее таким же, не отличимым от десятков других с прибрежных улиц пацанов со всеми достоинствами и пороками своего возраста. Разве что читал не по годам много и вдумчиво. Правда, после она припоминала, как иногда, отрываясь от книжки, глядел он сквозь нее невидящими глазами, подолгу не откликаясь на ее зов, как до ночи засиживался у сотоварища по классу, внука местного батюшки Николая, что, впрочем, не помешало стать этому самому внуку знаменитым в области футболистом, и с какой охотой увязывался за нею Семен в редкие ее хождения по престольным праздникам в церковь, в конце концов она смирилась, но привыкнуть к положению матери будущего священника так и не могла.

Сама Клавдия думала о Боге чаще по привычке, чем из насущной потребности. Вера ее выливалась в то, что она делала: растила детей, ухаживала за огородом и садом, даже в малом не отказывая любому просящему, будь то сосед или случайный прохожий. И слово «грех» для нее было просто равнозначным понятию «плохой поступок» или «дурное дело», которые обязательно оплачиваются человеком, совершившим их, вне зависимости от канонического писания...

Семен словно продолжал давно начатый с кем-то спор. Он горячился, перескакивал с одного

на другое, но главная нить разговора почти незаметно вытягивалась им от вопроса к вопросу, от темы к теме, пока наконец не пробилаь и к ее, Клавдии, сознанию:

— Человек постепенно теряет, рассеивает душу, разрушается как образ и подобие Божье, а значит — как личность. Бог — это нравственное начало общества, поэтому, теряя Бога, то есть это начало, оно теряет себя. Долг церкви — воспрепятствовать этому. Хватит вещать с амвонов о предопределении! Господь дал человеку душу, и человек обязан распорядиться этим даром. Учение о равенстве перед Богом извращено. А в мирском, материалистическом применении доведено до животного абсурда. Церковь должна возвестить равенство в Нем, а не перед Ним. Проникнись Его истиной — и ты станешь равен Ему. Если же ты пришел в мир, чтобы только насытить плоть, ты ничего не достоин, и нищета духа твоего лишь результат твоей животности, и ты способствуешь только угасанию жизни. И поэтому хватит «с миром»! «С мечом»! И только «с мечом»!

Кончил Семен на самой высокой ноте, взглянул в сторону матери, смутился: она сидела за столом, вытянув впереди себя большие, но легкие руки, следила за ним во все глаза и в такт каждому его слову согласно кивала.

— Вы не обращайтесь внимания, мама, — он отвернулся к окну, бесцельно сдвигая и раздвигая занавески, — это я так, для себя... Диспут у нас в семинарии... Готовлюсь...

— Что ты, что ты, Семушка, — поспешила она к нему на помощь. — Очень даже хорошо ты говоришь. Умница ты у меня... Знала я, ты рассудишь, потому и вызвала в отдельности ото всех... Как ты скажешь, так и будет.

— Спасибо, мама.

— Отец письмо прислал: просится. — Эта маленькая ложь смущала ее, но отступаться было уже поздно, и потому всякий раз, когда приходилось повторять свою выдумку, она никак не могла отделаться от чувства стыда и неловкости. — Что посоветуешь, Семушка?

Тот коротко взглянул на нее с пристальным вниманием, словно оценивая, во что ему обойдется ответ, потом опустил глаза, подумал несколько и сказал с подкупающей определенностью:

— По-моему, это хорошо, мама.

И ничего более, ни удивления по поводу столь неожиданного известия, ни растерянности перед возможностью встречи с отцом, которого он никогда не видел. И Клавдия была ему за это благодарна.

— Наши — против.

— Я поговорю с ними, мама.

— Отец ведь он им.

Сын снисходительно улыбнулся и погладил материну руку.

— «И отца не зовите на земли: бо есть Отец ваш уже на небесех». Так что, мама, признать, отец он им или нет, — их право, а вот принять душу заблудшую — долг. «Кто есть мати Моя и кто есть братия Моя? — И простер руку Свою на ученики Своя, рече: — Се Мати моя и братия Моя, иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, то брат Мой, и сестра, и мати ми есть». Не примут — мы примем, мама.

— Только он с грехом, Семушка.

Совсем еще детское, со светлым пушком над верхней губой лицо Семена заостряется.

— Расскажи, мама.

— Уж и не знаю, Сема...

— Вы мне не доверяете, мама?

— Душно здесь, Сема... Сходим-ка мы с тобой к морю... Походим — сон крепче будет...

Море внизу, накатываясь на берег, шуршало галечником. Под его вкрадчивый шорох Клавдия и поведала сыну о той тяжести, с которой возвращался домой отец.

Клавдии так необходимо было сейчас твердое, спокойное слово, так дорога хоть тень участия, что она не таилась перед Семеном даже в малости, додумывала то, чего Михей не досказывал, — сын может и должен понять. Но стоило ей взглянуть на него, как нетерпеливая надежда ее уступила место пронзительной материнской жалости: рядом с ней во всей своей житейской незащищенности сидел мальчик с мучительно сморщенным веснушчатый лбом — бледный, растерянный, робкий.

— Я не знаю, что вам сказать, мама... Право, не знаю... Ни Божьим, ни людским законом этого не рассудить... Здесь ему свой суд нужен... Только как же это так, мама?.. Уйти бы ему от мира. Помолиться... Мама, — он вдруг затрясся весь, задрожал и ткнулся головой ей в колени, — страшно мне, мама! Как же все это так?.. За что?

Наверное, Клавдии, чтобы окончательно укрепиться, только и не хватало этих его слез. Неразрешимые загадки, которые ставила перед ее детьми жизнь, можно было разрешить лишь сердцем, а его-то у них и не хватало. Ей приходилось делиться с ними своим. Поделилась она и с Семеном:

Летела пава через улицу,
Ронила пава перо,
Мне не жаль пера,
Жаль мне павушки.
Ой, мне жаль молодца —
Один сын у отца,
Один сын у отца —
Добрый молодец...

Светлые волосы сына текли меж ее пальцев. И сын затихал у нее на коленях, и два сердца начинали биться как одно, и море под обрывом уже не казалось таким большим и вероломным.

VII

Первый сон Михея

Михейку жестоко секли. Сек отец, сек с отяжкой, по-лошажьи всхрапывая при всяком ударе и приправляя экзекуцию словцом к словцу:

— Значитса, в бега? Получи поперек... Сам себе голова, значитса? Еще... Значитса, по батькиным карманам шарипшь? Получи теперя вдоль...

До боли в скулах закусывая край рубахи, Михейка молчал. Накануне он почти двое суток отсиживался с прихваченной на дорогу отцовской мелочью в приморских пещерах, но, преданный слободскими друзьями, был выволочен из своего убежища и жестоко бит теперь. Михейка переносил порку, как и подобает родовому биндюжнику, молча. Но гордая, дерзкая мысль о другой жизни и другой земле от каждого удара только утверждалась в нем.

Живя у моря и морем, Михейка чуть ли не с рождения проникся всеми его дурманящими соблазнами. Снизу, из-под берега, и днем и ночью терпко тянуло смолой и лежалой пенькой, а мимо, разворачиваясь к причалу близкого города, проплывали, словно видения из сказок, корабли самых диковинных расцветок и названий. И гулкое, еще не обгоревшее в миру мальчишеское сердце Михейки чутко откликалось каждому их зову из упругой синевы.

После расправы отец раздел его до трусов, водворив в захламленный чулан, под висячий за-

мок. За единственным окошком чулана дождевым снегом стекал по стеклу октябрь. Но даже эта слякотная одурь воли виделась сейчас Михейке куда милее скупых отцовских пирогов.

Тупо скользил он взглядом по пыльному царству чулана, пока в бессмысленном, казалось, хаосе не стали обозначаться перед ним первые определяющиеся предметы: женские парусиновые туфли на низком ходу, старый плюшевый жакет матери, дедов картуз с полуоторванным козырьком. И неожиданно воспаленный мозг его мысленно собрал все эти вещи воедино. Получалась хотя и не слишком даже по тем временам шикарная, но сносная экипировка.

Выбравшись из заточения во взбухший от осенней воды огород, Михейка довольно оглядел себя: в этой рогожке его сам черт не отличил бы от беспризорной братвы, которой ломилось побережье от Одессы до Новороссийска.

Свинцового цвета море дышало трудно и тихо. Напротив, в излучине, попыхивало первыми огоньками. Михейка берегом спешил в их сторону. Окрыленная душа его трепетно замирала в предвкушении дороги и новизны, и оттого первая ночевка под сваями городского причала показалась ему короткой, но сладостной.

Первое, что он почувствовал, открыв глаза, было солнце. Вода, до которой оказалось не больше шага, искрилась, высвечивая в самой себе буроватые водоросли и ракушки, а над кромкой предельно чистого горизонта курились дразнящие дымки пароходов. Мир был чист и уютен, как первая колыбель птенца.

Чуть скосив взгляд в сторону, Михейка внезапно обнаружил, почти у самого лица, ноги и, подняв глаза, увидел стоящего прямо над ним цыганенка. Цыганенок выглядел, что называется,

только подпоясанным: нечто вроде замызганных исподников, лохмами свисающих к щиколоткам, и бязевая сумка через плечо. Каким манером он ухитрялся не замерзнуть в эти щедрые на заморозки ночи, оставалось загадкой даже, наверное, для него самого.

Тем не менее цыганенок стоял над Михейкой и улыбался полнозубым своим ртом, и в озорном взгляде его плавали, как яичные белки в кофейной гуще, глазные яблоки.

— Дивись! — подступался он к Михейке, словно к старому знакомому. Цыганенок выхватил из сумки луковицу и легонько начал растирать ее между ладонями, а луковица на глазах таяла, растворялась в воздухе, пока не исчезла вовсе. — Дивись!

Цыганенок развел ладони — луковицы не было. Исполнитель прямо-таки исходил лукавым самодовольством, наблюдая Михейкину растерянность, и, наверное, с тем, чтобы окончательно утвердить себя перед новым знакомцем, цыганенок снова осклабился:

— Дивись!

И снова свел ладони вместе, и снова стал потирать их друг о друга. И снова происходило чудо: луковица, воочию вырастая, скатывалась в сумку. И лишь после того как авторитет артиста явно и бесповоротно был признан новым зрителем, а также освящен обычным в таких случаях и восторженным «мирово», цыганенок опустил рядом с Михейкой:

— Курнуть е?

— Ты кто?

— Не видал?

— Ты откуда?

Тот мастерски сплюнул сквозь зубы на воду и неопределенно кивнул куда-то в сторону берега.

— А ты?

— Я тоже.

— Врешь! — Цыганенок так и лучился весь доброжелательной догадливостью. — От матки мотаешь.

При этом артист смотрел на него с таким пониманием и прямоотой, что Михейка, почувствовав в нем опытного и верного союзника, не выдержал, сдался:

— Почему знаешь?

— По клифту.

— Чего-чего?

— Маткин клифт. И колеса маткины. И чистый ты.

И уже спустя полчаса они знали друг о друге все, что могло понадобиться им для путешествия вдвоем, хотя бы на край света. Итог разговору подвел бывалый потомок бродяжьего племени:

— Куда хочешь?

— Не знаю... Как ты...

— В Батум хочешь? Хороший город. Тепло там. Сытно. Вон «Пирогов» гудок давал.

Михейка безропотно согласился: Батум так Батум. Опыт и отвага товарища придавали ему решительности.

Тайными, одному ему ведомыми лазами провёл цыганенок друга прямо на пассажирский причал, где, грузно покачиваясь на волне, маялся под загрузкой трехтрубный извозчик.

В многолюдной толчее и суматохе никто не обратил внимания на двух пацанов, мало чем отличавшихся от толпы тех лет, толпы, в какой сквозил тогда острый и горький привкус карболки.

Борт парохода соблазнительно колебался вровень с торцом причала: один шаг — и ты уже в другом море, за тридевять земель от всего, что связывает еще тебя с домом, с вечными попреками и

подзатыльниками, со скукой буден и ненавистной арифметикой Березанской.

Улучив момент и прыгнув первым, цыганенок облегченно позвал:

— Давай!

В тугом утреннем воздухе гудок прозвучал глухо и надсадно. Темные глаза, заполняясь тревогой, жалобно звали его туда, на заманчивый борт, обещающая жизнь, полную самых радужных событий и приключений.

— Второй уже!

Труба добавила два коротких.

— Давай! Хочешь руку?

С грохотом поползли на палубу сходни. Цыганенок плакал от гнева и обиды:

— Пижон с Дерибасовской!

Третий и последний гудок вобрал в себя многогоречивое цыганское ругательство, из которого наступившей затем тишине досталось лишь:

— ...о-ор-р-а!

И в тот момент, когда борт, колыхаясь, отлип от причала и пустота между ними стала явственней, Михей было решил, прыгнул, но мгновение страха перед тем, что будет после хоть призрачной, но все же прочности его существования на земле до сих пор, оборвало внезапный порыв. И он с завистью, но в то же время с облегчением глядел вслед уплывающей у него прямо из-под ног мечте, которой уже никогда в его жизни не суждено будет сбыться.

Вспомни об этом, Михей Савельевич, вспомни!

VIII

Сумерки тихо наплывали из окон, незаметно сбиваясь в углах в крутую темень. В эту пору обычно у Клавдии и кончался день с его хлопот-

ностью и заботами. И она садилась за стол, сложив перед собой усталые руки, и так бездумно проеживала до ночи. Но с возвращением Михея покой ушел из ее сердца, и, каждый вечер садясь по обыкновению за стол, Клавдия уже не могла отжаться покойному ощущению оконченного дела. Думы, отступающие в дневной суете, сразу же затевали в душе ее вихревой хоровод долгих обжигающих вопросов: как ей быть дальше? Что делать? Каким еще манером подойти к детям, чтобы вырвать у них желанное ею слово?

До сих пор Клавдия жила в гордой уверенности, что все возведенное ею за одинокие годы — семья, дом, добрая молва о себе, — все это крепко и заполненно, как не тронутое червоточинной дерево: всякий корень при деле и всякая ветка на месте. И вдруг, всего за несколько дней, она почувствовала, как непрочен под ней, казалось бы навечно сложенный, фундамент и само здание сотрясается, готовое рухнуть в любую минуту. Не дать ему, этому зданию, оставить ее без крова и в одиночестве стало смыслом и целью ее теперешнего существования.

Течение Клавдиных мыслей прервал посторонний звук: кто-то пересекал двор, продвигаясь короткими отрезками, время от времени останавливаясь, как бы в раздумье, идти или повернуть назад.

Клавдия встала, пошла к выключателю, а когда зажгла лампу и повернулась, увидела на пороге женщину. Женщина, привыкая к свету, слегка прикрывала ладонью глаза.

— Здравствуйте! — Гостья отвела ладонь от лица и оказалась вовсе не женщиной, а девушкой лет двадцати с небольшим, и только неяркие, усталые глаза обличали в ней опыт и силу. — Я Анна. Может, Андрей говорил вам. — И, наверное пу-

гаясь Клавдиного молчания, стала быстро оправдываться: — Я не знала... Там открыто... Я и вошла...

Так вот ты какая, Анна? Клавдия молча разглядывала «подраakitную» свою невестку и все никак не могла взять в толк, какой статью сумела околдовать эта пичуга ее старшего. Тоненькая и плоскогрудая, она смотрела ребенком, если бы не эти ее серыми омутами глядящие глаза да скорбные складочки в уголках бескровных губ.

— А вошла, так и садись... И... здравствуй тоже. Ну, что ты мне скажешь-расскажешь, Анна?

— Собственно, сказать мне вам нечего. — Гостья приняла тон, и это понравилось Клавдии. — Просто захотелось взглянуть на вас, какая вы. И, может быть, потом поговорить.

— Это, значит, коли понравлюсь?

— Слово не совсем точное, но по смыслу вроде того.

— Ну и как?

— Я еще не разглядела.

— Однако, деваха, ты, видимо, с характером.

— Какой уж там у меня характер! Скорее, как это говорят, с норовом.

— С норовом! А с одним мужиком управиться не можешь. А если тебе детей еще троих в придачу?

— А зачем управляться-то?

— Не любишь, что ли?

— Люблю, — уронила она, и в том, как это было уронено, почувствовался характер, умеющий отрезать раз и навсегда. — Только я не укротительница. Да и не терплю я прирученных. Я сама с зубами, за двоих постоять смогу. Так что мне дикие больше по душе... Закурить у вас можно?

Деваха нравилась Клавдии все больше. Да так, что если до того, не терпя табачного запаха в доме,

она и мужиков-то отправляла дымить во двор, здесь изменила правилу:

— Кури, коли охота, только к чему это бабе? Облегченья никакого, одна муть в голове.

— Пробовали?

— Пробовала. Все я, девонька, пробовала. И курила, и пила, и каялась, и снова грешила... Самою себя в грехе не утопишь, растравишь только пуще... Давно не был?

У Анны чуть дрогнул подбородок, но этого достало Клавдии, чтобы понять: давно.

— Вчера ко мне заглядывал.

— Вспоминал?

— Нет, — не стала скрывать Клавдия.

— Ну конечно, — затянулась та, и закашлялась, и докончила сквозь табачные слезы: — Не до меня, мировая скорбь sneдает.

— Что же все-таки у вас с Андреем?

— А я и сама не разберусь. Если это и любовь, то не людская какая-то. Как врозь, так хоть в петлю, а сойдемся — словно враги.

— В отца, — Клавдия специально повернулась в сторону двери в светелку, — тоже все гадают, все прикидывает: вдруг не та, вдруг лучше пропусти? Поищет-поищет, потом посмотрит — нету лучше! — и вернется, с повинной вернется. Это ты уж мне поверь.

— Да сколько же мне ждать его! — вдруг прорвало было Анну, но она тут же устало осеклась. — Да и стоит ли? После всех-то?

Но ответила Клавдия вновь не ей. Двери ответила:

— Я себя, голубушка, не спрашивала: стоит ли? Сразу, с первого взгляду, знала: стоит! Одного ожидания этого самого стоит. Королевичей много по свету ходит, а Бова у бабы один. Обласканный ли, обруганный, целый ли, битый, все равно —

один... А коли ты еще о том спрашиваешь, скажу, хоть и сын он мне, не стоит.

— Не так вы меня поняли. Для него стоит ли? Вот в чем вопрос, как говорят. Для себя-то я давно решила... Что ж мне скрывать от вас, — она горьковато усмехнулась, отчего скорбные складочки в уголках ее губ обозначились явственнее и резче, — много их у меня, «королевичей», было... Пожила, можно сказать... Только Бовы не было... А если уж и Андрей не Бова, тогда мне и жить незачем...

Но Клавдия, возносясь к молодости, словно и не слышала невестку, словно сошлась она сейчас сама с собой, той, семнадцатилетней, и разговаривала с этим молчаливым двойником своим наедине:

— Господи! Когда повстречала я в первый раз Михея, и все думы мои, все сомнения разные девческие дымом пошли. Так ясно, так легко на душе стало, словно и жить-то я раньше не жила, дышать-то не дышала. Видела до того, к примеру, дерево, думала — дерево и есть, только оно вдруг для меня листиком всяким, былинкой затрепетало. И у речки — всякая струя в отдельности. И лицо любое, какое ни возьми, — сособиной. А как вел он меня слободой, так словно не шла я — плыла. А под венцом стояла — чудилось: вот-вот песнею в воздухе изойду. И ничего черного не помню. Не хочу помнить — и все тут!

— Легко же вам жить на свете!

И только здесь Клавдия опомнилась и, отвернувшись от глядевшей на нее во все глаза гостьи к окну, поспешила намеренно охолодить речь:

— Тебе мою жизнь — не снесла бы. А мне и вправду легко было. Коли на сердце праздники помнятся, тогда любая тяжесть легкая.

— А если и не случалось у меня праздников-то! Одни будни!

И такая в пронзительном этом взгляде ее увиделась вдруг тоска, такой крик, что Клавдия не выдержала-таки, встала, чтобы подойти к ней, облегчить тихим прикосновением, но лишь коснулась плеча невесткиного, вздрогнула: от порога вдоль стола перед ней легла тень.

— Привет, мать! — Андрей еле стоял на ногах. — А, и вы здесь, мадам!.. По какому такому случаю, позвольте вас спросить?

— Я позвала, — Клавдия вышла вперед и заслонила ее собой. — И потом — ты к матери пришел, а не в кабак, кепку сними. И сядь...

Пьяный реверанс у него не получился, и он во время приседания чуть было не упал, и лишь ловко подставленный ему под руки матерью стул позволил ему хотя и на коленях, но устоять:

— Это что, заговор обреченных? Следствие по делу Карамазова? Раскольников и другие, да?.. Валяйте вяжите, признаюсь и каюсь...

Анна не тронулась с места:

— Я пришла сама.

— Разозлить хочешь? — Он, опираясь о стул, медленно поднялся. — А мне плевать, понятно?

— Не надо, Андрей, я ведь не навязываться пришла. — Только голос, чуть подрагивая, выдавал ее волнение, и Клавдия не без одобрительности отметила и это. — Давай по-людски.

— Хватит! — внезапное бешенство придало ему трезвости. — «По-людски»! А я не хочу «по-людски»! Не хочу, слышите? Все, кому не лень, учат: «Живи по-человечески», «Как все живут». А что значит: «как все»? И почему я должен «как все»? Что за образец такой, что за форма? С бабой живешь — в загс иди, пить хочешь — дома пей, у соседа двое штанов — и ты не отставай! Праздник — пой, будни — молчи. А может, мне и пьется-то и поется-то только по будним дням, а от од-

ного вида дуры в фате меня с души воротит, тогда что? Так вот, не желаю я иметь праздничных порток и говорить о них в теплом домашнем кругу! И вообще, первая встречная пропитая рожа мне куда дороже и милее любой самой близкой родни вроде дядьки Прохора... Не наливай ты мне чаю, ма! Не путай меня с Полькой!

— Не хочешь — не пей, — оборвала она его. — Была бы честь. Больше ничего не будет.

— Бьешь под солнечное сплетение, ма... Это же запрещенный удар!

Но Анна не дала ему вновь ускользнуть в обычную в таких случаях для него дурашливость:

— Сам ты бьешь наотмашь, не глядя, в кого и куда.

— Пардон, мадам, вас-то я и не заметил.

— Бьешь и проходишь мимо, — гнула она свое. — Некогда тебе замечать ударенных. Ты собой занят. Собой, выдуманной бедой своей, болью своей сочиненной. И все это оттого, что не можешь ты найти в себе мужества смириться с собственной ординарностью. Но я-то ведь тебя знаю, у нас ведь и столы в редакции рядом, ничего не скроешь, всегда на глазах друг у друга. Ты, Андрюшенька, типичный провинциальный химерист, в ухудшенном современном переиздании. На самоубийство тебя не хватит, а жить «как все» не позволяет гонор. Выход один, причем самый «красивый» и безболезненный, — кабак.

— Ты хочешь, чтобы я спорил, негодовал, доказывал? — Андрей еще силился взять принятый было тон, но по тому, как он по привычке в волнении потирал подбородок, виделось, что обида окончательно протрезвила его. — Творческая, так сказать, провокация... Только я не клюну. Я не подопытный переросток. — Он поднялся. — Пойду лягу... У тебя я нынче, ма...

Укладывая сына во времянке, Клавдия слушала, как норовисто сопит ее первенец, как, раздеваясь, швырком отбрасывает одежду в угол, и жестоко радовалась: проняло! По старой памяти она потянулась было губами ко лбу его, но наткнулась на оборонительно вытянутую руку:

— Покеда.

Потом они еще долго чаевничали с Анной под ничего не значащие разговоры, и, глядя на нее, Клавдия все более и более укреплялась в мысли, что хоть и не красна статья плоскогрудая Андреева сослуживица, а лучше и надежнее невестки ей не сыскать.

На прощание Клавдия не без умысла попытала все же:

— Скажи по душе, Анна, неспроста ведь пришла ты ко мне? Такие, вроде тебя, по-пустому не любопытствуют.

Та не зарделась, не опустила глаза. Только уж больно тихо сказала:

— Хотелось посмотреть, какая бабка у моего первого будет.

И словно и не Анна вовсе, а она, Клавдия, почувствовала вдруг себя тяжелой, и умиляющий душу жар подкатил ей к сердцу, и комната со всем, что было в ней, пошла кругом, а потом расплылась в соленом тумане.

— Аня... Аннушка... Неужто и вправду... Господи! Милая ты моя... Былиночка... Голубушка...

Они зарылись друг другу в плечи в тихом, бабьем, неиссякающем плаче, и все, что оставалось еще недосказанного между ними, само по себе досказалось, без слов.

IX

Гривастые волны с грохотом били в берег и, насытаясь до черноты его суглинистой крошкой,

отступали назад, чтобы уже через минуту вновь кинуться на приступ медленно отступающей тверди. Небо взбухало почти над самой водой, время от времени высеивая по крыше хрусткую изморось. С моря в полуоткрытое окно тянуло устойчивой йодистой тяжестью.

За дверью шелестели ставшие уже привычными для Михея разговоры Клавдии с Марьей, похожие один на другой, как осенние дни за стеной.

— И что за времена такие! — грузно вздыхала Марья. — Ни крови, ни родства не признают. Бога потеряли!

— Под старость и ты о Боге вспомнила. Что ж, им его с хлебом-солью встречать прикажешь? Уж как аукнется, так и откликнется...

— Да им-то что? Все при деле, все при доме...

— Знал бы только он, какой пыткой я без него пытана, какими слезами истекла, источилась...

— Какие уж, кума, счеты на старости!

— Не мной — другими спросится.

— А все ж...

— Что?

— Бог не выдал, свинья не съела, живешь не хуже других, грех жаловаться.

— И то правда...

— Вот то-то и оно, что — грех.

— Не долдонь.

— Как знаешь...

— Так...

— Да...

У их разговора был свой прилив и отлив. Наступало молчание, за которым вновь следовала новая волна вздохов и сомнений. Крик раздался неожиданно и сразу подсек тишину, воцарившуюся было в горнице.

— Кричат вроде, кума!

— У Прохора!

— Платок, платок накинь, оглашенная!..

Из-за мокрой уже занавески Михей увидел, как Прохор с топором в руке, в подвернутых исподниках, на босу ногу пересекал свое подворье от крыльца к сараю над самым берегом. За ним, непокрытая и тоже босая, бежала жена его Настасья, ноюще причитая:

— Сапоги бы хоть одел, Проша, простынешь... И что она далась тебе, эта сараюшка? Ползет — и пускай ее...

Но тот уже остервенело бил обухом в торец кола, вогнанного им под самый сруб.

— ...твою бога мать, жизни нет! Заела век, прорва, за что?.. А ты отойди, падла! — передыхая, кидался он в сторону жены. — Не пой под руку, халява! — Но та упорствовала, и тогда топор взлетел над ее головой: — Убью, морда!

Худая и распатланная, Настасья подступала к мужу то с одного, то с другого бока:

— Да ведь застраховано все, Прохор Савельич! Не терзай ты себя, Бога ради, не изводись. Не пропадет наша копейка, за все сполна вернем...

Но речь ее вызвала в нем лишь новый, еще более жгучий приступ ярости. Казалось, он сейчас задохнется от застрявшего в его горле ругательства, пока оно не вырвалось наконец из него во всем своем многоэтажном величии:

— ...мать! Положил я с прибором на твою страховку! Моя земля! И добро мое! И сарай мой! Налоги плачу? Плачу. Пусть дамбу ставят, сукины дети! Куда мои кровные идут? На культурную мероприятию? Не желаю! У меня этой самой культуренции своей полна хата. Братишкам заводы ставим? «Хинди — руси, бхай-бхай»? А мне начхать! Пусть сами себя кабелируют, а мне от ихнего света ни жарко ни холодно!.. Паразиты! Всю кровь выпили!

От слова к слову все больше распаляясь и входя в раж, Прохор к концу даже взрыднул, так его проняло собственное к себе сочувствие.

Не без злорадства наблюдал Михей за брате-ниной борьбой со стихией. «Вот так, — мстительно размышлял он, — боком тебе, браток, твоя валь-жность выходит». Но в глубине души кольнуло его извечное мужицкое сожаление о гибнущем добре: «А домок-то и вправду хорош!»

Море, грохотно дыша, било в берег, и крен сарайного струба становился все круче. Колья, разрушая кромку обрыва, только ускоряли чер-ную работу моря. И когда сарай, перед том как сползти под берег, угрожающе заскрипел, сердце Прохора не выдержало такого поругания над его собственностью: упершись ногами в ускользя-щую из-под ступней береговую кромку, определил он спину под самую стену сруба.

Обезумевшая от ужаса Настасья бросилась на колени:

— Опомнись, Проша!.. Кормилец!..

— Уйди, курва! — натужно хрипел тот, уже согнутый срубом в три погибели. — Не дам! Мое добро, никому не дам!.. Что, раз она вода, так на нее и управы нет! Не да-ам!..

— Ратуйте, люди добрые!

— Уйди, говорю!

— Проша!

— Убью-ю!

Сарай кренился медленно, но неотвратимо, подминая под себя обезумевшего от хмельного не-истовства Прохора. Сарай в последний раз про-скрипел всеми пазами, и сразу же вслед за этим в последний же раз вскинулось над гудящим по-бережьем Прохорово:

— Не да-а-ам!..

Михей только сплюнул в сердцах и захлопнул окно.

Х

Труднее других для Клавдии оставалась дочь. Та самая Поля, тихоня, что и простое-то слово молвила разве что по престольным праздникам, вдруг выказала характер. Поэтому и решила Клавдия приветить ее в одиночку, без мужа, поэтому и сидела с нею сейчас за случайной пряжей, сматывая у нее с рук кольцо за кольцом.

— Что у тебя нового, Поля?

— А какие у меня могут быть новости, мама. С девяти до пяти, вот и все новости.

— Старею я, Поля, а старым всегда в одиночку скушно, а ты от меня сторонисься...

Им, связанным в эту минуту беззвучно вьющейся нитью и сидящим друг против друга, нельзя было спрятать того, что творилось сейчас в них, утаив какой-нибудь помысел в суетливом движении, оттого и слова обеим давались тяжело, почти через силу.

— Вы все сами знаете, мама... Леша говорит...

— Да что ты все Леша да Леша! У тебя небось и своя голова есть... Вот и скажи мне что-нибудь сама от себя... Давай мы с тобой по сердцу, как баба с бабой?

Поля только губы поджала и повела томительным взглядом в сторону: как вам, мол, угодно.

— Вот и начни, Полина, дай мне зацепку.

— Ведь опять об отце хотите?

— Еще как и хочу-то! — Клавдия сама не ожидала от себя такого порыва, страсти такой, что подхватила ее, обращая прошлое в осязаемую для нее до восторга явь. — Вот ты все о нем плохое знаешь, а ведь у нас с ним и хорошее было. И

сколько! Ты мне намедни побои его вспомнила, а того не ведомо тебе, как он, когда я тобой схватилась, в осень, в снег поднял меня на руки — и в чем был через всю слободу к фельдшеру, и, как потом уже всю ночь под окном стоял, а лишь подала ты голос, навзрыд зашелся и все к стеклу ник: показать тебя просил... Еле домой утащили, чуть не вязать пришлось... И день тот и слезы те его мне за все побои его во сто крат награда...

— Мамочка! Зачем вы мне все это говорите? — почти кричала Поля. — Я что — Леша же!..

Но та не слышала ее. Сейчас она опять-таки, как и в прошлый раз, ощущала присутствие лишь того собеседника, что внимал ей там, за дверью.

— А как рубахи свои праздничные на пеленки рвал? А как сапоги свадебные загонял тебе на крестины? А как ночами пылиночки снимал с тебя, когда ты уже на ладан дышала, и как последнее из дому тащил не на водку — на лекарства тебе, на фрукты-ягоды разные?.. Ведомо ли это тебе, Польшка-а?

— Так ведь, — дочь не сказала, а еле сложила побелевшими губами, — и другое было...

Не дрогнул у Клавдии ни один мускул на лице, ни одна нота в душе не сфальшивила, когда она, не сводя с дочери спокойного взора, молвила:

— Было. Рабой я его была, рабой и осталась. Только раба рабе рознь. Бить — бил, пить — пил. Зато на людях высоко мою честь держал. Словно и не он вовсе, а я дому голова. Почему, спросишь? Потому, что любил... Бывало, идем по городу — народ расступается: пара!.. И за это я отцу твоему благодарная!.. А на тебя мне, матери твоей, не обессудь, смотреть совестно. Будто и нет тебя совсем, а тень от тебя одна мужнина... Моя кровь, да вроде разбавленная... Взбунтуйся ты хоть раз. Посуду перебей, что ли! Или ночевать не приходи...

Та, уже полоненная ее напористой мощью, лишь вяло защищалась:

— Мамочка, и что вы такое говорите...

— А то и вправду любовника заведи. Или напейся до бесчувствия.

— Мамочка!

— Вот то-то и оно, что все тебе страшно. А жить тебе, Полина, как в сказке, чем дальше, тем страшней.

— Что я без него, мамочка!

— А что со мной случилось, когда Михей ушел счастья по свету искать? Трое вас у меня колготило. Всем была: и швец, и жнец, и на дуде игрец. А выжила, да не одна — с вами вместе. И отец знал, что выживу, не пропаду, потому и уходил всегда с легким сердцем. Верил: не сокрушится его благоверная... А твой нащупал в тебе слабинку, вот и пользуется в свое удовольствие. Вот ты и подымись сердцем, скажи ему свое слово.

— Не послушает, мама! Бросит!

— Отец ведь, не дядя с улицы.

— Хоть убейте, мама, — не могу!

— Полина, не плюй в колодец...

— Не могу-у-у!

Пряжа соскользнула с Полиных взметнувшихся и тут же упавших рук, и она, как к спасению, бросилась к порогу, на котором уже сиял всеми своими пуговицами и просветами ее опора и упование — сам Алексей Иванович.

— Па-азвольте, Клавдия Андреевна! — Прикинуть обстановку ему, красе и гордости слободской оперкоманды, не составляло труда. — Это как же понимать? Мы с Полей вам, по-моему, определенно заявили. Что ж прикажете, к вам родную дочь не отпускать? Это крайность, но я учту. — С достоинством возмущаясь, он одной рукой легко и ловко переадресовал жену к себе за

спину, а та теперь из-за плеча его жалобно постреливала в сторону матери заплаканными глазами. — И нехорошо разбивать семью такими методами. Знаете, хоть вы и мать, а за такие дела у нас по головке не гладят.

— Ну что ж, зятек! — Клавдия начала вкрадчиво, почти с искательностью. — Поговорим-потолкуем... Иди к себе, Полина, не съем я мужа твоего, целым вернется...

Без слов тронула Поля кончиками пальцев плечо мужа: можно? И тот так же молча повел короткой шеей: разрешаю.

— Хорошо, Клавдия Андреевна, поговорим. — Гость прошел в комнату и, оседлав краешек стула, долго умащивал и все никак не мог уместить фуражку на округлом коротком колене. — Только некогда мне рассиживаться-то, дел невпорот. Всё на мне. Бездельников тьма, а рыжий один я.

Всяким своим словечком и ужимкой Алексей Иванович явно кого-то с присущей ему во всем старательностью копировал, и, по его мнению, это у него получалось, и от этого он чувствовал себя еще внушительнее и строже.

— А я не задержу, зятек, — еще вкрадчивее успокаивала она, — не задержу... Мигом и порешим...

Пока Клавдия рылась в сундуке, перебирая ворох старых писем и открыток, каждое из которых она тщательно просматривала на свет, гость обстоятельно и веско излагал свое отношение к делу:

— Вы, конечно, женщина, жена, и вам, Клавдия Андреевна, я сочувствую, жалко! Но войдите и в мое положение. Я-то здесь при чем? У меня пост, уважение, виды. Согласись я — и все на-смарку. Поймите же, что мои неприятности — это

и Полины неприятности, а значит, и ваши. Иметь тестя с такой анкеткой — все равно что взрывчаткой перепопаяться, того и гляди взлетишь на воздух. Заманчивая перспектива, нечего сказать! Я честный человек...

Наконец Клавдия нашла то, что искала. Но прежде, чем ответить зятю, она аккуратно, в прежнем порядке, сложила бумаги, вернула их на место, закрыла сундук и только после этого обернулась:

— Вот я и хочу с тобой нынче, как с честным человеком.

— Пожалуйста! — Зять взглянул на письмо, подвинутое к нему Клавдией, с подозрительным недоумением. — Ну и что?

— Не узнаешь руку, зятек?

— С какой стати?

— Может, адресок знаком?

И по мере того как Алексей Иванович читал, ровное лицо его многократно сменило окраску, а круглый, без морщинок лоб занялся испариной.

— Зачем оно вам, Клавдия Андреевна...

— Мно-то оно ни к чему, письмо это, — бери. А хоронила я его и стерегла ради покоя Полининого. Счастье, думала, ее стерегу. Только мало ты ей счастья этого самого дал. Последнее, что было, отнял... Бери... Бери... Нести их начальству моему мне без надобности, не пачкаюсь кляузой — не приучена. А дочь свою я все одно проворонила. Выпил ты ее всю до капельки. Так что бери, «честный» человек, пользуйся... Только хоть помогал бы, хоть по малости... Мало, знать, безотцовщине пенсионных рублей моих...

И намек не осталось в судорожно улавливающем ее руки человеке от внушительного слободского опера, блиставшего еще минуту назад всеми своими пуговицами и просветами: страх, один

только страх наново взял сейчас еще минуту тому ровное, без морщинок лицо.

— Клавдия Андреевна!.. Клавдия Андреевна!.. Да я... Все переиначу... Пусть едет... И Полю я на руках носить буду... Мама!

— Поди с клятвами своими! — Не любила она слабых и брезговала унижением. — Ради того ли отдала я тебе позор, чтоб на коленях тебя увидеть? Чести для тебя много! Только теперь я не за себя, за детей своих боюсь, и — насмерть. Коли дети зову моему не откликнулись, значит, одна я осталась, а одна, без них, троих, я вчетверо сильней. И не тебе, хилявому, меня свалить. Ступай себе...

И, отворотившись к окну, Клавдия как бы навсегда вычеркивала зятя из числа тех, с кем ей еще предстояло схватиться, чтобы одолеть их или поставить крест на самом главном и сокровенном для нее.

XI

Его второй сон

Тифозный карантин догнал Михея в Борске, куда он свернул, пробиваясь сквозь забитые составами дороги, к богатым рыбным промыслам Каспия, где, по слухам, за сезон можно было легко сколотить шальной и безопасный капитал.

Проев последние деньги, он ткнулся было в одно-два места, но получил отказ: лишних ртов в городе собралось невпроворот.

Голодный и грязный, бродил Михей по улицам в поисках угла или отлеживался в порожних «пульманах» у вагоноремонтного депо, пока не решился в конце концов на самый крайний для себя шаг: продать хромовые, даренные тестем ко дню

свадьбы головки, что хранил он до лучших времен, какие, по его расчетам, обещали начаться сразу же после богатых каспийских заработков.

Загнав у привоза эти самые тестевы головки, Михей напрямик направился в ближайшую чайную. Там, за парой дешевого медку, судьба и свела его с невидного облика смешливым старичком, который назвался ему Ильей Степаньчем. Между двумя сменами кружек Михей поведал новому знакомому о своих злоключениях.

Тот похлебывал медок, посмеивался в остренький, под рыжей щетинкой подбородочек и молчал. А когда, после доброй дюжины, Михей только что не вывернулся перед ним наизнанку, тот скосил парня скукотным зевочком:

— Ну и что? Вас нынче таких в городе знаешь сколько? Куда ни плюнь — бедолага. А я что, поп али фершал? Папашкам своим кланяйтесь, они кашку заварили, а вы расхлебывайте, господа хорошие москали... Медок благодарствую...

— Знаешь, дед, — вяло сказал враз поскучевший Михей, и допил остаток, и поднялся, — врезал бы я тебе промеж зенок, да боюсь, хоронить будет нечего: весь выйдешь... Даже сидеть с тобой — и то муторно... Прощевай...

Но старичок попался ему с норовом: глядел себе спокойненько снизу вверх на него да посмеивался:

— А ты сиди, сиди, я тебе, сукиному сыну, и не этакое еще скажу. Ишь взбычился!.. Куда вот тебя, шелудивого, черт несет от гнезда теплого? Рупь твой длинный таким еще коротеньким обернется, что и срам не прикроешь. Богачество твое в тебе самом, а ты за ним по миру шастаешь. Думал плироду на коне объехать, урвать поболе, а она тебя обошла. Пой теперя лазаря всякому встречно-поперечному... Бога благодари, что на

меня напал, а то бы идить тебе заместо фуража под тифозную вошь...

Веселые искорки так и прыгали из-под белесых, изреженных возрастом ресниц старичка. Михай чуть не подавился собственным вопросом:

— Вывезешь?

— Вывезу. Только уговор: в крайний раз из дому идешь. Заработаешь — ворочайся и боле уж дале своего куреня носу не высовывай. Не ищи от своего добра чужого. Все одно не прибудет, только убавится.

— Отец родной!

— «Отец»! Сказал не подумавши. Был бы я тебе отец, ты бы у меня на задницу до Покрова не сел. Стронули вас ироды, вот вы и мечетесь... Тащи еще пару!

— Да хоть пять, папашка! — запутался Михай, бросаясь к стойке. Возможность выбраться из города, плотно окольцованного санитарными кордонами, удваивала его услужливость. — Уж ты прости меня, Илья Степанович, за Бога ради, сечь некому.

— Бог и простит.

— Пей, Илья Степанович, ангельский ты человек.

— Благодарствую. Садись слушай...

Из последующего разговора выяснилось, что возит старичок самого предрика товарища Савчука, и не всегда по делу, так как завелась у товарища Савчука краля, а проживает та краля в приспособленной для нее старорежимной усадьбе, что — на счастье Михея! — расположена за кордоном. Посему фазтон Ильи Степановича пропускают туда и обратно беспрепятственно, чем старикан и пользуется, вывозя время от времени бедолаг вроде Михея.

А после у себя, в чистенькой каморке при исполкомовской конюшне. Илья Степанович вдруг открылся еще и в ином роде:

— Ты не смотри, что у меня виду нету. И смеюсь я завсегда не от своей райской жизни. Слезой душа исходит, глядячи на всеобщий разор и столпотворение. Куда только несет нашу матушку Расею! В самые, видать, тартарары. Мне чего, я отжил. Вас, сосунков, жальчее всего. За что вы только муки эти всевозможные принимаете? Отцовская шкода, а у детей чубы трещат.

— Век, отец, помнить буду. Сгинул бы я тут ни за грош без тебя. Дай тебе Бог того, чего хочется, — простодушно сказал Михей.

— А чего мне хочется, — взвился тот, и смешливые искорки вдруг погасли в его глазах, а лицо противу обычного еще более посерело и заострилось, — то и без твоих молений совершится. Не допустит Господь такого поругания над православной верой. — Он сорвался с места, одним рывком вытянул из-под кровати ковровый перемет и дрожащими от возбуждения руками стал рыться в нем. — На, смотри... Вот они все три — один к одному казаки. Всех вырубил, ироды, как спелый колос на корню. Старший уж до подхорунжего дошел... Ироды! — Старик часто-часто моргал, редкие белесые ресницы его увлажнились, и мутные слезки путались в частых морщинах. — Только не век боговать растоварищу Савчуку, дай срок, своими вот этими сокращу, прости меня, Господи, грешного.

И прежде чем обычная усмешливость вернулась к нему, он долго еще не мог успокоиться и все совал, все совал гостю в покорные руки пушкарского подела снимки сыновей во всех возрастах и положениях.

— Вот я и говорю: чего тебе по земле шастать, доли искать, когда вся доля-то твоя — дома? Я бы вот, к примеру, чтобы хучь помереть в родном курене... Только нету у меня его, куреня-то. Был, да весь вышел. Все под гребло. И самого изжили ироды!

— За что, батя!

— За что? Да за все: за верность мою царю и отечеству, за то, что Господа Бога почитал, за то, что надел свой, потом политьей, с оружием супротив них, басурманов, боронил... Ах, Боже ж ты мой праведный. — Он, источаемый раздражением, забегал по комнатушке. — Да хучь бы за то, что глаза мои для них не того цвета... А ты говоришь: «За что?»

— А сейчас как — ничего, не трогают?

— А что я сейчас? Нуль. Дядька Ильюха до старости щенок. У идиоловой кобылы хвост скребу. Только дай срок, дай только срок, попустим кровь растоварищу Савчуку... И какую пустим! — Старик повернулся к гостю и спокойно округлил: — И не тебе — первому встречному я об этом говорю, да не резон вам меня продать, соси посла лапу в карантине. Вот и неси, хошь не хошь, слово мое по Расее вместе с тифозной вошью.

— Облегчаешься, значит? — У Михея дух захватило от последних его слов, и в кончиках пальцев ощутил он знакомое покалывание, как за шаг перед обрывом. — Не с кем больше?

— А с кем, с Савчуком, что ли? Он тебе враз облегчит на целую голову, а то и с обеих сторон.

— А Бог-то как же, батя?

— А это, брат, не твоя забота, это моя с ним забота... Вот так-то...

В ночь старик, благополучно минуя санитарные кордоны, вывез Михея из города и погнал пару в сторону моря, откуда седоку его предстояло

добираться до ближних промыслов своим ходом. Моря они достигли на переломе ночи, когда горизонты Каспия тронуло первым молоком рассвета.

Плоскую, как стол, блистающую поверхность его изредка подергивала ознобливая рябь. С моря тянуло холодком, и глубокий простор проникал Михея ощущением ровного и долгого покоя, очищая душу от шума и суетности того, что оставалось позади.

— Ну вот, — медленно и грустно проговорил Илья Степанович. Согбенная фигурка его в старой суконной поддевке пожухла и стала еще меньше. — Жми, брат, на все четыре. Не воротись ты до дома, знаю. Не ты первый, не ты последний. Уговаривай тебя, не уговаривай, природа свое возьмет. Корень из вас людской выдернули, а без корня душа, будто перекасти, с любым ветром катится...

— Слушай, батя..

— Ступай, ступай! — не попросил, а скорее, простонал тот, и в блеклых глазах его зябко засквозила тоска тихая и неизбывная. — Непутевый...

И, поворачивая в прибрежные пески, Михей еще долго чуял между лопаток жгучий ожог стариковского взгляда.

Утро набирало знойную силу. Песок стремительно и уверенно раскалялся, глухое море, казалось, плавилось в солнечном мареве, и желтая даль впереди вязко плыла навстречу, ни намеком не предвещая путнику близкого избавления.

Совсем рядом, шагах всего в пятидесяти, дразнила доступностью и посулом утоления бесконечная вода. Но даже и продравшись к ней через пояс векового ила, он не мог бы взять ничего, кроме отчаяния и боли.

Все впереди принимаемое им за спасение уже через несколько шагов призрачно рассеивалось,

чтобы через минуту снова воздвигнуться в поле зрения новой надеждой. Поэтому, когда в песчаном царстве у горизонта возник и стал, приближаясь, вырастать черный остов рыбацкого причала, Михай опять воспринял его как наваждение, горячечный бред, и только коснувшись пахнущих рыбой и сохнувшим илом досок первого навеса, поверил, что спасен, и позвал:

— Братцы...

Ответа не последовало. Лишь в сухом до хруста воздухе все еще потрескивало усыхающее в полднемном пекле дерево навесов и коптилен.

Михай шагнул к открытой двери напротив, но едва он перешагнул порог, как перед ним, словно сотканная самой полутьмой, возникла женщина с протянутой к нему кружкой:

— Пей.

Жадно и шумно глотая теплую, чуть отдающую известью воду, Михай взглядом продирался сквозь темноту к ее лицу, постепенно выявляя перед собой сначала круглые и бездумные глаза, потом скулы, чуть поклеванные оспой, крепкие сухие губы над округлым подбородком.

И, привыкая к ней и к прохладной полутьме, окружавшей ее, он спросил:

— Одна тут?

Слова она роняла, словно отсчитывала: не передать бы.

— Одна.

— Давно?

— С карантина.

— А где все?

— В карантине.

— Застряли?

— Да.

— А что ты у них делаешь?

— Стряпаю.

- А сейчас?
- Жду.
- Их?
- Да.
- До Кара-Дага далеко?
- Пеше — два дня.
- А как еще?
- Морем.
- Долго?
- К ночи будешь.
- А где лодки?
- Бери любую.

Она кивнула куда-то поверх его плеча. Он обернулся: вытщенная на песок, аспидно маячила в белесом безмолвии стая лодок, и каждая из них виделась сейчас одинокой бескрылой птицей, умирающей на прибрежном песке.

И хотя путешествие в любой такой посудине через залив, готовый в каждую минуту вздыбиться шестибалльником, могло кончиться для него далеко не безмятежно, двухдневный поход по одуряющим жарой и видениями пескам совсем уже не светил Михею.

- Жару пережду.
- Пережди.
- Да, мать, с тобой не заскучаешь. И откуда ты только такая разговорчивая?
- Откуда все.
- А все откуда?
- Из земли.
- Все знаешь?
- На то есть Писание, — строго посмотрела она и, закрыв глаза, прочла на память: — «Из земли вышли, в землю войдете вы...»
- Так, — смущенно вздохнул он и, меняя тему, спросил: — Поесть найдется?
- Кулеш станешь?

Расстелив по земляному полу жилого сарая чистую мешковину, женщина наскоро собрала ему нехитрую снедь, поставила воду и, отступив в темь, словно растворилась в ней.

Еда разморила Михея, он во весь рост блаженно растянулся тут же, рядом с остатками еды, и душный полдневный сон оборвал его ленивые думы, а когда парень очнулся, колкие звезды уже подрагивали, наподобие рыбешек в сетях, в узких прорезях меж досок кровли, и чье-то неровное и явно бодрствующее дыхание обвевало его плечо.

— Ты?

— Я.

И в эту ночь они не сказали больше друг другу ни слова. Но зароненные ее случайной лаской не ведомая дотоле тоска по теплу и покою и страх перед грядущей неизвестностью вдруг коснулись Михеева сердца, уже не отпускали его до утра. И тогда он поднялся, чтобы вернуться. Там, за спиной, всего в дне мучительного пути, Михея стерег карантин, из которого еще вчера такой желанной виделась даль у Каспия. Теперь он не мог смотреть туда без жуткого содрогания, точь-в-точь как тогда, за мгновение перед отходом «Пирогова». Карантин был ему уже не страшен по сравнению с неизвестностью впереди. Прежде чем уйти, Михей в последний раз обернулся. Женщина, казалось, не спала, а просто закрыла глаза, закрыла, как закрывают их все женщины от материнства и удовлетворения. Тихой безмятежностью светилось ее лицо в скользящем по небу первом луче. Михею стало страшно оттого, что он больше уже никогда, ну, никогда не увидит ее, и, чтобы оторваться от этой остро поразившей его мысли и перешагнуть порог, ему пришлось сделать над собой предельное усилие.

И об этом не забывай, Михей Савельич, не забывай!

XII

Было в госте что-то от жука — шустрого и любопытного. Семеня короткими ножками, он перебегал от одной фотографии к другой, и быстрые пальцы его мягко ощупывали предмет за предметом.

— Орел, Михей Савельич, ей-бо, орел! — Заложив руки за спину, гость валко покачивался перед свадебным снимком хозяев. — Из такого чуба полпуда каната навить можно. А какую кралю полонил! Губа, брат, у тебя не дура, Михей Савельич. — Под легкой ладонью его всякая вещь словно бы приобретала осязаемость. — Крепкая работа, так сказать, довоенного подела сундучок...

У встревоженно наблюдавшей за ним в полуотворенную дверь мужниного убежища Клавдии остро защемило сердце: еще один явился.

Лет пять тому получила она странное письмо, помеченное уфимским адресом. Просил ее некто по фамилии Плющ оповестить его о местонахождении Михея, объясняя свою просьбу давней, еще с войны, дружбой. Но сквозило между строк что-то такое, что сразу же заставило Клавдию насто-рожиться. Для действительной заинтересованности было это письмо слишком уже велеречиво-чувствительным. «Будучи стародавним другом Михея Савельевича в течение многих, богатых событиями лет, не могу, многоуважаемая Клавдия Андреевна, не беспокоиться его многострадальной судьбой...» И так далее и в таком духе на пяти с лишним страницах. И внизу разлапистая, вроде кляксы, подпись: «Плющ».

Помнится, Клавдия ответила адресату в том духе, что-де тронута душевно его сочувствием, но,

к сожалению, о муже своем она по сию пору знать ничего не знает и узнать не надеется.

Переписка продолжалась, приняв с обеих сторон характер затяжной разведки, хотя из множества писем, столь же суесловных, подобно первому, и больших, Клавдия так и не уяснила себе, что же за человек этот Плющ и с какой целью разыскивает он с таким тщанием ее мужа.

Но сейчас, едва взглянув на гостя, она без труда признала в нем своего давнего корреспондента: скорлупа его слов, словечек, присказок, какими пересыпаны были письма уфимца, пришлись точно впору всему его разбитному облику. Прикрыв дверь за собою, сказала тихо:

— Здравствуйте.

Обернувшись к ней, тот радушно заулыбался:

— Здравствуйте. Я — Плющ. Помните? Вы мне писали, как говорит Пушкин Александр Сергеевич, не отпирайтесь. Так какие у нас с вами новости?

— Какие же у меня для вас новости? — чуть слышно сложила она. — И есть, и нету... Написал, а где он, кто его знает.

— А я не за новостями, собственно. Я — на вас посмотреть: какая вы? По письмам судя, женщина вы особенная. Даже за стилем вашим, — не совсем, извините, безупречным, — личность называется... Так и что Михей Савельич сообщает? — в глубине его маленьких, опущенных белыми ресницами глаз неожиданно засветились «колючие» льдинки. — Здоров ли?

— Пишет, здоров... Может, чаю с дороги?

— Давно не пью. Не тот напиток... Скоро ли встречать думаете? — льдинки становились все острее. — С чем едет, Михей свет Савельич?

— Так я вам водочки, — тяжелое предчувст-

вие, все нарастая, перекрывало дыхание. — Сама не знаю...

— Благодарствую... Под закуску и поговорим...

Гость хозяйственно разместился, выправил перед собою скатерть, и, пока Клавдия собирала ему, он цепко осматривал комнату, легонько хлопывая круглыми ладошками по столу.

— Так... Так, Савельич... Подал, значит, голос... Так, родимый... Вот и доведется свидеться, как говорят...

— Вот и посоветуйте, — каждое его слово добавляло ей тревоги, — как быть?

— Не мне советовать, не вам слушать... Я вот и сам не знаю, как мне к этому отнестись... Здесь думать и думать надо, а главное — прощать уметь. Вы, женщины, эту тяжкую науку освоили, нам, мужскому сословию, тяжелее... Особенно если кровь замешана.

— Старый он и больной, видно. — Клавдия подливала и подливала гостю. — За все отплатил, отстрадал втрое... Выходит, — ее вдруг прорвало, — и вы неспроста за ним ходите... Так что ж, ему на себя руки наложить, что ли, коли всем он вам задолжал?

Гость поднял глаза и спокойно, уже без тени улыбки, сказал:

— Может быть.

И по тому, как он это сказал, Клавдия поняла, что давний ее адресат не так уж прост, каким хочет показаться, обряжая речь свою шутейными присловиями.

— Что же сделал он вам такое?

— Долго рассказывать. — Плющ выпил, понюхал хлебную корочку, снова взглянул в сторону хозяйки. — Только вы напрасно беспокоитесь... Я ведь ни мстить, ни счеты с ним сводить не со-

бираюсь... У меня желание скромное, маленькое: в глаза ему посмотреть... Да-да, не удивляйтесь, только и всего.

— Затем и писали столько лет?

— Затем и писал. И еще бы пять раз по столько писал бы. Чуяло мое сердце: жив Михей свет Савельич! Не тот он человек, чтобы не за здорово живешь пропасть, порода не та.

— Вот и простили бы.

— Счетов, как я уже и сказал, сводить не буду и мстить тоже, а простить — простить, извините, не могу.

— Прости, говорят, и сподобишься.

— Для этих баек, Клавдия Андреевна, слишком я много бит. Легко прощать, когда это вам ничего не стоит. Списали долг — и все. Но иногда простить — значит дать уверовать в безнаказанность. А это ой как дорого аukaется, если и не нам, так детям нашим. Наверное, и нам с вами не всегда сладко жилось только потому, что кто-то, когда-то, не подумав, кому-то что-то простил. Щедрость, так сказать, души проявил. А убытки от этого прекраснодушия приходится покрывать нам, и часто — кровью.

— На столько-то загадывать.

— Одним днем только бабочки живут.

— Да и не вольны мы...

— Во всем вольны, если захотим и не побоимся.

— В словах силы нет.

— Есть. Во всем, что истинно, — есть: и в слове и в деянии.

— Вашими бы устами да мед...

— Эх, Клавдия Андреевна, Клавдия Андреевна...

За этим неровным и внешне бессвязным разговором их и застал Андрей, вдруг появившийся на пороге.

— Общй бонжур. — Он вопрошающе окинул гостя трезвым оком и повернулся к матери: — Сеньку в городе встретил. Говорит — звала.

— Старший мой, Андрейка, — объяснила Клавдия Плющу, а сыну коротко кивнула. — Садись, не лишним будешь... Что Семушка?

— С попом нашим ходит. По физиономии судя, за жизнь философствуют... Чем могу?

— Вот отца твоего товарищ тоже про письмо спрашивает.

Мужчины коротко, как бы прицениваясь, взглянули друг на друга, и словно два проводка законтачило: от взгляда к взгляду потянуло светом общности и дружелюбия.

— Тяпнем на брудершафт, ребенок, — налил в обе рюмки Андрей. — Хоть ты и лыс, как яйцо, в тебе есть что-то от черта.

— А я и есть, в некотором смысле, сатана... Грешник только-только голос подал, а я уже тут как тут, с расписочкой.

— Не дави на меня, дитя, я не блокадник... Дай выпить, потом ты будешь исповедоваться.

— Не гони, дед, не гони... Еще успеем... С женщины что возьмешь, а с мужчины можно без околичностей...

— Лъстишь, сосунок. Но в общем ты прав. У них, у женщин, всегда так: на глазах когда — убила бы, с глаз долой — в голос. Непонятный народ.

— Это и нельзя понять, это почувствовать надо, милый. У меня, извини, к твоему отцу ох как много претензий, больших причем претензий, а вот взглянул я на нее, только взглянул, по прав-

де, даже и не слушал после, что она там лепетала, но сразу почуял: не смогу, не выдержу, сдамся.

— И сдался?

— Сдался.

И мужчины захохотали, захохотали раскати-сто, в один голос, и слышалось Клавдии в их смехе что-то такое, чем они, словно бы враз и навсегда отчуждали ее от своих, лишь им одним доступных дум и разговоров, и потому на сердце у нее становилось тускло и неуютно. И, обидчиво уходя в себя, она уже не слышала последующего разгово-ра. Да ей и незачем было слышать его: все, о чем здесь могло говориться, давным-давно известно ей от самого Михея...

— Рассказывай, маленький, рассказывай...

— А не пожалеешь?

— Не жалею, извини, не зову... Давай.

— Трудненько будет.

— Смотри, ты меня так заранее напугаешь, что и не страшно будет.

— Смотри.

— Ты что, с радио, из отдела «Угадай-ка»?

— Ну, будь по-твоему. Плесни еще для хра-брости.

— Ох уж эти мне без пяти минут Матросовы. Пей...

Гость неожиданно отодвинул от себя стопку, посмотрел в сторону Андрея испытующе и с оте-ческой доверительностью накрыл его ладонь своею:

— Может быть, дед, без этого?

— Может быть.

И та трезвая серьезность, с какой это было сказано, то, присущее лишь вдумчивым и дельным натурам перед началом всякого доброго дела осо-бое выражение, отметившее вдруг лицо сына, оза-

рило душу Клавдии гордой уверенностью: не пропил ума ее старший, не сгинет в нем крепкая материнская закваска!

ХІІІ

«Что же ты можешь рассказать ему, Плющ, — с брезгливой горечью думал, слушая их, Михай, — сверх того, чего ему хватило, чтобы еще до тебя возненавидеть отца родного? Что?»

Нет, он никогда не винил себя за тот поступок. Мало ли каких дел против совести не совершалось в то дымное и голодное время... Он раскаивался сейчас только в том, что пощадил тогда Плюща — не добил. Не пришлось бы ему — хочешь не хочешь — выслушивать теперь всю эту историю, от начала до конца.

Ну хорошо, а что сделал бы он, Плющ, в его, Михея, положении? Неужели улегся бы подышать рядом с ним — с Михеем, вместо того чтобы выпутаться хотя бы самому? Как бы не так!

Когда там, под Ельней, «мессеры» разогнали их колонну по ближним перелескам и Михай после тягостных блужданий березняками и осинниками Смоленщины с обессиленным Плющом на спине наконец сложил товарища в случайной лесной времянке и ушел один, он едва ли думал о том, что тот выживет. Потому и прихватил с собой, казалось, не нужные уже задыхавшемуся Плющу пожитки и документы, которыми потом и пользовался долгое время.

И откуда было знать Михею, как гоняли все-таки выжившего Плюща за чужие грехи по этапам и следственным комиссиям, пока доказалась в конце концов полная непричастность его к тому давно и безуспешно разыскиваемому Плющу, которым жил все эти годы Михай. Не сладок, совсем

не сладок был хлеб, каким по милости Михея столько времени давился брошенный им под Ельнею друг.

Но разве Михей мог предполагать, что все обернется именно так? Тогда почему же каждое случайно оброненное худое слово и всякий случайный, вгорячах сделанный шаг так больно и горько аукается ему сейчас, когда он впервые, наверное, в жизни почувствовал было себя свободным от прошлых грехов?

Слова по ту сторону двери вот уже третий день заставляли его заново переживать все, что он жадно хотел вычеркнуть из своей жизни и забыть. И в этой их неотвратимости таилось для него какое-то обязательное и жестокое предопределение, миновать которое ему было не дано. И у двоих в комнате за дверью не теплилось к нему ни жалости, ни снисхождения...

— Вот таким образом, Андрей свет Михеич.

— Повезло мне на папаню...

— Папаню, милый, не выбирают...

— И все-таки...

— В общем, конечно, прямо скажем...

— И что же теперь ты хочешь от него, сынок?

— Ничего.

— Так-таки и ничего?

— Нет.

— А как же насчет глаз? Насчет посмотреть, а?

— Уже и этого не хочу.

— Толстовец, баптист, так сказать, адвентист седьмого дня?

— Не в том дело.

— А в чем?

— Как тебе объяснить, старикашка, просто,

я думаю, ты это сделаешь за меня... Ему и этого достанет.

— Это как понимать?

— Видишь ли, наказывать не так уж приятно... Ведь как там ни крути, грешит один, а отвечать приходится многим. Вот мать твоя да и ты сам вроде в стороне, а сколько непокоя уже вошло к вам хотя бы из-за меня. А твой непокой еще в ком-то сказывается, и пошло-поехало, не остановишь. Нет, уж пусть за все с него один спрос будет: здесь, дома. А мне и того хватит, что такая женщина, как Клавдия Андреевна, передо мною согнулась из-за Михея... До сих пор стыдно... Нашелся тоже командор-мститель!

— Может, и мне совет под занавес кинешь? Тебе что, взял обратный и поехал к жене на блины, а я — как?

— Один совет у меня — пусть едет. С такой-то ношей по земле ходить тоже не сахар. Ведь это там, так сказать, в прериях, ушел — и концы в воду. А здесь каждый грех его в вас за ним по следам ходит. Хуже кары не придумаешь... Проводи-ка ты меня, Андрей свет Михеич, до вокзала, и распорядимся-ка мы там с тобой в буфете на два куверта.

— Странный ты ребенок, Плющ.

— Странствовал много, вот и странный.

— Тогда пошли.

— Вперед..

Хлопнула дверь, и долгая тишина обрушилась на Михея. Голоса их все еще продолжали звучать в нем, тягостным эхом отдаваясь в висках, так что даже короткая дрёма, время от времени подступавшая к глазам, не дарила его облегчением.

Сейчас, наедине с Клавдией, Марья не прятала своей одинокой немощи в обычном для нее на людях шутовстве. Дряблые, бесформенные складки лица ее водянисто обвисли к шее, мясистые плечи сдвинулись вниз, и вся она словно бы отекала со стула, большая и жалкая, как снежная баба в оттепель.

— Вот она и вся жизнь, Клавдюха... Будто и не жила... Будто миг один и прошло всего... Чудно. — Одышка мучила ее, и поэтому речь давалась ей с трудом. — Ползу нынче к тебе, а кругом птахи поют, солнышко, море, как подсиненное, так бы и подхватилась с детишками взапуски, только что пуды мои не позволяют... Чует сердце — помру скоро...

И хотя видела Клавдия, что последней тоской истекают блеклые Марьины глаза и что, по всему судя, и впрямь недолго осталось той до крайнего дня, не устояла, утешила бездумно:

— Будет блажить-то! С похмелья, видно...

— Нет, Клавдюха, не оттого я... Захотела бы — выпила... Пенсию вчера принесли... Да не хочу... Не идет. — Тихой и больной лаской осветилось ее лицо. — Думала — и не вставать уж. Да вспомнила про тебя, встала... Все я в тебя, как в приданный сундук, уложила... Все думы свои молодые... Память хорошую всю... И легко мне и помирать будет, коли ты жива останешься... Помру — ты и за себя и за меня поживешь... Михея увидишь. Тоже мне радость... Ты уж прости меня, Клавдюха, разговорилась я напоследок... Не доведется больше. Не приду я, не поднимусь уже... Вот и потерпи, самой так-то придется...

— И к чему это ты, Марья, песенку свою затянула? День пройдет — все как рукой снимет.

— Уже не снимет, подружка, никак не снимет... Слышишь, море-окиян нам песенку поет? Тихую такую песенку... А само все ближе, все ближе... Эдаким манером и душу людскую ржа точит... Тихо-тихонечко точит... То одного сточит, другого... А мы смотрим: не меня, не меня, — соседа... А у самих уже на раз дохнуть и осталось... Истекаем ржой в тоску, как берег в море... А в Бога верим не полной душой, а от страха... Потому и не принимает Он наших молитв, а только жалеет часом...

Только тут и увиделась Клавдии примелькавшаяся всеми своими шутками-прибаутками и неряшливым обликом давняя подружка и приживальщица тем самым единственным существом, которое одним своим присутствием связывало ее со всем, что было для нее дороже всего. И она всполошилась.

— Марьюшка, да ты и взаправду не в себе! Не пуцу я тебя никуда... У меня и отлежишься. Не пугай ты меня за Бога ради. А я и слушаю, и слушаю. Доктора тебе надо, вот что.

Но взгляд Марьи, печальный и снисходительный, оборвал ее суету на полудвижении:

— Сядь, Клавдюха, сядь, кума, авось не жалобиться я к тебе заявилась... Сама знаешь, не плакалась Марья на веку своем никому и плакаться не станет... А до Судного дня отлежусь еще за Быстрой. Там места хватит... Вот и давай без мельтешения, по душе, посидим...

— Не рви ты мне сердце, Марьюшка!

— Все там будем, Клавдюха, чего кричать... Помнишь, как застал нас с тобою дождик на Казанскую на покосах? Еще рассказала тогда про все наше с Михайкой... Увидела я — плачешь, поняла: втюрилась девка в моего кудрявог... Век молчала, хоть теперь скажу... Сама я его тебе отдала в бе-

лы рученьки, — знала: не будет ему со мной доли... Не по евонному плечу срублена... Сама и навела: живи, мол, девонька, радуйся... Да только виновата, не много радости принес тебе... Уж лучше б со мной этак-то, я хоть того стоила... Глядела я на тебя — сердце кровью обливалось... А кто в ответе? Я... Потому и пошла к тебе урыльники выносить. Голопузых твоих цацкать... Только тебе и невдомек сообразить тогда, что раба я у тебя добровольная... Да и когда тебе соображать-то было... День и ночь, как белка... Не в попрек я тебе, а чтоб знала: отработала Марья тяжести твоей часть.

— Прости меня, Марьюшка.

— Все грешны, Клавдоха. Все под Богом ходим... Ношу вдвоем терпели. Так ведь и радость у нас на двоих была... И вот у меня к тебе слово какое имеется... Уж не обессудь.

— Что ты, Марья? Мне ли...

— Коли приедет, кланяйся, скажи — поминала, мол, без злой памяти... Не мне судить его... Да и есть ли кому... Не он виноват, а кто — один Господь знает... Нету на нас ни на ком никакой вины! — Она вдруг напряглась вся, и дряблая отечность ее занялась недоброй, но вещей темью. — А чья вина, с того еще спросится, ой еще каким спросом спросится... А Михею кланяйся с добром... Пойду.

— Провожу, Марьюшка! Да и посижу с тобой. Совсем ты у меня больная.

— Незачем, кума, сама дойду. — Грузно поднимаясь, она оперлась о стол, и тот протяжно за скрипел под ее тяжестью. — Пускай кумы слободские и раз не порадуются, что Марью слабой видели... Нет, болезные, не утешу... Без слезы концы отдам, без голоса.

Марья двинулась к выходу, на пороге встала, будто обернуться желая, но вышла, не обернувшись, и враз и навсегда вынесла с собою что-то такое, чему уже не было сюда возврата.

XV

И последний...

Тишина, казалось, тщилаь раздавить одинокую ярангу долгим и густым снегопадом. Через дымовое отверстие снег проникал вовнутрь полога, оседал по расстеленным шкурам и не таял. Язычок спиртовки пугливо трепетал от любого, едва заметного движения, выхватывая из темноты то часть лица чукчи со злобным и настороженно косящим в сторону Михея угольком глаза, то вспухшие, в толстых шерстяных носках ноги Бондо, то тихие морды собак, устремленные в пространство.

С яростным напряжением вслушивался Михей в ночь, силясь выловить в глухой тишине хотя бы звук долгожданной поземки или, на худой конец, легкого дуновения, который помог бы им проскочить мимо контрольных пунктов. Надо же было, благополучно оттопав с приисков по лесотундре чуть ли не шестьсот верст, застрять в этой кожаной мьшшеловке в ожидании вьюжного ветра! Еды у них оставалось в обрез, но и бóльшую часть оставшейся Михей скармливал собакам: их сила должна была вытянуть его к цели. И не одного, а вдвоем с другом...

— Уже лучше, — Бондо явно заискивал перед ним, отчего Михею становилось тревожно и неловко, — совсем хорошо, шени джириме*.

* Шени джириме — твоя болезнь мне. Грузинская форма обращения.

— Горят?

— Совсем горячо...

— Три, три сильнее, отойдут... Должны отойти...

— Отойдут, — в лихорадочно блестящих выпуклых глазах грузина мельтешила искательность, — совсем мала осталась.

— Не сможешь идти — собаки вытянут.

— Сам пойду, вот увидишь.

— Уже рядом. В один переход проскочим.

Из своего угла подал голос каюр:

— Три упряжка не берет.

— Я пойду на лыжах, — недобро усмехнулся Михай, — двоих они возьмут.

— Два тоже не берет. — Уголек глаза чукчи зло вспыхнул в его сторону. Вспыхнул и тут же погас. — Шибко тяжелый наст.

— Тогда...

Михей осекся на полуслове: снежинки в кольце дымового отверстия уже не поржали, опадая вниз, а кружились еле заметной каруселью. У него захватило дух: началось! Он отдернул полог и сразу же почувствовал на лице зябкое дыхание сквозной тундры: ночь заполнялась нордом.

— Засупонивайся, — коротко бросил Михай напарнику, — кажется, зафартило. — И чукче: — Значит, говоришь, не возьмет троих? И двоих тоже не возьмет? — В ответ на вопрошающий взгляд Михея тот лишь отрицательно покачал головой. — Тогда иди впрягай...

Чукча, не спуская с него злобных глаз, подался к выходу.

— Шибко тяжелый наст... Заструги шибко много. — Двигаясь к выходу, он выталкивал собак в ночь. — Тагам, тагам, тагам!

Прежде чем выбраться из чума следом за проводником, Михай поторопил друга:

— По-быстроу, Боря, по-быстроу! Каждая минута в зачет!

После света, хотя и слабого, темь показалась особенно густой и неудобной. Легкий, но заметно крепчавший хиус* при каждом вдохе обжигал гортань. Где-то, прямо под рукой, тихонько повизгивали собаки. Михей выпростал из рукава малицы прикрепленный к ней электрофонарь, включил. Слабый лучик пробил темноту едва ли на расстояние вытянутой руки. В его тусклом свете скорбленная над упряжкой фигура каюра выглядела бесформенной и неподвижной.

— Скоро?

— Ждай мал-мал... Шибко холодно...

— По-быстроу, по-быстроу... Не копайся...

— Сичас... сичас...

Наконец тот выпрямился:

— Можна трогай, начальник.

Теперь чукча стоял лицом к лицу с Михеем, не отворачиваясь от направленного прямо ему в глаза света, и в острых зрачках его не теплилось ничего, кроме ненависти, — жгучей и пронзительной.

— Лезь обратно, — Михей легонько подтолкнул чукчу к чуму. — Живей!..

В черной щетине Бондо плутали слезы.

— Проклятье! — Морщась от боли, он натягивал на ногу полураспоротый уже унт. — Момад-загло!** Не лезет, черт!

— Давай помогу.

— Не надо, я сам...

— Смотри...

— Как будто все. — Бондо попытался встать, но едва ступни его коснулись пола, он коротко

* Хиус — морозное поветрие (диалект.).

** Ругательство (груз.).

вскрикнул и, неловко подвернув под себя локоть, боком завалился навзничь. — Шени деда...

На лбу грузина выступила испарина. Михей и раньше не заблуждался насчет шансов друга пойти своим ходом, но только сейчас с предельной ясностью осознал всю незавидность положения: если собаки лягут, ему придется выволакивать грузина на себе.

— Трех собаки не потянут. И двоих тоже. — Михей в упор глядел на чукчу. — Так, что ли? — Тот не отводил глаз, в которых не стыла долгая и обжигающая неприязнь. — Тогда, — ладонь Михея обхватила дустволку, — собаки потянут одного. Я пойду на лыжах. — Он взвел курок. — Дойдем с Божьей помощью. Отвернись...

Но каюр не шелохнулся. Казалось, в нем окаменело все, кроме неистребимой ненависти во взгляде. И Михей, словно задавшись целью не столько избавиться от ставшего ненужным проводника, сколько укротить, распять ее, эту самую его ненависть, выстрелил ему в переносицу. И, уже не сдерживая себя, повторил выстрел. Молча задул спиртовку и только после этого, подхватывая напарника под мышки, сказал:

— Не скрипи, скоро отлежишься: горы позади. Без него нам вдвое быстрее.

— Зачем? — отозвался Бондо и глухо повторил: — Зачем?

— Ты слышал: собаки не вытянут трех. Обопрись... Вот так... Осторожнее...

— Он догонит нас...

— Он уже никогда не догонит.

— Догонит, — хрипел у его плеча грузин, — везде догонит... На краю света догонит...

— Не будь пизоном, одним зверем меньше, зато душа на месте — не продаст. Здесь его ни одна ищейка не найдет. А нам — легче.

— Что он мог? Ничего не мог.

— Ему, брат, тундра что тебе Зеленый базар в Кутаиси, не успеешь версты сделать, как дозоры след возьмут. — Михей опустил его в нарты. — Ну, теперь дай Бог ветра. . . Завтра там будем... у печки... Тагам!

Ночь, прошитая гулким и колким снегом, развернулась навстречу упряжке, и Михей гнал сквозь темень, прочь от холода и воспоминаний. Ночная пурга определяла сейчас для него мир, и поэтому все впереди отлагалось в два цвета: черный — вокруг и белый — в самой близости. Иногда ему казалось, что нарты не движутся, стоят на месте, а мимо глаз, как в кинематографе, пролетает бешеной коловертью долгий, бредовый, нескончаемый сон. Если бы не едва заметные подрагивания на застругах, можно было подумать, что время замерло над ним, оставив его наедине с самим собой и наглухо сомкнутым вокруг него ледовым пространством.

Долгожданный норд, все усиливаясь, заходил наперерез упряжке. Обжигающая крупа уже не просто покалывала, а секла лицо, зябким ознобом стекая под крекер*. Пробежки между застругами становились шаг от шагу длиннее: собаки то и дело сбивались с ровного бега на прерывистый галоп, который в свою очередь сходил в еле ощутимый волок. И как ни понукал Михей, вожака, как ни обжигал собачьи спины плетью и остолом**, упряжка в конце концов легла, и поднять ее, не облегчив, было делом явно безнадежным. Мгновенно Михей прикинул, отбросил множество вариантов выхода из положения и остановился на одном — последнем.

* Крекер — меховой комбинезон (чукотск.).

** Остол — палка для торможения с железным наконечником (чукотск.).

— Слушай, — прокричал он в ухо Бондо, — тебе придется остаться. — И, предупреждая рвущуюся из того мольбу, зачастил: — Сам видишь, не тянут двоих... Останемся — обоим конец... А тут пустяк и осталось. Прикидываю, мы уже рядом... Один я в полсуток обернусь... Свободно выдержишься... Закопаться только надо... Не паникуй, Боря, не паникуй.

Казалось, горячечные глаза грузина поглощали темноту, пробиваясь к Михею, в душу к нему:

— Не бросай, Миша... Не бросай... Будь человеком!

— Пойми — не уйдем мы вдвоем... И что, на мне креста, что ли, нету, вернусь я... От самых приисков вместе, а здесь, у жилья под носом, брошу, да? И доля твоя с тобой... Чего боишься, вернусь.

Но глаза жгли, молили, не верили:

— Сам говоришь, рядом... Отсидимся... Ветер стихнет, и мы двинем нела-нела*... Не бросай, Миша!

— Чудачок, — Михей бежал его взгляда, но взгляд то и дело настигал его, — сказал, — в полсутки обернусь и вытащу. Пурга, сам знаешь, может неделю мести, пережди попробуй. Я и ружье тебе оставлю, и часы... Через полсутки смело пади, слушать буду.

Бондо не сопротивлялся, когда Михей, остолом вырубив для него в жестком насте неглубокую выемку, осторожно туда его укладывал:

— Ты здесь за милую душу, брат, высидишь, хоть неделю... Главное, не паникуй... Ружье под руку клади... Не паникуй... Я — одной ногой здесь...

* Н е л а - н е л а — тихо (груз.).

Но непослушные губы грузина все складывали и складывали еле уловимое и беспомощное:

— Не бросай, Миша... Не бросай... Будь человеком!

— Держи остол на попа, не давай завалиться, — не слушая грузина, Михей лыжей подгрребал к его лежбищу снег, — я конец пустой торбой обмотал... В случае чего зажигай... И главное — па-ли. Найду, будь спок, — обнадеживал он напарника, хотя уже знал и решил, что не вернется и не поможет: искать человека в тысячеверстной воющей пустыне было делом зряшным, если не гибельным. Но последняя ложь эта поддерживала в нем хотя бы иллюзию душевного равновесия, которое ему было сейчас жизненно необходимо, чтобы не запаниковать и не пропасть самому. — Лежи, брат...

Вдвое облегченная упряжка легко взяла с места, и еще одна жизнь легла между Михеем и его родным домом. Едва ли что-либо, кроме временной необходимости, связывало его с грузином, но сейчас, оставшись лицом к лицу с ночью и неизвестностью, он с особой остротой проникся ощущением своего, и теперь уже безнадежного, одиночества. И, словно преодолевая какой-то новый для себя душевный рубеж, Михей внутренне подобрался, обозначив свое состояние коротким плевком в пургу:

— Перезимуем...

Заструги снова давали знать о себе все реже и реже. Михею приходилось соскакивать в снег и вставать на лыжи, чтобы дать собакам передохнуть. Но подолгу держаться своим ходом не удавалось: ветер валил с ног уже после первого десятка шагов. Понимая, что долго ему так не протянуть, он, все же еще не терял надежды выйти к цели собаками, сбрасывал с нарт все, без чего

можно было теперь обойтись: торбу с остатками еды, спальный мешок, шкуры. И все же после примерно двух часов хода вожак лег и положил упряжку. Напрасно Михей мочалил об него хлыст и неистово колот остолом: собаки не встали.

Не один раз довелось Михею мысленно похоронить себя среди пути, прежде чем из утихающей пурги в чернильном полдне вышли ему навстречу дрожащие огоньки долгожданного жилья. И тут он остановился и перевел дух. Но — странное дело! — цель, которая еще минуту назад виделась желанной и обещающей и до которой оставалось не более полукилометра, не тронула его радостью. Давний, забытый было страх медленно, но неотвратимо обволакивал его душу, вызывая в памяти до крика отчетливые видения: босого цыганенка на палубе отплывающего парохода, деда Илью и одинокую женщину у мертвого причала Каспия. Нет, гиблая в своей основе душа его, жившая всегда только обидой и страхом и потому неспособная существовать более чем нынешним днем, отступила и тут. Долгое, навывлет пронизанное горькими сквозняками прошлое его вдруг показалось теперь Михею в сравнении с неизвестностью впереди ухоженным и обжитым.

И, уже не думая о том, что предстояло ему еще пройти, чтобы, отыскав по пути занесенного снегом Бондо, вернуться туда, откуда ему удалось с таким трудом вырваться, он повернул обратно.

И об этом, Михей Савельич, и об этом — тоже!

XVI

Как по морю
По синему, по волнистому,
Лебедь белая плывет
С лебедятами...

Нить текла у Клавдии между пальцем следом за песней, и ловкие петельки, нанизываясь одна на одну, выстраивались в узорные рядки вязания.

Вопрос Михея застал ее врасплох:

— Одна?

— Входи. Против окошка сядь, посматривай... Того и гляди кого принесет.

Искательно глядя на нее, он сел и тихо, чтобы только завязать разговор, поискал сочувствия:

— Выходит, один сын и есть у меня, Кланя.

— Семен нынче всем сын. Одно слово, Божий человек. Ему всех жалеть дадено.

— А я-то ждал...

— А чего ты ждал, Михей? Не в красный же угол им тебя сажать.

— И от тебя зябко стало. — Кровь вдруг прихлынула к его лицу. Губы гневно вздрогнули. — Потому ты их и собираешь тут, чтоб локти кусал, чтоб слезы твои за дверью у тебя собственными отплакал!

— Твоя правда — с умыслом, да не затем, зачем ты думаешь. Нет, Михей Савельич, совсем не затем. Не сжечь тебе душу, а отогреть хочу, до доньшка отогреть. И в них — тоже. Коли мы семьей не уживемся, тогда как же нам с чужими людьми в миру жить? Озлбиться легне, чем сократить себя перед другим, только теплее нам со зла никому не станет. Они на тебя ярятся, ты — на них, а кому выгода? Тешим нечистого — и больше ничего. Вот и хочу я, чтоб ожили вы от своего холода.

— Без них проживу.

— Без людей не проживешь, а они — люди.

— Зверей хуже — отца не признают.

— Признают, коли захочешь.

— Научи, Кланя.

— Терпи.

— Сколько же и терпеть-то! С люльки вроде только и делаю, что терплю.

— Малость еще надобно, Михей Савельич, ложись и смири сердце.

— Верю, только тебе и верю, Кланыя.

— Горький ты мой, я-то ведь не Свята Матерь, тоже терплю.

— Спасибо, Кланыя. И шел я к тебе, потому как знал: не оттолкнешь — примешь.

— Еще бы я тебя не приняла... Иди спи.

Михей ушел к себе, а Клавдия долго еще не могла взяться за спицы, все думала о том, почему именно на ее долю выпало распутывать хитроумный узел, каким завязала жизнь судьбу ее семьи.

И тут до слуха ее дотянулся тихий шорох берегового песка. Спадаая и вновь накатываясь, песок тихо, но неотступно напоминал о грозной работе моря, и она не устояла перед тревогой, которая вдруг властным холодом вошла к ней в сердце, поднялась и бросилась к двери Михеевой:

— Открой, Михеюшка-а!

XVII

Темное пятно на пороге росло, разрасталось, постепенно обретая черты и облик Семена:

— Здравствуйте, папаня.

Резкое пробуждение мгновенно подняло Михея с постели, и гулкая, давно уже не ведомая ему радость перехватила дыхание:

— Здравствуй, сынок... Сема... Узнал?

— Уезжаю я... Вот мама мне и сказала... Мне только и сказала.

— Спасибо, Сема, хоть ты не брезгуешь.

— Что вы, папаня! — Податливое чувству, с глубоко запавшими глазами лицо сына осветила мимолетная, но оттого еще более проникающая

стыдливость. — Как можно? Зачем вы такое думаете?

— Так я же слышу, сынок, все слышу! С утра до вечера душу грызут. А за что, за что, скажи ты, Божий человек?

— Трудно в неверии зло забыть.

— Ты забыл!

— Не забыл, папаня, а не помню.

— А они помнят? Почему? Разве не зло — зло помнить? Да и кто ж его знает, где оно, зло, а где добро, Сема?

— Зло, папаня, — острые скулы его пошли пятнами, — всегда возвращается к тому, кто его содеял, или к роду, племени его. В любом колене, но возвращается. В этот раз оно вернулось к вам же. Это — закон.

— Чей? Кем писан?

Семен опустил взгляд долу, сказал тихо, но внятно:

— Божий. Богом.

— Все на злобе стоит, — ожесточение цепко схватило и понесло Михея, — все на злобе замешено. Без нее расслабится человек, разомлеет, стечет в землю... Богом, говоришь! А ты влезь в мою шкуру, по-другому взвоешь. Что я, сам себе жизнь выбирал? Тогда за что я свои муки принял? Ты мне скажи, Божий ты человек, за что?

— Нам дана жизнь, папаня, а распорядиться ею мы сами вольны и по совести. Для себя жить еще не заслуга перед Господом.

— А я и для вас доли искал!

— Но ведь не нашли, а последнюю отняли. И совесть вас гложет, вот вы и злобитесь. И чем больше терзаться будете, тем тяжелее будет. Это все ваше к вам возвращается.

И тон, каким это было сказано, окончательно стер между ними подобие родства. И, будто фортку

в зимнюю ночь открыли, потянуло в душу Михея долгим сквознячком: младший тоже выходил против него. И тогда трясущимися от обиды губами сложил он:

— Так что мне, руки на себя наложить, что ли?

Не отвечая, Семен смотрел на отца, и в отрешенном взгляде его беспощадно увиделась Михею собственная участь. И он не выдержал, вскочил и метнулся в сторону сына.

— Выродок! Ползи с глаз моих! — Михей задыхался. — Мало таких, вроде тебя, я на веку своем передавил? Гнида церковная! — И то, что тот не вздрогнул, не шевельнулся, продолжая молча и спокойно стоять на пороге, только подхлестнуло вздыбившуюся в нем врозь. — Не будет вам этого! Не дождетесь. Десять раз по столько еще пройду, а жить буду. Ишь что удумал, душа толконная! Ползи, или не отвечаю я за себя!

Прежде чем повернуться к выходу, Семен мелко перекрестил отца, тихо сказав:

— Зря вы, папаня..

— Пададь!

— Живите как знаете..

— Раньше меня сдохнешь!

— Живите, коли сможете...

— Уходи, змей!

Михей, уже не помня себя, схватил табуретку, и она с грохотом разлетелась о закрытую за собою Семеном дверь.

XVIII

Уж кого Клавдия и не ждала в этот день, так это невестку. Анна вошла и, встав на пороге, коротко озадачила:

— Не ждали?

— Нет.

— Вы одна?

— Вроде того.

— Я на минутку.

Садясь, Анна не спускала глаз со свекрови, и ровная властность ее взгляда только лишней раз убеждала Клавдию, что деваха эта входила в коноплевскую семью всерьез и надолго.

— Скоро должны быть, — молвила Клавдия, сразу приобщая этим гостью к тайне, объединявшей семейный клан Коноплевых, — вот-вот.

— Надеюсь, и мне слово будет?

— Как всем.

— Тогда свое я скажу сейчас и только вам. Можно?

— Говори.

— Так вот. — Она, видно, заранее тщательно обдумала все, что хотела сказать, и поэтому речь ее потекла без единой запинки. — Меня абсолютно не волнует влияние его анкеты на мою будущность. Да и нет ни у кого права судить вашего мужа. Он должен судить себя сам, по своей личной мере, и чем честнее отнесется он к себе сейчас, будет зависеть, в конце концов, отношение к нему мое и моих детей. Цена ему та, какую он назначит себе сам, войдя в этот дом... Извините, вот и все.

Клавдия не ответила. Да и зряшными выглядели бы всякие разговоры в день, когда слово каждого из Коноплевых должно было стать только последним и перерешению не подлежащим. Так они и промолчали, уже не глядя друг на друга, до самого того мига, когда перед сошедшейся наконец семьей Клавдия не встала и не заговорила:

— Вот... Что за человек отец ваш, рассказала я вам, а чего запомнявала, люди доскажут. Только сколько бы кто ни рассказывал чего, все об нем знаю одна я, и никто больше моего знать не может.

Коли тепла он вам своего недодал, я за него с вами расплатилась втрое. Коли по вине его в жизни у вас не все ладно получалось, вину я с ним вдвоем делю. Коли хлеба он вам не доносил, я за него каждому из вас нашу с ним общую половину отдала. А за остальное с него Бог спросит. А обузою отец ваш никому никогда не был и нынче не будет... Об нем не ваша забота, — моя. Ваше дело малое — забыть обиду, будто ее и не было...

Вглядываясь в каждого из детей поочередно, Клавдия видела, чувствовала, знала: ничего они не забудут и не простят. И не потому, что действительно столько лет держали на отца сердце. Нет! Просто тронула их слабые души какая-то порча, что, разъедаая людскую суть, заполняет их тягостным и для них самих не объяснимым ожесточением. Дети ее лишь смирились, укрощенные собственными слабостями, но не сдались, и сломить их упорствующую память Клавдия так не смогла. И от этого речь ее, начатая твердой нотой, от слова к слову проникалась искательностью:

— Не хотите об нем — обо мне подумайте. Ни тепла, ни света не было на веку у меня. С зарей вставала, со звездой ложилась, а ведь я тоже живая душа. Вот ты, Полина, боишься одна остаться. Каково же мне было с вами без мужика, втрое горше, чем тебе будет. А легко ли мне, Андрей, ученье твое далось, не знаешь? Каких я полов не мыла, каких порток не стирала, каких огородов не переворошила. Так дайте теперь и матери вздохнуть. Вот и скажите слово, имейте сердце, мать ведь я вам. Родная-я!

Все, что они говорили после нее, не имело для Михея значения. И никто из них не сообщил ему чего-либо неожиданного, коротко, словно на переключке, откликаясь:

— Я уже сказала, мама.

— Я как Поля.

— А мне, мать, все равно.

Потом он услышал тишину, гиблую для него тишину. Рука его медленно потянулась к заветному месту. Большой палец привычно нащупал и отвел предохранитель, указательный охватил курок. И когда в опустошающей душе тиши Михей услышал быстрые шаги Клавдии, направлявшейся к его двери, он не выдержал. Все в нем вдруг загорелось, зашлось знойной болью, и он закричал, закричал по-волчьи, истошно и яростно:

— Ироды-ы-ы!

Михей мог уйти, вернуться туда, где за стеной лежала еще хранящая медвежьи углы для таких, как он, страна. Но уже на всем свете не было карантина не плоти — душе его. Где ему, испепелившемуся в самом себе слепцу, было ведать, что нес он в себе окольцованную, словно санитарным кордоном, ненавистью, смертную тяжесть так и не осознанной им хвори — хвори духа. Ее-то он и не вынес. И выстрелил. И все-таки перешел черту.

XIX

Через три дня, подогнав к моргу горбольницы полуход, Клавдия получила своего Михея добротно упакованным в некрашенный казенный гроб. С помощью полупьяного возницы и санитары она кое-как определила его на эту колымагу и повезла за реку, где загодя была вырыта ему могила. До последней минуты Клавдия все еще ждала, все надеялась: придет кто-нибудь. Даже когда они миновали хлебозаводский гараж, за которым блистал свалкой пригородный пустырь, она все еще оглядывалась: не догонят ли? Но по ту сторону утренний город досматривал последние сны, и ничей шаг не тревожил их.

Обернувшись в последний раз, Клавдия увидела там, внизу, на берегу, свой дом. Крыша его срезала кромку берега за ним, и поэтому сейчас отсюда виделось, будто он висит над самым морем, готовый в любое мгновение исчезнуть, раствориться в сияющей голубизне безбрежного простора.

И она окаменела. Она уже не шла, а только переставляла ноги по мягкой, прохладной пыли летнего утра. В ней словно бы умерло все, выгорело, все, чем жива была душа ее, осталось там, у нее за спиной, и никакая злоба или радость не могли бы вывести сейчас Клавдию из этого цепящего равновесия.

Возница пьяно клевал сплюснутым татарским носом, с которого свисала капля. Свисала, но не падала. В минуты просветления он бодро понукал своего истлевающего на ходу мерина, поглядывая при этом почему-то в сторону Клавдии. И тут же засыпал снова.

За день перед этим прогудел ливень, могила осела, и ее нужно бы расчистить. Возница заглянул ей в глаза:

— Пятерочку надо бы. — Наверное, он повторил это в который раз, пока не пробился к ее сознанию. — Оно, конечно, кормилец, горе-горькое. — И для куражу накинул: — Дела-а!

С ее пятеркой возница оборачивался, видно, не ближе, чем к областному центру, а вернулся с таким же пьяным колченогим мужичонкой, двумя лопатами и бутылкой самогону. Сначала они пили самогон, долго и нудно толкуя о чем-то между собой. Наконец колченогий взглянул в сторону Клавдии наспех посаженными косыми глазами и, приняв ее молчание за укор, полез в яму, угрюмо оправдываясь:

— Помирать вас много, а я один. — И уже снизу: — Помирать — все, а работать некому.

Расчистка производилась ими по очереди, с перекурами и обязательной выпивкой. Опускали они Михея, уже не ворочая языками, а потому чуть было не уложили гроб боком. А когда последняя лопата опустилась на холм, колченогий только и сумел связать:

— Опять же, опускали вдвоих...

Клавдия добавила еще трояк, колченогий даже удивился, что не обругали, икнул:

— П-помянем... Как з-зовут?

И через минуту оттуда, с дороги за кладбищем, к ней донеслось их пьяное и бессвязное:

Я люблю тебе, жись,
И надеюсь, што ето заимно.

Оставшись одна, Клавдия пала лицом вниз на свеженасыпанный холм и долго лежала так, без слез и воспоминаний. Там, под ней, медленно и бесшумно шла, гудела вещая разрушительная работа моря: рвались связи и поры, страшная неведомая сила корежила самую основу земли и то, что было сущего на ней. И над всем этим, как проклятье, слышалось истошное Прохорово:

«Ползе-е-ем! Ползем, кума, к чертям на закуску!»

Но здесь, как бы навстречу этому кричащему страху, выплыла и заполнила собою пространство праздничная мелодия колоколов: в единственной слободской церкви благовестили к заутрене. Перед торжествующей мощью вековой меди никли печали и беды слабого людского сердца.

И Клавдия встала и пошла, пошла, еще не ведая куда, но мир уже возвращался к ней звуками и красками земного утра, которое всегда исполнено ожиданием и надеждой.

БАЛЛАДА О САВВЕ

Лес позванивал и дымился. Тишина отстаивалась такая, что казалось, слышно было, как мхи расправляют изъябшие за ночь поры. В фокусе солнечных пятен стволы лиственниц словно бы струились вверх, и это их стремительное парение сообщало утру какую-то особенную, упругую прозрачность.

Едва выбитая тропа уводила Савву сквозь явственную эту благодать в чуткую полутьму чащи, и он шел и шел себе, безвольно подчиняясь ее замысловатым восьмеркам. Слева тянуло ровным, устоявшимся холодком: там за редколесьем тускло отсвечивала река. Разлив ее сливался с небом на том берегу, и оттого из леса виделось, будто она стоит ребром — ровная и беззвучная, как стена.

Тропа вдруг круто взяла в гору, а через минуту-другую Савва уже стоял перед хромой на все четыре угла, скитского обличья избой об одно окно по торцовой стенке. У порога, сидя на корточках, кудлатый мужик в длинном ватнике внакидку заскорuzлым пальцем помогал мурашу вытягивать к ровному месту сухую былину. При этом лицо мужика выражало крайнюю деловитость и терпение:

— Да нет, брат, ты ее на перекид возьми, а то ни в жизнь не потянешь... И вот этой стороной сподручнее... Эх ты, бедолага!.. Еще самую малость. — Он поднял на Савву большие прозрачные глаза и как ни в чем не бывало, словно продолжая уже начатый разговор, включил его в число собеседников. — Вот ведь какая кроха, а тоже животи́на, вроде человека — побольше ухватить норо-

вит... Вот и надрывается... Благо я его знаю. Вон к тому пазу приписан, а то бы ни в жизнь такую махину не доволок...

И по тому, как мужик сразу, без вступления, заговорил с гостем, и еще по этой вот приветливой доверительности было понятно, что все звуки леса чутко осязаются им и что гость у этой лесной избенки — дело для него привычное.

Мужик добросовестно довел мураша до родного паза и, только убедившись, что тот, слава Богу, дома, снова повернулся к Савве.

— Оттуда? — он кивнул в сторону леса. На жестком, резко обсеченном лице его блестящие, почти детские глаза выглядели чужими. — Знаю. Кирилл все знает. — Он заговорил о себе в третьем лице. — Кириллу сорока на хвосте все последние известия приносит. У Кирилла своя почта-телеграф... Садись на чем стоишь, будь гостем... Я не милиция.

Савва присел рядом и, пытаясь приноровиться к хозяину, спросил ему в тон:

— А закурить у Кирилла можно?

Тот ответил не сразу. Он не спеша вытянул из кармана ватника кисет, размотал, взял щепотью понюшку, самозабвенно втянул зеленую пыль в обе ноздри, вкусно чихнул дважды и неожиданно, без прежнего юродства, серьезно и просто сказал:

— Грех в лесу курить. Но уж ежели невмоготу...

— Потерплю.

— Угостись вот, — Кирилл протянул гостю свой кисет. — Опростай душу. Легше станет. — Он разглядывал Савву с обезоруживающей внимательностью. — Годы у нас с тобой уже не те, чтобы табачищем черту душу тешить... Я вот и так

уж, — он постучал себя по правой ноге, обутой в подшитый валенок, и нога глухо и деревянно отозвалась, — на первой группе сижу, на бессрочной... Только и название, что мужского полу.

Савва усмехнулся и подумал, что вид у него, наверно, не из весенних, коли этот сородич царя Гороха считает его своим одногодком, а вслуж спросил:

— А не боишься один-то?

— Меня, родимый, — Кирилл потемнел, и светлые глаза его чуть-чуть померкли, — гауптштурмбанфюрер Геккель на всю жизнь пугаться разучил. Больше евонного со мной никто ничего не сделал.

И в голосе и в тоне, каким это было сказано, сквозила такая горечь, такая неизбывная обида, что если Савва, еще минуто назад, несмотря на оглушающую усталость, избежал бы соблазна довериться первому встречному, вдруг проникся к диковинному старику:

— Может, отлежусь я у тебя в загахнике дня три. Сам знаешь, пока оцепление у реки не снимут, мне из этой мышшеловки не выбраться.

Кирилл пристально взгляделся в него и сказал со вдумчивой деловитостью:

— Вот что, паря, — у меня нельзя. Я у властей и так на заметке. Лечу, врачую, молитвами заговариваю. У районной амбулатории всю клиентуру отбил. Опium, так сказать, для народу... Но есть тут верстах в тридцати на зимовье баба одна — Васёна Горлова... Верная баба. Укроет хоть на век и куда хочешь выведет. У нее вашего брата перебивало — пропасть...

— Обидели, значит, крепко...

Кирилл сожалительно этак, словно больному, улыбнулся гостю и заговорил тихо, но убежденно:

— Обидели, говоришь? Так их ведь, обиженных этаких, вроде Васёны Горловой, считай, отседова до самого Нижневирска, хоть огороды города... Жалко, конечно, только где ж их для всех-то мужиков напасешься? Кто там, — он ткнул железным пальцем в землю, — кто там, — хозяин кивнул головой в сторону бора, за которым скрывалась цепь дорожных лагпунктов, — а кто по Расее рубля подлиннее да девок послаже ищет... Вот вся тяжесть и на них, на баб, а душу согреть негде... Не везет! Здесь и в рубашке родись — одна доля... Иная придет — ты ей все про божественное, а сам себе думаешь: «Господи! Как же вразумлю я ее, коли у нее душа неоттаянная?» Есть, конечно, такие, что прилепится к вере — все отдушина, — но только головой — не сердцем. И ходит в церкву, как в клуб...

Слова у Кирилла складывались легко и свободно, и было видно, что все сказанное давным-давно передумано им и переговорено, а поэтому и сомнению, даже самому малому, тут место заказано. Савва мог только позавидовать этой его вдумчивой уверенности в себе.

— Не обошлось и без Васёны. Приходила. До ночи толковал я. Самого себя, можно сказать, превзошел. Я, к слову будет помянуто, нижневирского архимандрита Никодима переговаривал, а здесь, чую, не в коня... Слушала, слушала... Встала. Глазищи чужие, жестокие: «Нету, говорит, от тебя, отец, облегчения, не обессудь». — «Что ж, говорю, нет так нету, укрепись духом и сама живи, от Господа не убудет. Коли своего тепла нету, никто не займет...» Больше не приходила... Да... На крепких ногах женщина...

Круглые, со светлыми хрусталиками Кирилловы глаза не мигая уставились гостю в переносицу, и, хотя лицо мужика сохраняло ровную стро-

гость, Савва почувствовал за этим его невозмутимым спокойствием еле уловимую задоринку, словно тот радовался этой своей неудаче.

Савва поднялся:

— На оцепление не наткнусь?

— Моей дорогой пойдешь — зверь и тот тебя стороной обходить будет.

Старик острым пальцем нарисовал ему на утоптанном предпорожье нужный маршрут, дал всмотреться и тут же стер.

— Вник?

— Есть выучка. Ну, пока, Кирилл, чем черт...

— Не гневи Бога, — строго сказал тот и добавил чуть добрее: — Сижу, как сыч. Раньше в миру маялся, теперь одному тяжко. С Богом, милый...

Уже спускаясь в чашу, Савва обернулся: Кирилл так же, как и давеча, сидел на корточках у порога избы и старательно рассматривал землю у себя под ногами, и непонятно было, то ли перевозил он к дому очередного мураша, то ли исподтишка смотрел вслед недавнему гостю.

II

Сначала выбежал и бросился Савве под ноги беззвучный ручеек. Потом лес стал расступаться, обнажив где-то впереди неясное, но шаг от шага все более и более темнеющее пятно. И вот, наконец, в спорых весенних сумерках явственно определился островерхий фронтон строения.

И хотя за день хода по мшистой целине Савва порядком вымотался и очень уж хотелось ему поскорее попасть в тепло, в домовитый покой, он против воли поубавил шагу, и сердце его тронуло знакомое всякому беглецу тревожное томление: что-то ждет его у жилья?

А навстречу Савве, на человеческий его запах, уже рвался глухой, с подвываниями собачий лай, и кто-то, — еще нельзя было разобрать, кто именно, мужчина или женщина, — стоял у порога.

Савва шел снизу, а потому сначала различил сапоги, потом — телогрейку и только после этого увидел, вернее догадался по платку, сдвинутому к самым бровям, что — женщина.

— Здравствуйте, мамаша! — как можно беззаботнее начал он, чувствуя у горла набухающий комок сердца. — Что это здесь у вас?

— Здоров, коли не шутишь! — неожиданно молодо ответила та. — База здесь!

Савва даже похолодел.

— Какая база?

— Ясно какая, — перевалочная.

— А вы — что?

— А я при ей.

— При ком «при ей»?

— При базе.

Ни о какой базе с Кириллом разговора не велось. Подвести под монастырь старик не мог, во всяком случае, судя по всему, не должен был. А там — черт его знает! Савва и не таким доверял, потом плакал, и как! Он еще потоптался немного и уже безо всякой, впрочем, надежды спросил:

— Не знаете, часом, далеко ли от вас Васёны Горловой заимка?

— А я и есть Горлова.

— Ну, тогда еще раз здравствуйте. Я от Кирилла.

Пропуская Савву впереди себя в темные сени, Васёна спокойно, словно всегдашнему гостю, сообщила ему:

— А я вот сумерничаю. Какое мое женское дело, да еще в лесу? Отвечеряла — и думай себе,

о чем думается. Раздевайся, — сразу перешла на «ты», — я мигом. У меня еще кулеш теплый.

В ровном свете семилинейки нехитрое убранство комнаты определяло образ жизни хозяйки. Справа от двери, чуть ли не половину всей площади, занимала печь. В печи маячила серая горка пепла, едва высвеченная изнутри затухающими угольями.

— И не боязно одной-то в лесу? — спросил он, лишь бы как-то завязать разговор, и сразу же поймал себя на том, что уже говорил то же самое Кириллу утром, и сразу смешался и обмолвился невпопад: — Это мне с непривычки, наверно.

И ему вдруг стало понятно, что это не они, а он, Савва, боится, — боится леса, погони, неизвестности впереди, — и оттого в душе его, в самой ее глубине, как бы возникла некая льдинка и уже не таяла.

— Везде живут, — охотно отозвалась женщина, — да еще и не хуже нашего. — Васёна поставила перед ним миску с теплым, отдающим горелой пшёнкой, кулешом и стала нарезать хлеб. — А зверь, так зверь нынче тихий пошел, все норовит стороной обойти.

Хлеб Васёна резала по-деревенски, с силой прижимая буханку к груди и опуская глаза вниз, и благодаря этому Савва впервые за вечер без стеснения рассмотрел ее.

Есть такие лица без особых черт, которым одновременно можно дать и тридцать и сорок. Они меняются в зависимости от множества причин: освещения, например, или улыбки, времени дня и даже наклона головы. Именно таким и виделось Васёнино лицо. Но было оно пронизано какой-то раз и навсегда обдуманной мыслью, каким-то особенным выражением, словно тронуло его изнутри, как тот пепел в поду, тихим, но долгим теплом.

И всякое ее движение, что бы женщина в данную минуту ни делала, исполнялось готовностью, словно бы и не она вовсе делала одолжение, а — ей.

Савва спросил:

— Что это у вас за база здесь?

Деловито обернув оставшуюся половину буханки в марлю, она отнесла ее в сени, потом вернулась, села за стол, разломила ломоть надвое, деловито ответила:

— Экспедиция... Тут, верстах в ста, в Хамовино. Ну, вот и ходят партии, оставляют всякую всячину. Все изба при деле. — Она придвинула ему чугунок с холодной рыбой. — Ешь, не стесняйся, у нас этого добра от пуза.

Савва только благодарно мычал в ответ, и вместе с тяжелым теплом его охватывала истомная дрема, состояние сладкого, одуряющего оцепенения, и, пожалуй, только в эти последние минуты перед сном он в полной мере осознал, вернее почувствовал, собственную усталость. Все плавало и кружилось перед глазами. А Васёна уже хлопотала над его постелью.

— Ночью в мою нору и лихого зверя не заманишь, а утром я тебя упрячу... Есть уже у меня один человек вроде тебя верстах в тридцати, на займке... Вдвоем оно веселее...

Сны ему снились легкие и неуловимые. Проснулся он лишь среди ночи по закоренелой лагерной привычке: закурить. Но, едва открыв глаза, почувствовал на себе изучающий взгляд. В комнате было жарко и сухо: печь только вошла в силу. Лампа над столом, сильно подкрученная, чуть потрескивала. Савва лежал на полушубке, бережно укрытый стеганым одеялом, а прямо против него, только выше, на лежанке, спала, а вернее не спала, но в упор, не мигая, глядела в его сторону хозяйка. Выражение лица у нее было мяг-

ким и как бы немного озадаченным, будто она открыла в нем что-то для себя новое и неожиданное. Савва следил за ней из-под приспущенных ресниц, и такая тоска, такая зовущая покорность рвалась из ее глаз, что он вдруг до зябкого холода в спине проникся, с каким же одиночеством в душе надо вековать век, чтобы вот так смотреть на случайного, а может быть и опасного гостя.

Встретившись с ним взглядом, она поспешно отвернулась к стене, а он, привстав, спросил тихо:

— Закурить у вас можно?

Она ответила глухо, но без смущения:

— Все мужиком пахнуть будет...

— Давно нету?

— Давно. Был, да сплыл... Попил водички, да и пошел себе... А я не виню... Что винить? Сама, значит, виноватая. Не сумела любой стать... Дитёв только жалко. Безотцовщина...

— И много?

— Двое их, один другого лобастей. — Сказала и тут же пояснила: — У бабки в Хамовине... Школа там — семилетка.

— Да-а...

— Вот и живу...

Ему захотелось вдруг сказать ей что-нибудь такое, чтобы стало у нее капельку боли меньше на душе, а слова пришли пустые, зряшные, из тех, которые с самого краю:

— Лета-то еще какие...

Сказал и сразу же пожалел о сказанном. Женщина резко повернулась к нему, и усталые глаза ее окрасила горечь.

— Ты их, годы-то мои, мил человек, на один по три считай. Мне, думаешь, легче твоего было? И утешать меня — зряшная работа, сам Господь Бог проторгуется. Вон у нас под Брусничной балкой утешитель — Кирилл этот самый — не чета

тебе, и то отступился... И-и, да что тебе о моей соломённой доле известно? От Бога и то хоронюсь... Здесь, в избе, и половицу непроплаканную найди... И-и! Давай, мил человек, спать. Во сне-то оно спокойнее...

Стекла едва начали синеть, проявляя на фоне черного неба суставчатую вязь ближних лиственниц, когда Васёна подняла гостя:

— Пора, однако...

А через полчаса она уже шагала впереди Саввы, — высокая, размашистая, в мужской брезентовой робе, заправленной в резиновые, выше колен, сапоги. И лес почти беззвучно расступался перед ней.

III

Пламя под чугуном обвивало его прокопченное дно, и зубчатый венчик несильного костра освещал заброшенное зимовье тихо и ровно. Собрав им еду и кое-какое старье для спанья, Васёна ушла, и Савва остался один на один со своим напарником. Тот молча смотрел сквозь огонь маленькими блестящими глазками, уткнув подбородок в острые коленки. Такие глаза Савва видел у одной домашней обезьянки: в них отстаивалась лишь грусть — грусть ровная, глубокая, давно определившая свое отношение ко всему. Савве стало не по себе, и чтобы хоть как-то разрядить ставшее уже неловким молчание, грубовато спросил:

— Давно отлеживаешься?

Парень не ответил, а только туда-сюда мотнул головой и цокнул, как это делают все лагерные южане, когда хотят сказать «нет».

— С Кавказа?

Утвердительный кивок был ответом.

— Да ты, брат, не из разговорчивых.

— Зачем? — тихо-тихо пошевелил парень губами.

— Что — зачем?

— Разговаривать.

— Ну все-таки... Веселее вроде...

Тот в ответ лишь чуть-чуть опустил уголки бескровных губ, но так это было горько сделано, что у Саввы отпала всякая охота к беседе. А парень продолжал безмолвно смотреть сквозь огонь, и, наверное, одному Господу Богу было известно, чего он там видел, в огне...

.
А было так: где-то между Невинномысской и Прохладной проводник бакинского скорого подобрал в тамбуре татарчонка лет пяти. В Прохладной он сдал его в железнодорожную милицию, а оттуда найденьша доставили в местный детприемник.

А еще было так: дежурный воспитатель Муха брезгливо оглядел дистрофическую фигурку татарчонка, поиграл лопатистыми скулами, спросил:

— Фамилие?

Мальчишка, почесывая — одна о другую — панцирными, в цыпках, ногами, молчал.

Дежурный воспитатель Муха страдал астмой и геморроем, дежурный воспитатель Муха крайне не уважал строптивости.

— Куда пришел, а? К теще в гости пришел? Или к попу на заговенье?.. Убери пузо и встань передо мною по уставу... А?

Испитое шишковатое лицо Мужа зло просулось книзу:

— Ты что, непотопленное котя, а? Или щенок приبلудный? Как зовут в полном смысле спрашиваю!.. Кто мать? Кто отец? Пушкин?

Тот снова почесал панцирными ногами одна о другую и стрельнул мышинным глазом в угол. Все

в нем — тонкие, в коросте и цыпках, ноги, круглый висячий животик, лобастая не по росту голова и даже это вот мышшиное постреливание глазами в угол — вызывало в дежурном тягостное недоумение.

— Бесфамильный, а? Эх ты, ходячее брюхо! Сколько вас, — и всех подбери, и всех одень, и всех накорми... Я бы вас... Гм... Вот тебе от меня фамилия на долгую и незабвенную... Носи — не сносить.

Муха многоречиво шевелил изжеванными губами, вцарапывая в регистр: «Пушкин Александр Сергеевич». Потом подумал несколько и поставил точку.

А дальше было так: то, что еще совсем недавно существовало комком нервов и нехитрых желаний — есть, пить, спать, — получило неожиданно свое определенное в миру место, замкнутое в круг тяжкой, как проклятие, фамилии: Сашка начинал жить. Сашка становился частью огромного целого. Теперь он был не сам по себе, а вместе со всеми. И все — природа, люди, вещи — вступили с ним в прямое, имеющее магический смысл касательство. Раньше ему кричали: «Эй!» Теперь строго окликали: «Пушкин!» «Сашка!» — звали его. «Пушкин Александр Сергеевич» — писали о нем в исходящих и нисходящих. Он неожиданно проникся острым ощущением своего присутствия среди людей.

Но в имени, данном ему, крылся — о чем мальчишка со временем догадался — какой-то тайный подвох. Люди, с которыми ему доводилось сталкиваться, произносили его фамилию, нехорошо усмехаясь. Сашка именно так про себя и определял — «нехорошо». Ребята задирали его: «Пушкин! Он же Сидоров, он же Иванов, он же пайку украл, он же на работу не вышел!», «Пуш-

ки-и-и-ин!» И они смеялись. Смеялись со сладострастной злостью.

И Сашка бежал этого имени, бежал от детприемника к детприемнику, от колонии к колонии, от горизонта к горизонту, бежал, пока дорога не вывела его к морю, и здесь он остановился и передохнул.

.

Сашка лежал, по грудь зарывшись в береговой галечник, и глядел в небо. Небо нависало над Сашкой всей своей чистотой и бездонностью, и ему казалось сейчас, что он летит туда, в головокружительную синеву, и море у его изголовья опрокидывается следом за ним.

За весь июнь это был, пожалуй, первый понастоящему солнечный день на побережье. Еще вчера над морем и городом ползли низкие, с равными краями облака, осыпая землю и галечник теплым, чуть горьковатым дождем. И темное море, вздымаясь, грузно опадало на осклизлые камни береговой дамбы. Тогда Сашка почти не выбирался из своего логова на чердаке городской уборной. Голод, правда, выгонял его изредка под дождь, но, едва обежав три-четыре дома, где ему всего охотнее подавали, он уже мчался обратно. Зато сейчас, вознаграждая себя за долгий пост, Сашка бездумно падал в синеву, и собственная жизнь с этой головокружительной высоты виделась ему стоящей и значительной.

Гольши остывали на нем, он менял их. Гольши остывали, он менял. Гольши Сашка выбирал самые темные и крупные: в них было больше тепла. И тепло почти не проходило. Пронизанный им, Сашка падал, падал, падал, и оглушающая синева шла ему навстречу, и в ней можно было думать и думать, не боясь, что тебя перебьют.

Всю жизнь, сколько Сашка себя помнил, его отгораживало от остального мира что-то вроде заколдованного круга. Никто как будто бы и не показывал на него пальцем, но каждой порой своей кожи он чувствовал мучительную пустоту вокруг себя. А как Сашка мечтал, как исступленно, почти до бредовых кошмаров, мечтал проснуться однажды, подняться, расправить плечи и просто пойти вместе со всеми, просто пойти — и все. И чтобы люди шли рядом и не замечали Сашку: толкали, смотрели ему в глаза пусто и невидяще, так, словно его и нет вовсе, и шли бы себе дальше своей дорогой, тотчас забыв о нем. Сашке хотелось стать таким, чтобы не выделяться среди других, ходить рядом со всеми, может быть где-нибудь с самого края, но — рядом...

Шуршание галечника ворвалось в Сашкину тишину, и мир сразу же вплотную придвинулся к его глазам.

— Что это еще за голова сфинкса на пустынном берегу? В компанию примешь, сфинкс?

Рыжеволосый парень стягивал с себя пеструю распашонку, поигрывал полосатой, темно-красного оттенка грудью, необидно при этом посмеиваясь в сторону Сашки. И видно было, что нравится рыжему стоять вот так — подставляя крепкое тело цвета меди морскому дыханию, — и стягивать с себя на ветру пеструю распашонку, и безо всякой обиды улыбаться Сашке. Парню, видно, было же жалко этого. Этого у него было достаточно. На сто лет, во всяком случае. Если не больше.

Обычно снисходительность только настораживала Сашку: кто знает, чего от него хотят? Но рыжий излучал какую-то особенную веселую доверительность, и Сашка проникся ею, и что-то в нем отошло, оттаяло, и он ответил, правда без излишнего восторга:

— Море не мое...

— Это ты прав. Но ведь мы же джентльмены, не правда ли?

Слово Сашка слышал впервые, но на всякий случай согласился:

— Угу.

А парень уже падал в воду, взлетал над ней блистающим багровым телом и снова падал, и в каплях стекавшей с него воды преломлялось раннее солнце. При каждом взлете этого как бы струящегося тела Сашка невольно делал движение, словно пытаясь стряхнуть с себя давно остывший галечник и броситься в воду, но вместо этого еще глубже зарывался в него: он совестился себя и — ко всему — не умел плавать...

— Давай сюда-а-а!..

— Не умею-ю!..

— Я научу-у-у!..

— Не-е!..

— Да ты же каменны-ы-ый!.. Я и забы-ыл!..

Голос рыжего взлетел над морем густо и празднично.

Растягиваясь на галечнике рядом с Сашкой, он долго и вкусно отфыркивался, потом спросил:

— Чем занимаешься, сфинкс, так далеко от Египта?

В другой бы раз Сашка сплел целую историю со слезой о тете да дяде или о другом каком-нибудь дальнем родственнике, к которому он приехал от нелюбимой мачехи, — ненависть к детприемникам научила его этому, — но сейчас, лежа около рыжего, почему-то не смог, не сумел покривить душой:

— Бомблю*.

— Свистишь?

* Бомбить — нищенствовать (жаргон.).

- Ей-Богу.
- А я проверю.
- А как?
- А очень просто: Турка знаешь?
- Турка? Как облупленного. Щипач*.
- А Серого?
- Тут бери выше: стопорила**.
- А Грача Николу?
- Грача?.. Николу, говоришь?.. Не, не знаю...

Не слышал.

- А говоришь — бомбардир.
- Чем хочешь побожусь.
- Бомбардиры все знают.
- Я и знаю, только, сукой буду, про Грача не слышал... Может, залетный какой?
- Залетный, это точно. Нужен он мне до за-
резу.

Сашка насторожился: не обошлось бы себе дорожке. Он знал крутые законы своего мира.

— А зачем тебе? — он исподлобья, подозрительно взглянул на рыжего. — Может, ты опер?

Парень со спокойной веселостью выдержал его взгляд и обезоруживающе ослабил:

— Брось травить, мальй. Не хочешь — не надо, я и сам его нащупаю. Время вот только уходит. Верное дело горит.

— Все так говорят, а потом за рога и в торбу.

— Я же тебе толкую: не хочешь — не говори.

— А мне что, я его все равно не знаю.

— Без ксив*** живу, а то бы я его и сам нашел.

Мне в городе нельзя фотокарточку показывать.

Сашка чуть оттаял: уж больно по душе пришелся ему этот рыжий в цветастой распашонке.

— Дело, значит?

* Щ и п а ч — карманник (жаргон.).

** С т о п о р и л а — грабитель (жаргон.).

*** К с и в а — документ (жаргон.).

— Ага.

— Ты же всех знаешь. Я тебе могу любого свистнуть. И Серого, и Турка...

— А, шпан! Разве им по зубам...

— Так ведь у них спросить легче. Они-то уж верняк всех залетных знают.

— Ненадежный народ. В случае чего сразу расколются и меня за собой поволокут. Тут другой человек нужен. Незаметный и свой. Все-таки, может, возьмешься, а? Такие, вроде тебя, не продают. У меня на людей нюх есть.

И как Сашка ни силился укрепиться в своем почти врожденном недоверии ко всяким расспросам, как ни «давил в себе пижона», не выдержала-таки затянутая страхом душа его этого натиска дружелюбия.

— Ладно, попробую... Только я ничего такого не сулил. Сказал «попробую» — и все... И смотри, мальй... Сам знаешь, чехты мне тогда...

— Да век мне свободы не видать. — Парень вскочил и заторопился, стал одеваться. — Объявляй перекур на сегодня в своей общественно полезной деятельности по очистке выгребных ям. Вот тебе червонец. Пей, ешь — не хочу! Двигай на Зеленый базар! В случае чего хата у меня на Первой Береговой, двенадцать, свистнуть Петро. Запомнил?

— Ясно, запомнил! — вскакивая, крикнул Сашка уже вдогонку рыжему. И, комкая в кулаке дареную десятку, добавил уже от себя: — Что я, смурной, что ли!

Он смотрел, как Петро легко, с подчеркнутой молодцеватостью, одолевает крутую тропу в гору и пестрая распашонка, отдуваясь сзади наподобие паруса, трепыхается на ветру, и в душе его постепенно просыпалась та особенная весенняя лег-

кость, какая бывает свойственна только именинникам и выздоравливающим.

.
Лес за стеной был полон шорохов и шумов. И тем томительнее и нестерпимей становилась с каждой минутой тишина здесь, под крышей. А костер все пел и пел свою неслышную песню, а парень все вглядывался и вглядывался в огонь. Савва не выдержал:

— Ты хоть сказал бы, как зовут, а то, что ж, я тебе «эй!» должен говорить?

— Сашка.

— О чем ты думаешь, Сашка? От дум, говорят, вошь заводится.

— Просто так... Ни о чем...

— Тогда потолкуем лучше... Что ж сидеть? Ведь этак и взвыть можно от скуки.

— О чем?

— Что «о чем»?

— Толковать.

— Ну... так... О том, о чем... Время скорее пойдет.

— А зачем?

— Что «зачем»?

— Скорее...

— Да, брат, тебе только разговорником в филармонии служить... Завалюсь-ка я лучше...

Но и засыпая, Савва не слышал ничего, кроме лесного шепота.

.
— Облава-а-а-а!

Это была облава что надо. Таких обычно приходилось не больше трех на год. Базар стали прочесывать сразу с четырех сторон. Схваченных загоняли в угол двора, оцепленный для этой цели веревкой. Оттуда разносился по всему базару раз-

ноголосый галдеж. В толпе кружились барыги, рассовывая свой товар куда попало, лишь бы с рук. Стреляя по сторонам оголтелыми глазами, мимо Сашки прошмыгнул Толя Карась:

— Рви когти, шкет, — забарабают!

Только тут Сашка пришел в себя от оцепенения, какое сковывало его всякий раз в минуту панического замешательства. Прятаться — это он знал по опыту — было бесполезно. Прятаться — это для барыг и пижонов. У него про запас имелся надежный вариант. И Сашка, опрокинув по дороге чью-то кошелку с хурмой, бросился своим излюбленным маршрутом — через проход мясного ряда — прямо в проем между скобяной лавкой и промтоварным ларьком. Там, в углу, плотно прижатая к забору, стояла старая железная бочка из-под керосина. Следовало вскочить на нее, подтянуться, перекинуть себя через забор и спрыгнуть в пыль поросшего ажиной пустырька.

В три привычных движения он оказался по ту сторону забора, но, повиснув, сначала все не решался спрыгнуть — почему-то впервые показалось высоко, — а когда наконец решился, то в падении, верно от волнения или по неловкости, упал на бок. Рука локтем подвернулась под ребра, что-то явственно хрустнуло, и в это мгновение короткая, удушливая боль ожгла Сашку с головы до ног. Он попробовал было подняться, но тут же свалился вновь и пополз в ажинник, и вместе с ним, в такт каждому его движению, ползла его боль.

Там он и пролежал до темноты, боясь шевельнуться и цепеная от страха. О том, чтобы добратся до своего логова на потолке городской уборной, нечего было и думать. Да и добравшись он все равно не смог бы залезть туда. А крикнуть прохожего — это значило: прощай воля. Впервые, наверное,

в жизни Сашка почувствовал смерть близко-близко — почти у самого лица. И так заглодело вдруг его сердце, так зашлось, что, если бы не еще больший ужас перед милицией, он бы завыл в голос, завыл, заголосил, словно брошенный щенок.

Но когда наконец боль поутихла и Сашка снова обрел звездное небо над собой и услышал море, — там, за пустырем, внизу, — Сашка мысленно представил себе добрую зеленую воду под рукой, целительное тепло галечника, и море под обрывом стало звучать для него как спасение

И он пополз, пополз рывками — от одного сто-на до другого, и только единственная мысль утвер-дилась и жила сейчас в его воспаленном мозгу: «К воде... К воде... К воде...» Он верил в море, он надеялся на него. Уж кому-кому, а ему-то допод-линно было известно, что оно доброе, море. И оно — для всех.

Сашка пополз к самому краю откоса и загля-нул вниз. Круги плыли перед глазами, и сквозь их радужную оправу он разглядел звездную воду и вдохнул йодистый запах морского ветра и всем существом своим почувал: спасен. И тогда послед-ним, как выдох перед кончиной, усилием Сашка перекинул себя через кромку обрыва и вместе с лавиной песка съехал по откосу, уже не ощущая ни боли, ни собственного крика...

.
— Слышь, браток!.. Что ж, как говорится, ты стонешь всю ночь одиноко, что ты оперу спать не даешь! С похмелья, видно... Вот на, хлебни, потом окунись — легче станет... Пей, пей! — Бесформен-ная тень надломилась над Сашкой, и сразу перед ним выплыло худое лицо, на котором прогляды-вались только выпуклые, с белыми яблоками вну-три глаза. — Не жалко.

Бутылочное горлышко с острым запахом чачи коснулось Сашкиных губ. Сашка отвел голову, выдавил:

— Ребра... В ребрах хряснуло... На облове... Лицо отпрянуло, и на звездном фоне аспидного неба возник сразу ставший четким силуэт:

— И везет же тебе, Вася! Шел к Авдотье — вышла тетя... В общем, что же она, сволочь, говорила, что она в ателье работает... Эх-эх-эх... Ты тоже гусь недорезанный! Куда я теперь тебя? За пазуху? Бросил бы, да греха боюсь...

— Отлежусь у воды...

— Во-во, курортник! Москва — Сухуми, мягкий вагон... «Вам с сахаром?» — «Мерси вас!» В общем — «там море Черное ласкает взор...» Бомбардир, верно?

— Ага...

— Вот тебе и ага! Опять же мне с вашим братом связываться не положено. Я — в законе, а ты бомбардир, вник? В общем, «я сын известного подольского партийца...». В приемник, понятно, тебя даже армянским в пять звездочек не заманишь, по себе знаю... Значит, в больничку никак невозможно? А то бы Маруся расстаралась: у нее ксивота в ажуре... Ладно, братва братвой, а Господь Господом: почешут языками и заткнутся. А нет — я сам заткну... Ну-ка...

Он подсунул под Сашку руку и стал осторожно поднимать. Сашка проскрипел:

— И чего тебе от меня... Говоришь ведь: в законе... А я и сам до утра отлежусь... Я здесь одному фельдшеру песок сгружал. Он подлечит... Брось...

— Он тебя подлечит... В милиции... Они все добрые, пока им водопроводную трубу в зубы не сунешь... Враз перекусят... И не трепыхайся. Трепыхнешься еще раз — и чехты тебе... Вник? Я,

дорогуша, как вологодский конвой: шаг влево, шаг вправо — считается побег... «Огонь!» И чехты... То-то...

Слова бездумно плыли рядом с Сашкой, и Сашка сам плыл в ночь, в звезды, в тепло.

Там, где, по мысли, должна была находиться ложа второго яруса, между ржавых ребер обнаженной арматуры, текли облака. Сашка лежал на спинке от автосиденья, чутко вслушиваясь в сумрачную тишину сквозного театрального остова. Если бы Сашке еще вчера сказали, что ему, безвестному горскому бомбардиру, которого и за человека-то никто не считал, доведется побывать здесь, он бы воспринял это как издевку. В недостроенное да так и брошенное еще до войны здание театра доступ имели только старожилы бродяжьего воинства, тем более в одну единственную крытую ложу — святая святых воровской знати. Сашка и верил и не верил подвалившему неожиданно фарту. За несколько лет своих путешествий татарчонок выработал в себе чисто собачье отношение к переменчивости судьбы: получая кусок, он уже заранее был готов, что его тут же отнимут. И поэтому, лежа сейчас здесь, Сашка все ждал, когда же наконец с ним перестанут цацкаться и выбросят вон...

— Что, брат, несладко? — хрипел над Сашкой безногий бомбардир Васюта Шухер, туго обтягивая его бинтами. — Терпи-и-и... Мне вот ноги пилили, и что? — ничего... А то подумаешь, три ребра!.. Плевое дело!.. Вроде слона муха укусила, а он не помер... Повернись маленько... Вот так... Я три года в окопах санитарил. Всякого нагляделся... Подымись малость... Вот так... Бывало, тащу бедолагу, а у него кишки по земле тянутся, хоть на кол наматывай, а глядишь, через месяц-другой

цел-целехонек — и сызнава: «Впере-е-ед!» Людская тела — она такая, покуда смертную жилу не перережут, живе-е-ет!.. Помню... В прошлом, сорок шестом годе...

Из театральных сумерек, сразу закрывая собою кусок облачного неба и вязь обнаженной арматуры, к Сашке придвинулось знакомое большеглазое лицо.

— Да, батя, — большеглазый легко отодвинул Шухера, — с тобой на кладбище не заскучаешь. Ты бы ему еще про «Тайны парижского морга» позвонил... Эх, Шухер, Шухер, ушибло тебя, милый, твоим Красным Крестом. — Он небрежно и вроде бы даже стесняясь сунул Васюте горсть скомканных бумажек. — За визит, так сказать...

Тот сделал обиженное лицо:

— Грач!..

— Бери, бери... Каждый делает свои деньги. Я ж тебя в дело не приглашаю...

Шухер хозяйственно, по-крестьянски, разгладил на культияпке каждую бумажку в отдельности, сложил их стопкой перед собой, свернул трубочкой и только после этого бережно пристроил за подкладку засаленной фуражки.

— Ползи, ползи, попрыгунчик... Смело, товарищи, в ногу...

Васюта, двумя держакками упираясь в пол, стал споро, почти молодецкато перекидывать свое грузное, но уверенное тело в глубину ложи — к выходу. А у Сашки яростно, до горького кома в горле, задергалось сердце, глухим шумом отдаваясь в ушах: «Грач... Грач... Грач... Так вот ты каков, знаменитый по всему Кавказу Грач!»

А тот, посмеиваясь, тряс перед ним туго набитой авоськой:

— Ешь — не хочу!

Сашка впервые видел вблизи столько еды сразу. С самого низу попеременно с помидорами из синих авосечных ячеек торчали огурцы и сухие хвостики репчатого лука. А над всем этим великолепием громоздились лепешки, подпирая собою банку настоящего мацони с золотистой корочкой поверху. Сашка вздохнул почти с благоговением:

— Да-а...

— Вот тебе и «да-а», — передразнил его Грач. С привычной беззаботной легкостью он творил бродяжью закуску, лихо орудуя дешевеньким перочинным ножиком, и при этом щурился и улыбался, словно любясь своею ухватистой ловкостью. — С Богом! — Занятый едой, он то и дело поглядывал на Сашку и коротко усмехался и подбадривал: — Жуй, жуй... Витамины, брат... Сила...

Сашка исподтишка рассматривал Грача и про себя удивлялся этому странному человеку. Те из воров, кого он встречал раньше, даже если и не отличались цеховой замкнутостью, так или иначе вносили во все вокруг себя дыхание какой-то темной, необъяснимой для него тяжести. Этот же сидел за едой, доверительно потчевал первого встречного, да еще и бомбардира, смачно хрустел луковицей и бесхитростно посмеивался, словно и не по нему вовсе тосковала вся линейная милиция от Туапсе до Батуми.

Сашка сказал:

— Меня здесь один про тебя спрашивал.

Грач заметно потемнел. Серая, жесткая кожа стянулась на острых скулах:

— Он что — из кружка любознательных или писатель?

— Дело, говорит, есть.

— Он считает, что я пижон...

— Да нет...

— У него есть дело, и он предлагает его мне через случайного бомбардира? Таким мудрым гусям надо рвать не головы, а лапы, чтобы они не двигались и больше думали... Пададь! Так-таки и меня?

— Сказал: «Грача».

— А сорока ему не нужна? Есть на примете...

Сашка обиделся:

— Ну, ей-Богу же!

— По почерку видно — пес.

— Петро зовут... Хата на Береговой... Дом двенадцать... В стильной рубашке... Рыжий...

— Рыжий! Их знаешь сколько, рыжих? Как рыжий, так и опер.

Грач сопротивлялся, но по рассеянной задумчивости ответов да еще по вспышке сухой, хищной искры в глазах, ставших сразу чужими и отсутствующими, чувствовалось, что от слова к слову недоверие его гаснет, уступая место профессиональному азарту:

— Грубая работа, гражданин опер...

— Не похоже...

— Не похоже! А потом за холку и в торбу...

— Меня пусти для затравки...

— Одной ногой в гробу, а туда же... Эх, гроши нужны позарез... Живу почти на подножном... Не привык... Я везучий. Мне фарт сам в руки идет... Может, пощупать гуся? А? Может, несется гусь-то?

— Я бы...

— Это, брат, моя забота. Втравить лишнего — не мой почерк. — Грач криво усмехнулся. — Бось, спутают... Так где, говоришь, хата?

— Береговая, двенадцать. Петро зовут.

— Береговая, двенадцать... Береговая двенадцать... Это где же?

— Почти под самым морем. За стадионом два квартала... Пусти для затравки, Грач... Мне что? Мне — ничего. Я выносливый.

— Лежи, мальй. В другой раз. Я еще из тебя сделаю человека. Век свободы не видать! Для затравки я найду шкета. Я ведь тоже битый.

Грач отошел в глубину ложи, опустил на корточки, вынул из стены два кирпича, вытащил оттуда предмет, аккуратно обернутый чистой бязью, и стал бережно разворачивать, а когда выпросталась вороненая, с матовым отливом смерть, он любовно покачал ее на ладони и тихо, как бы даже со сладострастием, проговорил:

— Почистимся, милый... Выноси еще раз...

Сумерки густого, чернильного цвета выдвигались из всех щелей и провалов театра. Наползая от задней стены партера на амфитеатр и ложи, сумерки заполняли Сашкину душу вязкой, хотя еще и осязаемой, как далекая гроза, тревогой.

.

Савве снился сон: огромная черная баржа, похожая на ту цельнометаллическую, в которой его везли в енисейские низовья, движется руслом мелководного — утке по колено — ручья. Жуть ее целеустремленного движения передается Савве, и он, пронизанный этой жутью, весь в ожидании чего-то страшного и непоправимого. И оно, это ожидание, вдруг оборачивается перед ним пустынной свинцового оттенка, гладью без конца и края. Только остров, одинокий остров впереди. Остров, увенчанный молчаливой громадой церкви. Савва замирает в оцепенении. И тут навстречу ему выплывает лицо старухи туркменки — точь-в-точь встреченной им во время войны на палубе санитарного пароходика где-то между Красноводском и Баку, беззубой, с огромными, слезящимися в трахоме глазами. Старуха протягивает Савве луко-

вицу (так же, как и тогда), шамкая одно лишь знакомое ей русское слово: «На... на... на...» А церковь все надвигается на него, все надвигается, церковь с огромными слезящимися глазницами старухи туркменки. Савва хочет крикнуть, крикнуть от цепкого холода под сердцем, но крик комом застревает в горле...

Проснулся Савва в холодном поту. Костерок давно сник, и лишь красноватые блики тлеющих угольев еще скользили по стенам и тихому Сашкину лицу. Сашка спал. Но спал все так же, уткнув подбородок в острые коленки, со сцепленными у щиколоток руками, и выражение лица у него было таким, словно он только что получил ответ на самый главный, самый важный для себя вопрос и сейчас раздумывает над ним, этим ответом, в мучительнейшем сомнении.

.
Грач, прежде чем решиться, еще покружил, полазил вокруг Береговой недель около двух. Уже после первой отсидки он взял себе за правило: работать только наверняка. Ему, как саперу, нельзя было ошибиться дважды. А когда он наконец пошел, Сашка-таки не выдержал — незаметно увязался следом.

Сидя в ажиннике под берегом, Сашка видел, как Грач поднимался в гору тою же тропой, что и рыжий в памятное для него утро. Вор шел медленно и как бы нехотя. Часто останавливался, оглядывался вокруг. Один раз даже сделал движение вполоборота, словно раздумывая: не повернуть ли назад? Эта его неуверенность внезапно передалась Сашке, и он почувствовал, как у него начинают потеть руки и спину сводит тревожная истома. Если бы не преклонение перед авторитетом Грача, он, наверное, закричал бы сейчас, за-

кричал бы благим матом: «Верни-и-и-ись!», «Верни-и-и-ись!»

Но тот уже добрался до вершины, и никакая сила теперь не могла его остановить. Вот он сделал шаг. Еще шаг... Еще... Еще... Еще... И, наконец, серая грачевская восьмиклинка утонула за срезом обрыва.

Сашка вылез из своего укрытия и спустился к морю: теперь ему выпадало одно — ждать. И он стал ждать. Он не видел неба и не слышал моря. Все для него сейчас сосредоточилось, как мир в крохотной линзе, в одной точке — на самом гребне знакомой тропы...

Выстрел был негромок, но предельно отчетлив. Чуткая тишина береговой полосы треснула из конца в конец, чтобы уже не сомкнуться в это утро. Сила куда более властная, чем страх, втиснула Сашку в галечник, и сердце его, как рыба, выброшенная на берег, зашлось в судорожной пляске. Выстрелы звучали коротко и сухо, будто у самого уха непрерывно лопались воздушные шары. Потом в разбуженную тишину ворвалось рассыпчатое тарыхтение моторки, и когда там, на вершине тропы, показался Грач, навстречу ему со стороны моря уже бежала, на ходу разворачиваясь в редкую цепь, добрая дюжина милиционеров.

Скатываясь вниз, Грач то и дело оборачивался и стрелял, стрелял, не целясь, в ту сторону, откуда короткими перебежками следом за ним двигались фигурки в штатском, среди которых мелькала — Сашка это видел, явственно видел! — пестрая распашонка рыжего. «Гад, гад, гад, — билось у Сашки в мозгу лишь одно слово, вобравшее сейчас собой всю обиду, всю ненависть его попранного сердца, — гад, гад, гад...»

В особенно отвесных местах Грача закручивало волчком, он катился кубарем, обращаясь на какие-то мгновения в клубок песчаной пыли, но затем снова вскакивал и стрелял. Выстрелы его одиноко и безответно лопались в густом йодистом воздухе побережья. Вора обкладывали, как зверя, в полной тишине, и в минуту краткой передышки, сквозь горячую пелену ожесточения эта тишина наконец пробилась в его сознание, и он замер, и опустил пистолет, и небо сомкнулось над ним. Тогда он закричал, закричал надрывно, почти одним выдохом:

— Стреляйте, псы!.. Палите же, гады-ы-ы!

Кольцо смыкалось в полном безмолвии. Грач затравленно — шаг за шагом — поворачивался, пока не сделал полный круг. Пистолет в его руке медленно пополз к подбородку. Последний грачевский выстрел покрыло чье-то хриплое, запоздавшее:

— Бросай оружие!

Грач чуть подогнул колени и тут же резко отвалился на спину и, подломившись, словно полупустой куль, стал рывками съезжать вниз. Никто из окружения не тронулся с места. Все стояли и смотрели, как тело неуклюжими зигзагами съезжает вниз. И лишь когда то, что было еще минутой назад знаменитым кавказским вором Ларионом Грачом, уперлось ногами в кромку берегового галечника, преследователи сгрудились вокруг него, и один из них накрыл ему лицо подобранной тут же, на берегу, старой газетой.

.
Когда Савва проснулся, Сашки уже не было. В окошко и во все щели хромой на все четыре угла займки рвалось, текло, ниспадало солнце. Савва толкнул от себя ветхую дверь и захлебнулся до осязаемости густым настоем таежного утра. И ес-

ли бы не гнетущая осознанность звериного своего положения, он бы засмеялся, засмеялся от вдруг переполнившего душу ощущения красоты и значительности окружающего.

Савва спустился к ручью, где Сашка стаскивал в кучу прошлогодний сушняк.

— В четыре руки оно веселее будет, как?

— Мелкого не бери, от мелкого треск один...

— Маловато крупного-то.

Сашка дружелюбно согласился:

— Я тут кругом все выбрал, а за ручей ходить Васёна не велит.

— Строгая баба.

Сашка поднял голову, сердито свел на переносице подпаленные брови, сказал наставительно:

— По-другому нельзя. Нам что: три зуба выбьют, два года влепят, а ей — чехты, Васёна — человек.

Едва вспомнилась Савве Васёна, как где-то под сердцем у него будто оттаяла давняя льдинка.

— Твоя правда... Откуда сам-то?

— Так... Отовсюду помаленьку...

— Сирота, значит?

— Вроде этого.

— А куда двигаешь, коли не секрет?

— К морю.

— Далек-о...

— Доберусь, — коротко утвердил Сашка.

— За оцепление не выбрался, а уже загады-ваешь.

Глаза татарина сузились, и без того тонкие губы яростно подобрались, и он чуть ли не со свистом выщедил сквозь зубы:

— Доберусь.

И чувствовалось, что все Сашкино существо, всю жизнь определяло одно это слово и не было в человеческом языке другого, которое могло бы

остановить Сашку, покуда в его хилой плоти теплилась жизнь. И Савва неожиданно для себя сказал серьезно:

— Доберешься. Главное — за оцепление, а там — чеши на все четыре.

Доверительность Саввина, видно, подкупила татарина, он стал словоохотливее.

— В этот раз не выйдет — в другой уйду. — Недоверчивая усмешка Саввы не ускользнула от него, и он с торжествующей злостью добавил: — В третий раз ужожу.

Савва по опыту знал, через что приходится пройти беглецам-неудачникам, прежде чем они получают положенные им по закону два года добавки. Только самые выносливые отделяются инвалидностью, бедолаги послабее обычно кончают свои дни в лагерной больничке. Он глядел на убогую — в чем душа держится — фигурку татарина, на его ноги-спички, костистое, обтянутое синеватой кожей лицо и думал: «Да, брат, любви к свободе тебе не занимать».

Уже поднимаясь к заимке, спросил:

— Выдержал?

— У меня кости резиновые... Отскакивает.

— Указник?

Сашка отрицательно цокнул:

— Сто тридцать шесть*.

Сказано это было просто, даже буднично, но именно будничностью своею слова Сашкины и ошарасили, поразили Савву, и Савва почувствовал вдруг, как утро тускнеет у него в глазах, а оттаявший было холодок под сердцем снова берет свое.

.

* 136 статья УПК РСФСР — убийство.

Сашка больше не ходил к морю. Необъяснимая жуть охватывала его всякий раз, когда он ненароком забредал в прибрежную полосу. Ему казалось, что Грач так и лежит там с того дня, упершись вялыми ногами в кромку берегового галечника, с лицом, укрытым старой газетой. День и ночь слились для Сашки в карусельном калейдоскопе. Все вокруг — люди, дома, вещи — определялось перед ним словно на размытом снимке, смутно и призрачно. Что-то мелькало, текло, звучало над его головой. Но он не слышал, не видел ничего этого, уйдя, как улитка в панцырь, в свою собственную боль. Когда у Сашки начинало сосать под ложечкой, он спускался со своего лежбища — на крыше городской уборной — и инстинктивно шел на запах — к парковому ресторану. Там ему перепадало ровно столько, чтобы продолжать существование: сердобольные судомойки всегда приберегали к его приходу кое-что из остатков. Потом Сашка снова брел привычной дорогой обратно, валился в обжитую кучу тряпья и лежал до следующей вылазки, заложив ладони под голову, без дум и желаний. Время остановилось в нем, и он остановился во времени.

Мир, втиснутый в квадрат фронтоного отверстия, дарил Сашке из всех лишь одну прямую: лежбище — ресторанная кухня, ресторанная кухня — лежбище. С его постели она, эта прямая, проглядывалась насквозь, до самого входа под неоновой вывеской. Казалось, она была пряма и прострельна, как мысль о смерти. Но однажды точка пересечения обозначилась в самой ее середине: цветастая распашонка, оттененная солнечно-рыжей копной шевелюры. И этого достало, чтобы жизнь, словно в пролом плотины, хлынула в Сашкину душу и обрушила на него целую лавину красок, запахов, звуков. И коротким, как сполох у

горизонта, озарением перед ним определилась цель, ради которой стоило жить.

И он спустился вниз и пошел. Пошел следом за пестрым пятном впереди. Сашка еще не отдавал себе отчета в том, что ему надо сделать, как поступить, но с этого момента он доподлинно знал одно: вдвоем им тесно на земле.

Рыжий шел не один. Рядом с рыжим, прижимаясь к нему острым плечиком, шло нечто светлое и невесомое. Белое платьице облегалo ее субтильную фигурку уверенно и ловко. Белые босоножки, казалось, несли ее чуть-чуть над асфальтом парковой аллеи. И даже волосы у нее ниспадали на спину белым гребнем. И вся она, рядом с рыжим великаном, выглядела почти игрушечной, карманной.

Пара дошла до ресторана, коротко посоветовалась, причем рыжий убеждающе теребил локоть спутницы, а та отрицательно мотала льяняными кудряшками, и, наконец, после долгих препирательств, она, эта пара, свернула в правую аллею, ведущую к кинотеатру.

Сашка почувствовал, как внутри у него вспыхнул, постепенно набухая, жгучий до удушья комок. Комок этот вдруг как бы отделился от него, Сашки, и начал жить в нем сам по себе, какой-то своей, особенной жизнью. Жжение у горла стало нестерпимым. Оно гнало, торопило его туда, вслед за пестрым пятном ускользящей распахонки. Сашка ускорил шаги, с болезненной отчетливостью сознавая, что если сейчас, сию минуту, он не избавится от этого распирающего его жара, то он сгорит, сгорит дотла, там, внутри своей собственной шкуры.

Сашка не думал о том, что он сделает и как поступит, все его существо просто не допускало возможности отступления, и когда перед ним вдруг

оказался подогнанный к самой двери ресторанныго склада «газик», решение пришло само собой, в одно мгновение.

Несколько лет назад в детдоме под Тамбовом Сашка на уроках по труду изучал тракторное дело, и, хотя после очередного побега познания его в этой области были исчерпаны, кое-что он все-таки усвоил.

Сашка вскочил в кабину, и память, опустив все остальное, с исступленной отчетливостью продиктовала ему: «Включить замок зажигания, нажать стартер, выжать сцепление, включить первую скорость и, постепенно увеличивая газ, плавно отпустить сцепление...»

Включил.

Нажал.

Выжал.

Включил.

Увеличил.

Отпустил.

Сашка, выхляя из стороны в сторону, с трудом вывел машину на аллею, ведущую к кино-театру, но стоило только ему увидеть прямо перед собой цель — пестрое пятно, которое, все удаляясь, маячило чуть не в самом конце парковой дорожки, как все в нем напряглось, сосредоточилось, баранка словно бы слилась с его руками, сделавшись податливой и послушной. Не было ни Сашки, ни машины. Было одно существо, включенное на третью скорость.

Сначала Сашка увидел лицо. Его лицо в брызгах родинок по округлым скулам.

Лицо росло, разрасталось, пока не заполнило своей смертельной матовостью все ветровое стекло. И сразу же вслед за этим в Сашкином сознании последним отголоском утонул крик.

Не его — ее крик. Ему уже незачем было кричать. И Сашка закрыл глаза. И вздохнул.

-
- И не жалко?
 - Нет.
 - Человек ведь...
 - Нет.
 - И не боишься?
 - Чего?
 - Вдруг ходить будет...
 - Нет.

IV

Сначала это было похоже на шмелиное жужжание. Но звук постепенно густел, все более и более определяясь, пока не обернулся дробным моторным стрекотом. И вскоре из-за дальнего среза ржаво-зеленых листовенниц выплыл идущий на бредущем двухместный «кукурузник».

Вглядевшись в его сторону из-под ладони, Васёна тихо сказала:

— Здесь шарить будет. Давай под крышу. Пусть порыщет, авось надоест.

Пожалуй, только сейчас Савва всем существом своим воспринял и усвоил для себя реальное ощущение погони, и от этого сердце его на одно мгновение замерло в томительном падении.

Даже там, в рабочей зоне, где ему пришлось отлеживаться трое суток в отходах пилорамы, выжидая, покуда снимут охрану, он, заваленный опилками и горбылями, еще не отдавал себе отчета в том, какое губительное одиночество стережет его за колючей проволокой.

Следя через полуоткрытую дверь за крылатой тенью, скользящей между редких стволов во-круг, и вслушиваясь в старательное тарактение

мотора, Савва вдруг с болезненной отчетливостью осознал всю безмерность предстоящего ему пути, где след в след за ним будет ползти, скользить, мчаться эта вот тягостная тень. И расслабляющая тоска по теплу, крыше, покою, пусть даже в лагерном бараке, властно овладела им, и, чтобы хоть как-то перебороть, избыть подступившую к горлу спазму, он, не узнавая собственного голоса, ставшего внезапно хриплым и отрывистым, выдавил из себя:

— Чего прятаться?.. Все равно заимка как на ладони... Бреющим идет...

Васёна коротко взглянула на него, откусила нитку, отложила залатанный Сашкин бушлат и с беззлобной снисходительностью успокоила:

— И-и-и-и! Их вон сколько, брошенных заимок, по речкам да озерам... Поди сочти.. Счету не хватит...

В тоне, каким это было сказано, Савва уловил насмешливую ноту и потому заспешил обидеться:

— Я не о себе... Мне что? Намнут ребра... Два года прибавят... Годом больше, годом меньше... Плевать! А у тебя, — сгоряча он перешел на «ты», дети...

— Тебе по летам-то, — Васёна ловко, одним лишь движением, вдела в иглу новую нитку, — своих иметь надо бы. А ить нету?.. Вот ты о своих и думай: какие они у тебя будут.

— Не успел...

— Успеешь. Будут.

Она произнесла последние два слова с такой вдумчивостью и верой, и такое покоряющее умиротворение исходило от нее при этом, что Савва лишь руками развел от удивления и, сообщаясь ее облегчением, вздохнул:

— Дай-то Бог тебе, Васёна...

Она прервала его резко и отчужденно:
— Дал. Больше — некуда. Сытая.

Васёна сидела на дебаркадерном кнехте в ожидании идущего снизу судна. Река вязко и и тускло вытягивалась мимо, и если бы не дебаркадер, чуть оттеснивший воду от берега, тем самым определив ее движение, могло показаться, что она давным-давно намертво застыла, чтобы никогда уже не стронуться с места.

Низкое, словно освинцованное небо повисало над рекой, тяжело опираясь на стрелы береговых лиственниц, и вдоль него, этого неба, молчаливо скользили в сторону юга осенние гуси, и деловитый полет их не сообщал окружающему, как это бывает где-нибудь в средней полосе, тоскливой умильности прощания с теплом и летом, а только подчеркивал сквозную унылость пейзажа. Здесь, за шестьдесят шестой параллелью, у людей не оставалось времени для созерцания. Здесь люди дрались за жизнь со щедрой, но недоброй землей. Здесь жили рыбаки и охотники, лесорубы и речники, и поэтому, сидя сейчас на дебаркадерном кнехте в ожидании идущего снизу судна, Васёна хоть и глядела, но не видала, а вернее, не ощущала окружающего — тусклой реки, тяжелого, низкого неба, скользящих к югу гусей: она была частью всего этого. И все, что жило, звучало, цвело вокруг, проходило сквозь нее, растворяясь в ней и растворяя ее в себе.

Иногда, правда, особенно во время стоянок больших пассажирских теплоходов, Васёну вдруг на какое-то мгновение пронизывало диковинными запахами, красками, речениями неведомого ей далекого и загадочного мира, существовавшего где-то в верховьях, и душу ей порой ожигала щемящая боль какая-то, зов какой-то болезненный, но

судно отходило — и все вставало на свои места: и река, и небо, и скользящие вдоль него гуси. И вместе с береговой тишиной ее властно обступали знакомые с детства запахи: просмоленных канатов, пиленого леса, дыма печей, не таявшего над селом ни зимой, ни летом.

Связанная с дебаркадером с самого своего соломенного вдовства, то есть лет не меньше пяти, Васёна давно привыкла угадывать прибывающие суда по гудкам, и потому, когда из-за поворота выплеснулся надсадный полухрип-полусвист, она безошибочно определила: «Куйбышев» — маленький лопастной пароходик, что курсировал с попутным грузом и местными пассажирами между Горбылевым и Нижневирском.

— Ползет, Родион Васильевич! — позвала она своего начальника Плахина. — Готовь груз!

Плахин вышел заспанный, вялый. Потянулся, зевнул скучно:

— Идет утюжок... Один свист, а грузу на копейку.

Был Плахин не по здешним местам смугл и волосат, хотя и всю жизнь провел вокруг шестьдесят шестой. «От заезжего молодца», — подшучивали над ним в селе, но он только хмуро усмехался в ответ и молчал. Вообще без крайней необходимости вытянуть из него слово считалось делом довольно хлопотливым. И, наверное, по этой причине в свои сорок лет Родион все еще ходил в бобылях. И только во хмелю становился он веселым и разговорчивым. В дни Родионовых загулов полсела ходило навеселе. А сам Плахин, вынув из-за пазухи знакомую всем затрепанную тетрадку в клеенчатом переплете, читал собутыльникам стихи собственного сочинения, вроде: «Наша жизнь — это арфа; две струны на арфе той; на одной играет счастье, грусть играет на другой». Или из-

речения, тщательно выписанные им из разных книжек, вроде: «Иной раз, прекрасный взгляд ранит смертельнее, чем свинцовая пуля»; «Бывают деревья прекрасны на вид, но ядовиты по вкусу»; «Чем беспощаднее ненависть, тем ослепительнее будет любовь» — и эдаким манером до полного собственного бесчувствия. Читал — и вздыхал, и сокрушался, и плакал от восторга и умиления. С похмелья же Родион ходил как в воду опущенный, прятал ото всех глаза и угрюмо молчал...

— Меньше, чем в два захода, не осилит, — недобро усмехнулся Плахин, следя за неуклюжим разворотом «Куйбышева». — Шантрапа. На велосипеде ходить. И то на трехколесном.

Пароходик и вправду дважды промазал и пришвартовался с большой натяжкой. Капитан, молодой, долговязый парень в сбитой набекрень мичманке, виновато поерзав замученными глазами в сторону Родиона, кисло осклабился:

— Салажат, понимаешь, всучили, вот и плавай с ними... Аз взмок, орамши...

Плахин брезгливо поморщился:

— Чего орать-то? Не лошадь... Груз есть?

— Ни-ни. Пассажира вот только доставили... У вас ведь с женихами, видно, туговато. — Он подмигнул Васёне. — Хватай, Васёна, пока не перехватили.

А пассажир уже сходил по выдвинутым сходням на дебаркадер. В парусиновом плащике, который как-то уж очень угловато топорщась, облегал его жидковатую плоть, в резиновых не по росту сапогах, со спортивным чемоданчиком в руке и вещмешком за плечами, он выглядел совсем мальчиком, по ошибке сошедшим на чужой пристани. С растерянным любопытством оглядывались вокруг серые близорукие глаза. Всем своим видом

он уже заранее располагал к жалостливой усмешке.

Родион, оглядев гостя, только крикнул досадливо и ушел к себе. Пассажир потоптался, потоптался вокруг своего чемоданчика, потом пошел к береговым сходням, но тут же повернул обратно.

— Послушайте, — нерешительно и смущенно окликнул он Васёну, — вы не скажете, как мне в сельсовет попасть?

Что-то трогательное было, подкупающее в его настороженной робости, и Васёна, против обыкновения, добродушно снизошла:

— Да какой же сейчас, мил человек, сельсовет? Их там и днем-то с ауканьем не отыщешь, а теперь к ночи время.

Гость замолк в растерянности, и опять пошел к сходням, и опять вернулся.

— Что же делать? — спросил он скорее себя, нежели ее. — Вот задача.

Васёна посочувствовала:

— А вы что же, из району?

— Да... Я буду здесь учительствовать... В школе. — Он запнулся и уже совсем бездумно добавил: — Русский язык и литература... Может быть, вы подскажете, кто бы мог сдать мне комнату?

Парень выглядел так жалко в недоуменной своей растерянности, и таким он ей показался брошенным и беззащитным, что она неожиданно для себя предложила:

— Можно и у меня... Только не знаю, понравится ли?

— А я вас не стесню?

— Какой там! Пол-избы хоть заколачивай. Зимой не натопишься.

— Я вам очень благодарен... Меня зовут Александр Иванович. Шаронов...

— Зовите Васёной.. Горлова фамилия... Пойдемте, провожу, а то мне еще дежурить.

— Какое славное имя у вас... Нет, право... Очень уж наше, русское.

Перед Васёной сразу же обозначился характер ровный и добрый. И она подумала про себя: «Тяжко тебе будет жить, родимый, ох тяжко!»

Васёна поставила перед Саввой банку из-под английской, еще военного времени, свиной тушенки с приделанной к ней проволочной дужкой:

— Чем не котелок?

Савва только руками развел от удивления: работа чувствовалась первоклассная.

— Сама?

— Да уж конечно не дядя.

— Ну и руки у тебя, Васёна!

— Поживешь без мужика в доме — всему научишься.

— Разборчивые, как я погляжу, у вас мужики, если уж они таких не замечают.

— Замечают, да не по мне...

— Что так?

— Да так.

Васёна ответила кратко, отрывисто, даже с сердцем, и Савва понял, что дальше в ее душе начинается запретная зона и ему туда хода нет, и он умолк, и к разговору этому больше не возвращался.

.
Родион Плахин сидел прямо против учителя в его светелке и, оседлав табуретку, грузно раскачивался на ней из стороны в сторону. Между ними, посреди стола, сиротливо стояла непочатой принесенная Плахиным бутылка рафинированного. Александр Иванович бережно листал Родионову тетрадку, изредка поклевывая ее аккуратно от-

точенным карандашом. При каждом клевке гость болезненно морщился, и табурет под ним скрипел яростно и вызывающе. Изучив свою тетрадку вдоль и поперек, он примерно мог определить, у какой строки запнулся его требовательный читатель, и поэтому всякий раз, когда хозяин брался за карандаш, Родиона начинало прямо-таки выламывать. Он багровел и весь подавался вперед, как бы помогая Шаронову одолеть возникшее вдруг препятствие. Наконец учитель перевернул последнюю страницу, снял очки, отложил их в сторону и, глядя в окно, спросил:

— Послушайте, Родион Васильевич, вам никогда не приходит в голову описать то, что делается вокруг вас?

— Скукота, — в голосе Плахина явно проступили недоумение и досада. — Копошатся людишки. Всяк к своему делу, как собака к конуре, привязан. День, ночь — сутки прочь. Вот и весь интерес. Чего и писать зря.

— А вы взгляните, Родион Васильевич, — заволновался учитель, и узкое нервное лицо его пошло пятнами, — может быть, и не зря, а? Вы же поэт, — в этом месте Плахин еще больше побгровел и опустил голову, — а поэт должен видеть то, чего другие подчас не замечают. Ведь вот стихи, вроде ваших теперешних, можно пометить любым местом, хоть Тульской областью, а хоть и Китаем. «Кто их писал, — спросят люди, — что за человек, какой нации, какого звания, где проживает?» И никто не ответит. А вы так напишите, чтобы, прочитавши, можно было сразу определить, что написал их Родион Плахин, сибирский речник, и в них лесом пахнет, рекой, рыбой, а над этим стоит своеобразный, не похожий на других человек...

От слова к слову, Плахина все больше забирало шароновской речью, он то вставал, то снова садился, время от времени пытаясь вставить что-то свое, и, наконец, не выдержал, выдохнул в изнеможении:

— А выйдет? — Он осекся. — Уж и не знаю... больно обнаковенно все... Люди — они и люди... Река — она и река... А лес — что ж, он лес и есть... Испокон так...

Учитель вышел из-за стола и взволнованно заходил по светелке, из угла в угол, мимо неожиданно утихшего Родиона.

— Стихи, Родион Васильевич, чудо!.. А без чуда и стихи ни к чему. Рифмовать общеизвестные истины? Это занятие зряшное и к поэзии отношения не имеющее. Сила настоящих стихов в том, что в обыкновенном нашем, житейском они могут открыть столько красоты и возвышенности, что человек прочтет и поразится: как же это, мол, он ходил до сих пор мимо и не видел такой малости?.. А писать вам, Плахин, нужно. Обязательно. Да и могли бы вы, Родион Васильевич, прожить теперь без этой вот тетрабочки, скажите по совести?

Гость потупился, и табурет снова скрипнул под ним, но уже словно бы в смущении.

— Она вроде как приросла ко мне... У меня ее только с мясом...

— Вот и замечательно! — продолжал горячиться хозяин. — Пишите, пишите, Плахин, голубчик! Каждый день, каждый свободный час!

— Стало быть, Александр Иванович, — Родион встал, и в шароновской светелке сразу стало темней и теснее, — не зря я балуюсь. Может, и вправду какая польза будет?

— Будет, Плахин, будет, Родион Васильевич! И уже есть. И большая... А ко мне всегда, в лю-

бое время. И без этого, — он взял и поставил перед гостем на край стола бутылку, — поэзия делается свежей головой.

Плахин долго и благодарно тряс немощную учительву руку, потом неловко, горлышком вниз, сунул в карман бутылку и, проходя мимо Васёны в сени, только и сказал:

— Голова!

И уже в дворовой темноте повторил с расстановкой:

— Го-ло-ва!

Когда, проводив гостя, Васёна вернулась в горницу, Шаронов все еще ходил из угла в угол своей светелки с заложенными за спину руками. Она вошла к нему, облокотилась плечом о косяк двери и вздохнула.

— Надоели уж, видно, наши мужики вам? То с одним, то с другим... И чего вот он бумагу понапрасну переводит, чего переводит? Как на роду написано, так и живи.

Учитель внезапно остановился, с минуту глядел на нее молча, словно припоминая, кто бы это мог быть, и вдруг заговорил со вдумчивым спокойствием, но уже как бы устало:

— Вы же неглупый человек, Васёна. Неужели вы действительно считаете, что у людей что-то там на роду написано? Ведь этак и жить незачем. Ведь этак звери живут, насекомые, а мы — люди. Плохи стихи плахинские, хороши ли — это неважно. Важно другое. Человек себе отдушину в небе нашел, звездным воздухом дышать начал... И его уже не согнешь, не поставишь на колени: он думать начал...

Васёна глядела на постояльца, и, пожалуй, впервые за два месяца знакомства с ним перед нею постепенно обозначался совсем иной человек, резко отличный от того, который сошел два месяца

тому назад на хамовинский дебаркадер. Этот был и шире в плечах, и устойчивее, и надежнее. И теперь не он, а скорее она виделась себе беззащитным дитятей, нуждающимся в жалости и добром слове. Видно, недаром в Хамовине, где испокон веков прав тот, у кого луженая глотка и крепче мускулы, тихий и почти незаметный учитель, да еще к тому же из пришлых, сделал ее, Васёнину, вдовью избу — первым домом на селе. И уж если сам Родион Плахин пришел, перешагнув через себя — принес ему самое заветное свое и не обиделся после всего сказанного, значит, и впрямь жила в ее постояльце какая-то особая сила, особенное расположение. А вроде и не выделялся ничем парень, не лез ко всякому встречному с душой нараспашку, в доме и то ходил чуть ли не по одной половине, но даже и мать Васёнина, старуха сварливая и ругательная, в его присутствии улыбчиво добрела.

— Чудной вы какой-то, — тихо молвила женщина, — все бы вы об людях думали. Они вот об вас не больно-то... Правду Родион говорит: люди — они люди и есть. Пускай сами за себя думают, на то им и голова дадена...

— Даже так?

Больше он ничего не сказал, только взглянул на нее, как на больную, с жалостливым участием, и ей стало совестно за себя и за зрящность своих слов, и она поспешно, словно боясь, что ее перебьют, сказала:

— Может, я что не так... Вам, ученым, видней, что к чему... А нас жись толчет да мнет, вот мы и косимся друг на дружку: «Как бы кто моего не прихватил...»

— Люди, Васёна, — учитель сел за стол, подвинул к себе стопку тетрадей, — ей-Богу, за-

служивают того, чтобы к ним относились лучше... Заговорил я вас... Вам ведь завтра спозаранку...

До поздней ночи не могла Васёна сомкнуть глаз. Она чувствовала, что в чем-то обманула своего постояльца или даже обидела его, но чем именно — додуматься покуда ей было не под силу. Васёна так и уснула, отягощенная сознанием какой-то, еще не ведомой ей, вины за собой. И в то же время, уже в полусне, сердца ее коснулось не ведомое ей дотоле смятение.

.
Провожая женщину до первого редколесья, Савва спросил:

— Знаешь, Васёна, я вот все никак в толк не возьму — и зачем ты сама в петлю лезешь?.. Ну, Кирилл — другое дело, ему бы святость свою отработать, а тебе какой резон? Дети ведь у тебя, а там, — он кивнул в сторону реки, — не церемонятся.

Она взглянула на него кратко, в упор, без улыбки, и отвернулась, и тонкие губы ее обидно подобрались:

— Учили тебя, парень, учили, да, видать, учење не впрок пошло.

— Я всерьез.

— И я тоже.

— Зря обижаешься, просто интерес имею: что ты за человек есть? Ты мне, может, жизнь спасла, а вот разойдемся, будто и не знались вовсе.

— Вот и хорошо.

— В толк не возьму.

— А живи себе и не казись. Чего долги пересчитывать? Я, может, больше кому должна...

— Когда же это ты успела?

— Успела...

И всем тоном, всей краткостью ее последнего слова Савве опять-таки давалось понять, что есть

такие места в душе ее, куда ему доступа не было.

.
Еще издалека Васёна заметила вышагивающего по дебаркадеру Бекмана — председателя немецкого поселенческого колхоза. Заложив руки за спину, — низкорослый, кряжистый, почти квадратный, — он маялся из конца в конец палубы, время от времени замирая, словно вслушиваясь во что-то, и затем снова принимался ходить. Чуть поодаль от пристани темным табуном сгрудилась прибывшая с ним свита и тревожно следила за каждым движением своего председателя...

— Едет? — только и молвила она, проходя мимо.

— Едет, — так же отрывисто бросил он ей через плечо и по-медвежьи, вразвалочку, двинулся мимо, но вдруг остановился и замер: где-то за щетиной прибрежного леса возник и, все нарастая, повис над рекой жужжащий звук. Звук рос, матерел, раздвигая береговую тишину, и вместе с его приближением все вокруг — лица, взгляды, даже, казалось, самый воздух — заполнилось тревогой, еще глухой, но устойчивой.

Вышел Родион, зевнул, поскреб волосатую грудь, утвердил кратко:

— Он.

И, будто только ожидавший плахинского слова, из-за поворота пулей выскочил комендантский катер. Круто развернувшись, катер не без лихости подлетел к пристани и со скрежетом притерся к дебаркадерной обшивке, и затих, качаясь на собственной волне. И через минуту на дебаркадер уже сходил, нетвердо ступая по трапу, капитан Скидоненко — комендант поселенческих колхозов нижневирского побережья.

Он сошел, покачался слегка, устаиваясь на месте, потом шагнул к Бекману и скорее выплюнул, чем сказал в лицо ему:

— Рыба?

Немец напрягся, потемнел и, не разжимая плотно сомкнутых челюстей, выдавил:

— Не идет рыба, гражданин капитан. Нету рыбы.

— Ты мне, — еще ближе придвинулся к нему Скидоненко, — объективными зубы не заговаривай. Я тебе этих объективных сам полную пазуху насыплю. Саботируешь, немецкая рожа? Фашистский душок еще не сошел? Я мигом выпущу.

На лице Бекмана не дрогнул ни один мускул:

— Рыба — не лес, гражданин капитан. Рыба не стоит на месте. Вы же знаете, что с планом плохо по всему побережью. Мои люди ночуют на берегу. Но рыбы нет.

Скидоненко стал багроветь. И без того тонкие губы его вытянулись в ниточку и побелели. Несколько мгновений кусок берега — с горсткой сгрудившихся немцев, с дебаркадером и людьми на нем — заполнила болезненно чуткая, даже к прикосновению речного прибоя, тишина. Затем капитан, теряя равновесие, пьяно, наотмашь, ткнул председателя в лицо. Тот по-бычьему пригнул голову и отступил. А Скидоненко двигался на него, тихо выщепывая сквозь зубы:

— Вы, господин бывший секретарь обкома, видно, за десять лет еще не отвыкли от интеллигентного обращения, так я отучу. Вас еще не щекотали, господин бывший народный комиссар, по настоящему, так я пощекочу.

— Щекотали, — Бекман исподлобья уставился в комендантскую переносицу налитыми кровью зрачками. — В двенадцатом году... В Нижневирске... в жандармском управлении...

Васёна отвернулась, чувствуя, что сейчас произойдет что-то безобразное и дикое, и тут увидела своего постояльца, который, то и дело поправляя сползающие на нос очки, спускался к пристани. Она было бросилась ему наперерез, чтобы увести его, оградить от нелепой случайности, но он спокойно отстранил ее и в тот момент, когда кулак коменданта взвился над бекмановской головой, взбежал на дебаркадер и встал между ними.

— Вы пьяны, товарищ капитан, — дрожащим от негодования голосом выговорил учитель, — и не понимаете, что творите... Вы, надо думать, член партии и несете двойную ответственность за свои действия... Я, как коммунист, настаиваю, чтобы вы прекратили эту дикую сцену... Коммунист бьет коммуниста! Позор!

От неожиданности Скидоненко несколько опешил и с минуту в смятенном недоумении обшаривал тщедушную учительву фигурку сетчатыми, как у кролика, глазами, потом жалобно поморщился в сторону сопровождающего его сержанта, что это, мол, еще такое:

— Кусков!..

Сержант — брюхатый, неповоротливый, с аляповатым отечным лицом — подошел, лениво взял Шаронова за шиворот, оттащил в сторону и, прижав к палубному борту, пьяно прохрипел:

— Заткни глотку, очкарик.

— Как вы со мной разговариваете? — кричал учитель, барахтаясь у него в руках. — Как вы со мной разговариваете? Кто вам дал право? Вы ответите перед окружным комитетом! Это произвол!

Последние слова учителя вызвали у капитана, искоса наблюдавшего всю сцену, тяжелую усмешку:

— Бери его с собой, Кусков, я с ним в дороге поговорю. И в Нижневирске с ним тоже побеседуют.

И тон, каким это было сказано, определил шароновскую судьбу раз и навсегда. И в душе Васёны будто взорвалось что-то, прихлынув к сердцу жарким удушьем. Она рванулась было к трапу, по которому брюхатый уже втаскивал яростно сопротивлявшегося учителя, но в этот момент путь перед ней заступил Плахин. Он молча отодрал сержанта от Шаронова и, легонько оттолкнув его на палубу, угрюмо пробасил:

— Не тронь. Правов не имеешь.

Брухатый ошарашенно поблудил взглядом в сторону начальства и трясущимися руками начал шарить по кобуре:

— Ах ты сукин сын... Да ты знаешь... Да я из тебя... Да ты у меня...

Но Родион опередил сержанта. В прыжке, с лету, он сбил его с ног и, на ходу крикнув учителю: «Беги!» — выскочил на берег и диковинными восьмерками, чтобы спутать прицел, бросился к лесу.

Пистолет плясал в хмельных руках коменданта. Расстреляв обойму, он остервенело сплюнул и погрозил:

— Все равно найду, сволочь! — И в сердцах сорвал злобу на подчиненном: — Раззява! Нажрал корму, не развернешься! Ты у меня суток двадцать посидишь на губе. Сало-то, оно враз сойдет... Тащи этого, — он кивнул в сторону учителя, — мы разберемся, что у них здесь в Хамовине за лавочка... Развели контрреволюцию, сукины дети!

После всего происшедшего Шаронов как-то обмяк весь, обвял. Не сопротивляясь позволил он сержанту скрутить себя и втащить в катер. По дороге очки соскользнули с него, но, упав на па-

лубу, не разбились, и шедший следом капитан носком зеркально блистающего сапога смахнул их за борт.

С полпути Скидоненко обернулся и, перекрывая гул разбуженного двигателя, выкрикнул:

— Плана не будет, суши сухари, немецкая рожка! — И Васёне: — Чего рот разинула, дела не знаешь? Отдай концы!

Молчал Бекман. Молчали немцы у пристани. Молчала Васёна. Но когда катер исчез за поворотом, оглушительное опустошение, охватившее было ее, вдруг сменилось горькой, разрывающей душу обидой. Она не могла, да и не хотела понимать, почему все молчат, почему молчит и молчал до сих пор Бекман? Тот самый Бекман, о котором по всему побережью от Нижневирска до крайнего низовья говорят не иначе, как уважительно подняв палец вверх. Ведь из-за него и из-за тех вот, что молча сгрудились у пристани, двое, куда более нужных ей, чем они, людей исковеркали себе жизнь. Как же так можно? Как же жить после этого? Как людям в глаза смотреть?

Боль и гнев властно захлестнули Васёну, она шагнула к Бекману и, откинувшись всем телом назад, плюнула ему в лицо. Она ожидала всего — брани, крика, пощечины, но тот лишь ссутулился сильнее прежнего, вытер лицо рукавом и, не говоря ни слова, повернулся и пошел по береговому трапу вниз. Он молча прошел мимо своих, и те плотной кучкой двинулись за ним. Он шагал вразвалочку, заложив руки за спину, и казалось, не он, а земля качается под его тяжелыми ступнями.

.

Прощаясь, Васёна напутствовала Савву:

— Носу из лесу до Кирилла не показывайте. От греха. Кирилл будет дня через два. У него своя почта, он сразу узнает, когда оцепление снимут.

Харчишек вам принесет и выведет к нужному месту.

— Ладно. Высидим.

— Ну, а коли так, то прощевай. — Она улыбнулась и сразу как бы расправилась вся, высветилась: у него на глазах женщина ваяла самое себя. С каждым движением и словом убавлялось резкости в облике, а голос набирал тепла и ласки. — Чудно, знакомству нашему всего — ничего, а будто век знаемся... Я уж вроде и привыкла... Легкий ты человек, видно.

Отзвук щемящей тоски тронул его сердце, и, чтобы смять, заглушить в себе эту сосущую боль, он как можно будничнее сказал:

— Грузу меньше — дорога легче.

— Дай Бог.

— Да ст.

— Твое счастье.

— А ты снова в лес — дни коротать?

— Куда ж мне еще?

— Бросила бы все, да и махнула бы вверх, свет посмотрела.

— Поздно.

— Это никогда не поздно.

— Вот я и говорю: легкий ты человек. Снялся и пошел. А мы лесные: приросли к лесу.

Она глядела куда-то сквозь него в свой, близкий ей одной мир, и до Саввы дошло, что Васёне от рождения выпало видеть во всем окружающем то, чего ему видеть не дано.

.....
Поздно вечером к Васёне постучали. Она открыла и обомлела: у порога стоял Бекман.

— Пустишь? — спросил он и, не ожидая ответа, шагнул мимо нее в сени. — Разговор есть.

Он неторопливо снял телогрейку, аккуратно пристроил ее сбоку от двери, вынул из брючного

кармана бутылку спирту, поставил на стол и только после этого, садясь, сказал:

— Закусить принеси.

И хотя Васёна, окончательно сбитой с толку явным дружелюбием Бекмана, было еще трудно уяснить себе цель его прихода, она почти инстинктивно почувствовала важность предстоящего разговора для них обоих.

Председатель молча наполнил подставленные стаканы до краев, не ожидая ее, выпил свою долю залпом, старательно обнюхал хлебную корочку и кивнул хозяйке:

— Вышей.

— Я — потом.

— Как хочешь, — в его взгляде не таилось ни укора, ни злости. — Слушай сюда, Васёна. Я должен тебе это сказать. И не потому, что я боюсь, что еще кто-то будет считать меня мерзавцем, нет. Я уже привык. Просто я считаю тебя человеком, которому надо знать кое-что. Тебе будет легче жить... Ты помнишь, как нас привезли сюда почти десять лет назад? Ты помнишь, как нам кинули топоры и пилы и пять мешков немолотого зерна? А была осень, а мы должны были выжить... Мы и наши дети... Вы помогли нам... Много помогли... Но это же было для нас каплей в море. Но мы выжили, мы выстояли... Мы хоронили слабых и рождали сильных для новых трудов... Мы сохранили народ... Почему, как ты думаешь?.. Когда десять лет назад меня вызвали туда, — обкуренный до черноты палец Бекмана взмыл вверх, — мне сказали: «Мы знаем тебя, Бекман. Мы знаем, что ты работал в подполье. Мы знаем, что ты воевал на гражданской. Мы знаем, что ты сумел создать колхозы. Мы знаем, что ты верен партии и стране. Но именно поэтому ты и обязан помочь своему народу вынести испытание. Ты должен поехать с

ними на север». И я поехал. Я голодал и холодал вместе с ними. Я вынес то же, что и они. Я наравне со всеми рубил бараки и ловил рыбу. И они поверили в свое, в меня, в нас, партийцев... Так неужели, — гость, опираясь о стол крепко сжатыми кулаками, даже приподнялся от переполнившего его волнения, — я позволю какому-то ублюдку вроде Скидоненко спровоцировать себя на мальчишество. Я-то знаю, что не ему меня, а мне его хоронить, так пусть он бесится, мы вытерпим, все вытерпим, но устоим... Учитель — мальчик, идеалист, мне жаль его... Жаль, что зря гибнут такие светлые головы... Но поверь мне, это не выход... Я не могу подвергать риску спокойствие целого народа... Ты поняла меня, Васёна? — Он помолчал и, вдруг с ожесточением стукнув крепко стиснутым кулаком по столу, глухо выговорил в ночь за окном: — А план мы дадим. Не ему — стране. И будь он проклят! — И повторил снова: — Ты поняла меня, Васёна?

Может, и не все в бекмановской речи было понятно ей и, может, не со всеми доводами гостя соглашалась она в душе, но в каждом его слове была какая-то вещая, скорее осязаемая, чем осознанная ею, правота, и она, неожиданно даже для самой себя, ответила:

— Поняла.

Ребром ладони Бекман отодвинул от себя стакан. Бекман умел обуздывать себя: облик его снова обрел деловитость и спокойствие.

— Родиофу мы поможем. Может быть, кое-что сделаем и для учителя. Но тебе надо уходить. Я знаю Скидоненко. Он будет натягивать ему статью, и затаскают тебя по допросам. У него есть средства, чтобы заставить тебя показать на учителя...

— А чего ж я о нем сказать могу, кроме хорошего.

— Научит.

— Да и уходить некуда.

— Я нашел тебе место.

— Где?

— На базовой точке. С начальником экспедиции договоренность уже есть.

— Авось обойдется.

— Не обойдется, Васёна. Подумай. Отси-дишься.

— Сразу и в толк не возьму...

— Не все сразу. — В широко поставленных светлых глазах гостя вспыхнула и тут же угасла добрая лукавинка. Он встал. — Так думай, Васёна, быстрее. Времени у тебя мало. Надумаешь — дорога ко мне тебе знакома.

Когда Бекман ушел, Васёна села у окна и долго смотрела в беззвездную ночь. Думы, жгучие, неведомые ей до сегодняшнего вечера, думы обступили ее со всех сторон. Тревога большого мира, о котором она знала только понаслышке и который всегда представлялся ей чужим и враждебным, вошла в нее, чтобы уже никогда не оставить. Десятки «зачем», «почему», «как» единоборствовали с ее, казалось бы, прочно отстоявшимся равнодушием к окружающему. И, еще не умея ответить ни на одно из терзавших ее сомнений, Васёна поняла, ощутила самое главное: дальше жить так, как она жила раньше, для нее невозможно.

На другой день вечером она постучала в бекмановское окно.

.....
— Прощай.

— Прощай, Васёна.

Она повернулась и пошла, и от Саввы не могло укрыться, как сразу отяжелели ее плечи и

замедлилась легкая до того походка, и, чтобы избежать соблазна окликнуть ее, он чуть ли не бегом бросился прочь. И стена лиственниц отгородила их друг от друга.

V

— Ну, с Богом, — сказал, поднимаясь, Кирилл. — Дорога не близкая.

Сказал и заковылял вниз, к ручью. Они перешли ручей и углубились в лес. С опушки противоположного берега Савва оглянулся в последний раз в сторону заимки. Темным пятном маячила она между редких еще стволов во всей своей неприхотливой незащитности, и сердце Саввино, как при расставании с местом, где оставляешь частичку самого себя, продернула зябкая и сладостная грусть.

Лес матерел, обступая троих со всех сторон шишковатыми стволами. Все чаще и чаще приходилось пробиваться сквозь целые завалы сушняка, и Савва только дивился той уверенной легкости, с какой Кирилл на своей деревяшке пробивал им путь. На первом же перекуре он уважительно посочувствовал старику:

— Ты, Кирилл, лес словно руками разводишь. Я вот на двух ногах, а за тобой не берусь угнаться.

— Лес как лес, — неопределенно ответил тот, захватывая понюшку из кисета. Потом втянул в обе ноздри, смачно отчихался и только затем выяснил: — Привычка. Полжизни, почитай, в лесу.

.

В военкомате сутулый гвардии майор поиграл свинцовыми скулами, густо спрыснутыми пороховой зеленью, мельком перелистал Кирилловы бумаги и, не говоря ни слова, стал долго и старательно пристраивать облезлую ученическую ручку

между двух единственных пальцев правой руки. Кое-как нацарапав в военкомовском бланке нечто похожее на подпись, майор усмехнулся коротко и недобро.

— В весе, брат, мы с тобой малость поубавили, да ведь бабе, я думаю, лишняя тяжесть ни к чему. А в прочем деле и мы борозды не испортим. Служил наш брат, как говорится, недолго, но честно. Получай, Прохоров. — Он встал, протянув было Кириллу свою культяпку, но тут же спохватился и добавил уже совсем другим тоном: смущенно и вроде бы даже извиняясь: — Все не привыкну никак... Бери левую...

...Отчая станция встретила Кирилла Прохорова забитыми крест-накрест окнами. Знакомый сызмалу горьковатый воздух, настоящий на осеннем дожде и дыме окрестных деревень, врываясь в легкие, вызвал щемящие паузы под сердцем. Тишина кругом отстаивалась плотная, устойчивая, сырая, и только черные мельницы с окоченевшими на лету крыльями, резко вписанные в бугристый простор, напоминали о том, что где-то в окопах в вое и грохоте умирают их безымянные радители.

Костыли — по самые развилки — впивались в вязкое дорожное месиво. Кирилл то и дело оставался, чтобы отдышаться. Майор прав: это, надо думать, только с непривычки. Главное, он — Кирилл Прохоров — выжил, а значит, все образуется. Когда Кириллу вспомнилась семья, все пережитое — фронт, плен, снова фронт, ранение — выглядело не таким уж страшным, и теплая волна подкатывала к сердцу...

— Дядь, а дядь, садись — подвезу!

Кирилл обернулся. Позади него старый ребристый мерин тащил за собою хромой на все четыре колеса полуход. Из-под надвинутой почти на самый нос солдатской пилотки возницы смотрели

на солдата два не по-детски всепонимающих светляка. Нервное, едва обтянутое синеватой кожицей лицо было озарено сочувственной готовностью:

— Вам в Сычевку?

— В Сычевку, милый!

— По дороге, значит.

— Спасибо, сынок.

— Не, я — Наська. — Возница широко улыбнулась. Видно, за мальчишку ее принимали не в первый раз, и ей было это лестно. — Чупеевых, может, слышали?

— Это каких же? Чупеевых, сама знаешь, у нас полсела, никак не менее.

Девчонка довольно шмыгает носом:

— Да уж, много нас... А мы — это у которых пьяный дед в колодце утонул... Вот...

— Так ты Саньки Чупеева дочка? Я ведь тоже на крестинах твоих не один стакан хватил... Ишь ты!

Кирилл накрыл ее игрушечные руки в продранных рукавицах своими ладонями и, сам страшась зябкой хрупкости детских пальцев, стал тихонько-тихонько потирать их.

— Замерзла?

— Не, я привычная.

— Ах ты птаха... Не признаешь?.. Прохоров я, Прохоров. Дядя Кирюха... Скоро же ты мои пряники забыла!

С каждым его словом светлячки под пилоткой все расширялись и расширялись, и в самой их глубине росли, темнели испуг и удивление. Девочка судорожным движением выдернула руки из его ладоней:

— Прохора-а-ав?!

У Кирилла перехватило дыхание. Он взял ее за плечи и круто повернул к себе:

— Говори, птаха, говори... Твое дело — сторона... Я в плену на нарах все выплакал...

— На вас еще летом похоронная была, — отводя лицо в сторону, глухо говорит она. — У вас нынче в избе дядя Митяй за хозяина.

— Какой такой дядя Митяй?

— Агуреев.

Нет, ему не хотелось ни кричать, ни выть от обиды и боли. Странное, оглушающее равнодушие охватило его. Время словно бы остановилось, оборвав на полдороге последнюю будничную мысль: в сорок лет дома нет, семьи нет, прошлого — тоже нет. Да и кто его знает, было ли оно вообще?

Кирилл машинально спихнул костыли в грязь. Девчонка стала испуганно цепляться за него, тоненько причитая:

— Дяденька... Дяденька... Дяденька...

Но солдат, глядя куда-то сквозь нее, неуклюже, всем телом, перевалил себя через борт полубота и плюхнулся в грязь. С минуту он тупо глядел, как с ободранной в падении о щеку ладони стекает в темную жижу под голенищем кровь, стекает, но не впитывается, а только взбухает от капли к капле, образуя крохотную лужицу. Потом Кирилл подтянул к себе костыли, поднялся и медленно запрыгал обратно — к станции.

А над лысыми буграми, мельницей со вздетыми к низкому небу крыльями, синей дымкой над соломенным царством ближней деревни — все взлетало, все взлетало, удаляясь и удаляясь, как зов из прошлого:

— Дяденька-а-а! Дяденька-а-а!..

.

Костра для большей страховки не зажигали. Каждый нарезал себе хвой и в ее одуряющем, но обманчивом тепле проводил первый ночлег под открытым небом... Сашка долго ворочался в своем

логове, потом затих. Ворох Кирилла темнел недвижно и молчаливо. Савве не спалось. Он все думал о том, сколько еще вот таких ночей ему придется перекоротать, пока он не доберется до Нейничи. Да и что, ждут ли его там, на Нейниче? Позади, это теперь ясно как белый день, осталось самое легкое. Впереди его ожидало самое страшное — неизвестность. Он выпростался из-под хвои и стал крутить сигарку.

— Что, не спится? — Кириллова гора зашевелилась. Голос звучал словно из преисподней. — Впервой, видно, в тайге ночуешь?

— Да нет, бывало...

— Ходил, значит?

— Доводилось...

— Чалдон, что ли?

— Нет, с материка.

— А по выговору чалдон.

— Привычка.

Кирилл засопел и чихнул.

— Хорош...

— Зверья здесь много?

— А где же его нет, зверья? Только он в здешних местах пуганый, человеческий дух стороной обходит. Боишься?

— Ты вот в плену, говоришь, был...

— Врагу закажу.

— Бежать пробовал?

— Бежал.

— Не боялся?

— Так уж все равно было. Либо в лагере подышать, либо в дороге. А могло и по-хорошему обернуться... И обернулось, слава Богу.

— Вот и мне все равно.

— Тебе тяжелее.

— Это почему же?

— Мне только до линии фронта надо было добраться, а за линией я — свой. А для тебя такой линии нету. Хоть из конца в конец света сходи и обратно воротись — не найдешь.

— Найдем. Не весь свет, что в России.

— Пожалеешь.

— Чего жалеть-то? Жалеть-то нечего.

— С тоски помрешь.

— Живут люди, не помирают.

— Тебе что же, сорока на хвосте от них депешу принесла?.. Ладно, давай спать, завтра идти да идти.

Кирилл затих, а Савва еще долго лежал с открытыми глазами, глядя в звездное небо над собой. Там, за плотным кольцом листовенных стволов, лежала страна, где для него не оставалось «линии фронта», за которой он мог бы укрыться, стать своим. Куда бы он ни пошел с севера на юг или с запада на восток, каждая пядь земли была ему чужбиной, «территорией противника». И он мучительно завидовал сейчас всем: и даже тем, кто остался там, на лагпункте, и тем, которые если и бедовали где-нибудь в эту минуту, но с надеждой на первый же огонек. И даже этому вот мирскому изгою Кириллу Прохорову завидовал. Ишь как размеренно посапывает! Сны у Кирилла, должно быть, спокойные, ровные, как и собственная его речь.

.

В свете от бледно-желтого язычка над смежной дверью вагона, сквозь зыбкие пласты мажорочного дыма лица и предметы маячили перед Кириллом изменчиво и неуловимо. Множество запахов, плотно сбитых на мужском поту, овчине и никотиновом перегаре, било в нос, спирая дыхание. Но над всем властвовала одурь карболки —

сожигательницы беды. И одна надрывная нота пронизывала все вздохи и все стоны: война.

Голова у Кириллы, как и в любое его пробуждение, была налита гулкой до звона тяжестью. В мозгу, словно ленивая рыба в тине, ворочалась одна-единственная мысль: выпить. Но все — от шинели до сапога — он уже выменял. А задумываться ему было некогда, да и, по правде говоря, не хотелось. Не все ли равно? Что будет, то и будет. Плевать! Только бы выпить. Хоть глоток. И еще — заснуть. Но это уже сказка про белого бычка. Круг смыкался: выпить и заснуть, заснуть и выпить.

А у самого уха шелестело, как наваждение:

— Твое.

— Бывай.

— Пошла.

— Ха! Пошла! Шикарная вещь!

— Медицинский?

— Девяносто шесть ноль-ноль.

— На, тяни...

Кирилл не выдержал, приподнялся на локте, сказал вниз, в темноту:

— Слышь, браток... Гимнастерка у меня... Почти новая... Постирать только... Налей... Душа горит...

Гимнастерка долго шуршала в вязкой полутьме, переходя из рук в руки, затем к нему оттуда выплыла жестяная кружка.

— Держи половину. На бедность твою.

Жгучая влага сразу оглушила Прохорова. Все вокруг окончательно потеряло устойчивость, растеклось перед глазами радужной мешаниной. Спасительный сон ощущался так близко, что его, казалось, можно было попробовать на ощупь, только закрой глаза. Но отрывистый шепоток шуршал

внизу, и Кирилл ускользающим сознанием все еще силился вникнуть в его смысл.

Один:

— Грех обирать увечного воина.

Другой:

— Никакого тут, уважаемый, греха нету. Я ить за это чистым хлебушком платил. А он, хлебушек-то, нынче кусается. Да.

— А вы поразмыслите, в чем он из вагона выйдет по такому холоду.

— Свет не без добрых людей, подадут инвалиду. Я хоть сейчас рубль для почину выложу. Самому мне, что ли, по миру идить?

— Креста на вас нету, гражданин.

Собеседник коротко хохотнул:

— Это — в точку. Еще дед пропил.

Разговор замер. Слышалось только шуршащие разворачиваемой газеты. И вот голоса снова монотонно закружились в темноте.

— Сколько вы хотите за гимнастерку?

— Другой разговор. К чему тары-бары было разводить? Захотел поблагодетельствовать — раскошеливайся... Две бумаги. Из уважения к инвалиду войны. Кровь человек проливал и прочее...

— Не кощунствуйте, сын мой.

— А что? Я бы ее в Вологде и за две с половиной не отдал. Новая.

Под шелест кредиток на плечи Кирилловы и обрушилось наконец головокружительное забытьё...

Проснулся он в опустевшем вагоне, осиянный почти осязаемой трепетностью солнечного утра. Прямо против него, подперев безбородую, в морщинах щеку сухоньким кулачком, сидел около окна жиденский старичок. Из-под облезлой его скуфьи торчали в разные стороны куцые, пепельного цвета пряди. Старичок был светел и бестеле-

сен, словно выдуман. Круглые, едва окрашенные глаза его упирались в прохоровское лицо с доверительным вызовом. И слова, которыми встретил он Кириллово пробуждение, струились легко и округло, как мыльные пузырьки. Они не задерживались в памяти, но короткий полет их был полон очищающей радости:

— Стрaдание, сын мой, от неверия. А у Господа нашего достанет добра и света для всех страждущих. Уверуй и обретешь покой. Взалкай веры — и она явит тебе лучезарный лик вечности. Плоть в тебе бунтует, а плоть — химера. Токмо душа бессмертна. О ней и думай. Думай о душе, сын мой, и сподобишься. Взалкай, а я помогу.

Слова певуче журчали над ухом, завораживая душу своей невесомой монотонностью. Так бывает, когда устаешь сопротивляться и хочется только одного: покоя и тишины, какой бы ценой это ни покупалось. И Кирилла прорвало. Закрыв лицо ладонями, он затрясся в беззвучном мужском плаче, и вместе со слезами уходили от него последние обиды на жизнь.

А уже через три дня в глухом монастырьке Соляном, что под Архангельском, Кирилл Прохоров, нареченный после свершения обряда братом Кириллом, принял послух. И стало в миру одним слугой Господним больше.

.

Кирилл раздвинул прибрежные кусты и сделал Савве знак рукой: нишкни, мол. Из-за его плеча, сквозь зябкую путаницу тальника, Савва увидел реку, и она поразила его своей грсмоздкой царственностью. В ее почти несльшном движении чувствовалась такая оголтелая мощь, такая яростная целеустремленность, что казалось, не будь океана впереди, она играючи опоясала бы землю.

Метрах в тридцати от берега покачивалась лодка с двумя рыбаками на борту. Лодка была так близко, что Савва даже сумел прочесть надпись с подтеками в носовой части: «Север».

Кирилл, продравшись сквозь кусты, выбрался на берег.

— Бог помощь! — поклонился он рыбакам, предупреждая бегство. — Хамовинские?

— Лопатинские! — хмуро отозвались с реки. Но тут же подобтели до почтительности: узнали. — Никак Кириллыч? Здорово, отец, куда путь держишь?

— В Хамовино, родимый. Поизносился. Обновиться надо бы.

— Так мы, отец, мигом тебя обернем, тут верст тридцать и осталось.

— Благодарствую, родимые. Только я сам допрыгаю помаленьку. Куда мне спешить-то? Некуда. Одной ногой, — он постучал себя по деревяшке, — допоспешался. Покедова.

— Бывай, Кириллыч! Заглянул бы в Лопатино, однако. Бабы — те все глаза проглядели. Скотину посмотрел бы, поговорил...

— Аккурат после воскресенья и приковыляю, — пообещал Кирилл, уже скрываясь в кустарнике. — Беспременно!

По обратной дороге к озерцу, где они оставили Сашку, Кирилл наставлял Савву:

— Выведу я вас чуть пониже Хамовина. Там у меня душегубочка захоронена. В ночь без ветра любо-дорого переправитесь. Там ее и захороните, я укажу где. Потом Васёна подберет. А на той стороне сам ты себе царь и бог: шагай, на тыщи верст ни одного постового.

— А ты у них здесь вроде как за культурно-воспитательную часть, — польстил старику Савва. — Руководящий, можно сказать, работник.

Тот неопределенно хмыкнул, с минуту шел молча, потом сказал:

— Думаешь, они только рыбкой и промышляют? Им за вашего брата тоже приплачивают... Собоображай и днем на берег носа не высовывай... Бог у них так — на закус. Да и стоит дешево.

— Сам-то ты веруешь?

Старик искоса этак взглянул в сторону путника, и Савва даже вздрогнул: такой властной окаменелостью обернулось вдруг безобидное Кириллово лицо.

— А это, паря, не твоя забота. Я свой камушек один снесу.

Дальше они шли молча, но и в подпрыгивающей походке Прохорова и во взмахе его руки, раздвигающей ветви, чувствовалось какое-то невысказанное волнение, даже раздраженность.

.

Игумен вошел в Кириллову келью затемно. Осенил обитель крестным знаменем, сел, подобрал по-бабьи подол потрепанной ряски, устроился на табуретке и, взяв его руку в свою, начал с подкупающей задушевностью:

— Тяжко тебе, Кирилл. Токмо ты крепись. Это Господь душу твою, суетой опутанную, у дьявола отбивает. Не разумением молись — сердцем. Сомнения одолевают — молись, искус возьмет — молись. В молитве — спасение.

Бесцветные круглячки лучились на инокка тихой лаской, а теплые игуменовы ладошки оглаживали его руку дружески, бережно и как бы даже с уничижением.

— Молось, святой отец, молось, — тихо вторил ему Кирилл и целовал крупичатую игуменову руку.

И молился. Истово, самозабвенно, до изнеможения. И день ото дня все глуше становилась но-

ющая боль под сердцем, все призрачнее прошлое. Иногда ему казалось, что и свет-то в окошке замаячил для него только в монастырской келье. И лишь сны возвращали инока туда, где оставил он часть своего, не отданного Господу сердца.

Ночи бдения, похожие друг на друга, как дольки просфоры, сменяли одна другую, и только одна осветила душу пронзительным озарением.

Погасла среди ночи в его келье лампада под образом Спаса. Инок поднялся, чтобы засветить ее сызнова, но тут же обмер, пораженный неземным видением: от иконы исходило, рассеивалось по обители ровное, едва уловимое сияние. Не смея более взгляда воздеть на образ Спасителя, упал Кирилл у преддверия Его лицом вниз, да так и остался лежать, пока знакомая ладошка не шлепнулась ему на плечо.

— Воспрянь, святой Кирилл, ты — сподобился.

На мгновение ожгло было сомнение Кирилла — откуда, мол, игумен тут как тут? — но сразу же пришло утешение: «На то он и настоятель, что ему дано все знать, читая в помыслах иноковых». Кирилл поднялся с полу, а старик, опускаясь перед ним на колени, смиренно приложился к его руке:

— Смертным да отпускаеши. Се предначертание креста твоего. И не нам, грешным, молить за тебя, ибо твоей молитвой живы мы от сего дня.

А с рассветом, после благодарственной службы, вышел уже не инок, а святой отец Кирилл из ворот монастыря Соляного с объяснительным письмом игумена к Нижневирскому архимандриту Никодиму на груди. А вслед ему торопился, бежал, полз восторженный шелест монастырской братии:

— Сподобился...

И на разные лады:

— Сподобился?

— Сподобился!

— Сподобился...

Ступив на большак, выметанный первым октябрьским морозцем, Кирилл обернулся, чтобы поклониться башенному Распятию, и вдруг неожиданно для себя уловил он в блеклых настоятельных глазах жирную искру лукавого довольства. Искра сразу погасла под опущенными ресницами, успев все же ожечь в прохоровском сердце давным-давно заглохшую струну: «Дяденька-а-а!»

Кирилл, тронутый страшной догадкой, застыл было на мгновение, но крестное знамение игумена уже осеняло его путь.

.

Заночевали под крышей: Кирилл отыскивал брошенную заимку, но огня опять-таки не зажигали — до Хамовина оставалось километров десять. Слышно было даже, как где-то на отдаленном повале тягачи трелевали лес. Перед сном Савва никак не мог отделаться от ощущения совершенной давеча оплошности. Наконец не выдержал, сказал:

— Обиделся, Кирилл?

— Эх, милый, — в голосе старика затеплилось неожиданное дружелюбие, — может, и обиделся бы, да нечем. Ни одного не обиженного во мне места не осталось... Какие уж там обиды!.. А Бог, милый, Бог у каждого свой... У тебя — свой, у меня — свой... У Александра вон тоже, верно, свой есть...

— Нет, — ответила темь Сашкиным голосом и еще настоятельнее повторила: — Нет, нету.

— А не тяжко?

— Пусть. Не хочу.

— Найдешь, Александр.

- Найду — выброшу.
- Не кошелек ведь...
- Убью кого-нибудь.
- А как же жить будешь, Александр?
- А я не хочу жить.
- Куда же идешь?
- К морю.
- А зачем, Александр?

Темь молчала: Сашка считал разговор оконченным. Кирилл тяжело вздохнул и тоже затих. Савва поспешил переменить тему:

— Лишь бы завтра ветру не нагнало. Не выберешься тогда на душегубке. Еще день пропадет.

— Здесь загодя не угадаешь, — примирительно откликнулся старик. — Океан близко. Да вроде не должно бы.

- Лишь бы на тот берег...
- Будешь...
- Одну бы только ночку тихую...
- Уповай...

Разговор не клеился. И снова в наступившей тишине стало слышно, как на отдаленном повале тягачи треляют лес. После недолгой паузы Кирилл неожиданно, с силой, проговорил:

— Есть Бог, есть! Он в людях, в людей ушел. Только не на всех хватило. Переделить надо сызнова. Чтобы всем поровну.

И замолчал, и уже не заговаривал более.

.....

Долгие зори сквозного северного лета Кирилл привык встречать у скитского порога. Обомшелым грибом темнела его обитель на краю обрыва, под которым чуть слышно плескалась в песчаные берега студеная Вязь. Мир отсюда виделся просторным и безмятежным, и всякий раз, когда старик выходил на порог, душу его охватывала

праздничная, облегчающая ясность, а губы сами складывались в молитвенное благодарение.

Кирилл прислушался: кто-то всходил скитской тропой. Он стал вглядываться в чащобу. В просветах между ветвей вспыхнуло, с каждым мгновением все увеличиваясь, яркое пятно женского платка. Через минуту из леса показалась женщина. Вышла на скитскую плешину, резко встала, а затем быстро-быстро, сбивчивой походкой устремилась к старику. Шагах в трех от него она разом, будто ее подломили сзади, упала перед ним на колени, выдохнув едва слышно:

— Освободи, святой отец!

Женщина смотрела на него, как на икону, униженно и самозабвенно. Огромные серые глаза на худом, в расплзающихся пятнах лице ее выглядели чужими, случайными.

Кому-кому, а Кириллу доподлинно ведомы все нехитрые бабьи беды. Уже через минуту костистое плечо ее затихло, усмиренное стариковой ладонью.

— Не ропщи, не сетуй на судьбу, ибо и она промысел Божий. Молитвой вознесись над грехами своими, и Он услышит, и Он простит. Все мы — ничто. Он — все... Иди... Я помолюсь, сниму тяжесть. Иди... Иди с Богом... В спокойном сердце Царствие Божье.

Влажными губами женщина приникла к его вялой руке, а потом молча поднялась и пошла тою же тропой легко и ровно. У скитского порога, как память о ней, остался узелок с платой за очищение: кусок пирога-рыбника.

Цветастый платок бесшумной птицей еще некоторое время помельтешил в ближней листве, пока наконец не погас в шелестящих сумерках.

В часы одиночества Кирилл словно бы растворялся в окружающем, ему начинало казаться,

что плоть его улетучивается, оставляя душу один на один с целым миром. Он вбирал собою всю эту благодать, но сны, сны, которых он не любил и боялся, уже стерегли урочное мгновение. Податливые веки наливались тяжестью, спину сводила истома, и в мир тишины и покоя всей своей обжигающей тяжестью обрушивались видения. Суетные, земные, греховодные. Им было не до святости. Это потому, что они никем не придумывались, а существовали сами по себе...

Сумерки, точно живые, крались изо всех щабных тайников, обволакивая балки и овраги дремотным оцепенением. Кирилл бродил по лесу, вслушиваясь в вещее его дыхание.

Здесь все было исполнено для него смысла и значительности. Он шел, не выбирая пути, и оттого неожиданно для себя выбрался на опушку. Внизу курилось трубными дымками вечернее село. Дома здесь не жались друг к другу, как там, в России, а стояли вразброс: кряжистые — бревно к бревну — с высокими по-северному окнами, щедро обрастая надворными клетями. Снизу тянуло пометом и прелой соломой. На короткий миг душу его осветила ревностная зависть ко всему этому — селу, домам, запаху, и где-то в самом глухом закоулке памяти, словно эхо, отдалось давнее, забытое: «Дяденька-а-а!» — но тут же, чтобы избавиться от наваждения, пошел прочь, правда, чуть поспешнее, чем обычно. На полпути к скиту, у неглубокого оврага, старик сделал передышку: не попрыгаешь много на деревяшке. А здесь у него в полуенце из трех сросшихся берез имелся пенек. Он сел, словно утонул в сумерках. И тишина сомкнулась над ним. Но постепенно, исподволь, оттуда, из оврага, сначала неясно, потом все отчетливее и явственней его сознание выделило два

голоса, ведущих отрывистый, почти лихорадочный разговор.

Первый:

— Боюсь я, Федя. Не за себя — за тебя боюсь. Зверь ведь он, истинный зверь.

Второй:

— Глупая ты, Оля. В наше время и не таких скручивают. Запугал он тебя насмерть. Страхом и берет. А ты плюнь, едем со мной. Я тебя от всякого ветра укрою.

— Грех ведь, Федюша, муж он мне. Венчаный. А то бы хоть с завязанными глазами.

— Какой же он муж тебе? Силой взял, силой жить заставляет. Четвертый десяток советской власти, а у нас здесь сплошной домострой. Религию справляете, поп заместо предсовета барином по деревне ходит. Куда только организации смотрят?

— А как же без Бога-то, Феденька? Ведь вот и у нас с тобой — грех. Куда же я душу опосля всего дену?

— Как хочешь, а я тебя из этого болота вытяну. Силой, но увезу. Люблю я тебя, понимаешь? Не баловаться с тобой хочу — жить, понимаешь?.. Эх, все слова в твоём страхе вязнут.

— Не надо, Федюша... И за что мне счастье такое, Господи! Иди сюда... Иди...

Ему ли, Кириллу Прохорову, живой иконе всех баб в округе, не узнать этот голос. Вот они перед ним, ее огромные глаза на худом, в расплывающихся пятнах лице. Старик попытался встать, чтобы уйти, бежать от этого голоса, но вдруг ощутил, что тело уже не повинуется ему, и впервые за много лет смятение тронуло его оглохшее было ко всему, кроме молитвы, сердце. И жгучий шепот сливался с темнотой, становясь самим ее дыханием:

- Я ведь, может, всю жизнь тебя ждала...
- И я...
- Как же мне теперича без тебя?
- И мне...
- Не будет нам только счастья...:
- Будет...
- Зачем я тебе, деревенская?
- За всем...
- Надоем — и бросишь...
- Не брошу...
- Никогда не бросишь?
- Никогда...
- Федюшенька...
- Милая... Придешь завтра?
- Приду, родименький, приду...

Голоса все удалялись, удалялись, пока совсем не затихли в глубине ночи, а Кирилл все еще сидел, оцепенев, на пеньке между трех молодых березок. Лента кричащих видений раскручивалась перед ним от самых истоков жизни, и на ней — этой ленте — в ряд — потемневшие от времени засечки: фронт, плен, снова фронт, кровь по грязи и девочка в солдатской пилотке, надвинутой почти на самый нос. Видения сшибались друг с другом, высекая ослепительную искру вопроса: «Господи, ежели все от тебя, тогда страдание чьих рук дело?» Обожженный гибельным сомнением, старик вскочил и заковылял, не разбирая дороги, туда, к скиту, под очищающие очи Спасителя. Росные ветви хлестали его по щекам, он то и дело оступался, падал, вставал, снова падал, продираясь и продираясь вперед. Едва переступив порог кельи, Кирилл с размаху повалился вниз лицом и пополз под образа.

— Внемли, Господи, внемли! Не введи во искушение! Не оставь, не отдай душу, в сомнении погрязшую, на поругание дьяволу. Прости-и-и!

Лик безмолвствовал. Только махали трепетными крыльями броские тени от лампадного пламени.
— Прости-и-и!

Сон ниспадал ему на плечи, как отпущение.

Второй день северный ветер гнал волну на берег. Она шла наискосок, через противоборство течения, стекала по тальниковым корневищам и снова откатывалась, и серая пена оседала на береговых террасках.

Савва тоскливо вглядывался в очертания правобережья, прикидывая расстояние и так и этак, но выходило все же не меньше, чем километр с изрядным лишком. Пускаться туда сейчас на душегубке, да еще и вдвоем, было равно бессмысленно, как переплывать океан на бондарном обруче. Он даже сплюнул с досады в воду, но плевок через мгновение выбросило к его же ногам: вот так, мол.

Сзади зашуршал тальник.

— Что там? — не оборачиваясь, спросил Савва.

— Старик вернулся... зовет...

— Чего ему?

— Пшена принес... Рыбы сушеной... Сухарей...

Топор...

— Видишь, вода какая?

— Ну?

— Вот иди и гляди, сухарями похрустывай.

— Может, попробуем... А? Вдруг пофартит?

Только теперь Савва искоса взглянул на Сашку и в острых волевых глазах-пуговках татарина, так не шедших к синему, в куриных пупырышках, совсем детскому личику, прочел свою собственную решимость.

— Лады...

К костру они подошли, когда Кирилл уже заканчивал увязку двух заплечных мешков. Про-

тягивая Савве кожаный кисет, он сказал:

— На шею одень заместо креста. Тут четыре блесны, оселок и проволока... Сгодится. Ветер?

— Ветер...

— Вот зарядило!

— Мы, Кирилл, все-таки попытаем счастья нынче.

— Судьбу пытаешь, а не счастье.

— Так ведь и здесь сидеть — судьбу испытывать.

— Здесь надежнее.

— А вдруг?

— Как знаешь, паря, я тебе в этом не потатчик. Не возьму греха на душу.

Между ними легла карта, выдранная Саввой из учебника географии в лагерной библиотеке.

— Как ты думаешь, выскочу я по Куранке к Камню?.. Там-то уж мне места известные. Заведу и выведу...

Кирилл долго водил заскорузлым пальцем по карте, тщетно пытаясь выпутаться из хитросплетений ее рек и речушек, потом сокрушенно признался:

— Я ведь тут третий год только... Я сверху пришел, оттуда, почти из-за самого Нижневирска...

— Почто?

Кирилл замялся:

— Так... от искуса...

— Ушел?

— Нет... Но легче — стало.

.
Закат лишь в намеке, солнцу еще катиться да катиться к горизонту, а под кровлей кельи уже ощущалось нарастание тревоги. С самого полудня не вставал Кирилл из-под образов, тоскливо вымаливая у них так неожиданно утерянный покой и душевное равновесие. Но молчали праведники, не

ответствовали. На какое-то время старик затихал в обманчивом просветлении, но стоило первому зоревому блику коснуться оконной крестовины, как сила, перед которой отступала, терялась вера, отрывала его от пола, уводя за порог.

А лес, замороженный нечистым лес, сводил все свои никем не считанные тропы в одну — ту, что вела к полувенцу из трех сросшихся берез, с обомшелым пеньком посередине. Кирилл садился и как бы вращал в него, становясь частью этого странного каприза природы. И вместе с сумерками старика обволакивали голоса.

Первый:

— Опять бил?

Второй:

— Бил, Федя.

— Вот гад... Я ему душу выпотрошу, мерзавцу! Да что же это такое в самом деле?! Иди в сельсовет; в колхоз, жалуйся, требуй! Обязаны разобраться. Ну нет, я этого так не оставлю!

— Бога ради, Федюша! Меня пожалей. Тебе уезжать, а мне жить с ним.

— Оля, Оля, Олечка, да оторвись ты от темноты своей! Тебя же в школе нашей учили. В пионерах, видно, ходила. Песни комсомольские пела. Как же это можно, Оля! В депо к нам пойдешь. Дело будет, жизнь будет. Сама после над собой смеяться станешь!

— Грех один, а кара-то на двоих, Федя. Не будет нам с тобой счастья.

— Ни до Бога мне, ни до черта дела нет. Завтра. Встряхнись ты, наконец, Оля. Завтра, ты слышишь? Оля же?

— Господи, и за какие только мне грехи кара?

— Думай, Ольга, думай. Жизнь свою губишь, а она ведь снова не начинается. В чем есть, в том и уходи. Все наживем. Чужого нам не требуется.

— Счастья, Федя, не будет...
— Будет, Оля, и какое еще!
— Страшно, Федя.
— Очнись, Ольгунька. Приснилось тебе все это. Приснилось, слышишь? Ну как мне душу твою прокричать?

- Ты лучше не забывай...
— Уедем, Оля.
— Помни...
— Завтра, Оля.
— До тебя я ни с кем...
— Ждать буду, приходи.
— И опосля тоже не будет...
— Со мной будет. Всегда будет. Везде будет.

Другой мир и другая жизнь стучались в Кириллово сердце, и оно вторило этому стуку часто и глухо. Людские беды и радости оборачивались для него бедами и радостями этих двух, казалось бы совсем чужих ему существ, согревших лесную ночь своим дыханием. И сомнение вновь и вновь пытало его: «А есть ли грех в этом? Греха-то, может быть, и нету? А тогда...» За этим «тогда» начиналась бездна...

В полночь Кирилл возвратился к себе. Едва он переступил порог, аспидная темь со звездным квадратом где-то в самой глубине обступила его: он не стал зажигать лампы. Он ждал благостыни, но она не снисходила. Одинаковой чернотой наливались все четыре скитских угла. Тогда старик заговорил первым. Слова, какими добрую треть жизни общался он с Господом, вдруг потеряли привычную легкость, утратили глубину и объем и даже стали мешать. Кирилл впервые ощутил себя равным тому, кого именуют Всевышним. Он сошелся с ним, как живой человек с живым, на одной узкой, очень узкой дорожке: кто-то из них должен был уступить. Поэтому и слова, из

которых складывал Кирилл свою речь, утяжелились, сделались приземленной, а потому и проще.

— Господи, скажи, зачем мучаются люди? За грехи? Так ведь грех от Тебя же, ибо все в руках Твоих. И зачем одни страдают от других? Почто били и терзали меня мне же подобные в чужой стороне? Я не веровал? Но Степан Чумаков веровал? Почто же тогда довелось ему в мочу быть утопленному? А Маркел Кириллов? На цепочке же от креста и удавился. Как же так, Господи? Венчаный зверь в облике человеческом заставляет жить с ним рабу Твою. Рази сие не прелюбодеяние? А зачем освящаешь? За грехи? За какие? Ты погляди в овечьи глазоньки ее. Нет в них греха. Это я Тебе говорю, праведник Твой. Научи, коли кощунствую, наставь. — Он умолкает на мгновение и затем почти кричит: — Рази любовь грех? Рази кара за это свята? Зачем все на слезах и крови стоит? Рази можно столько крови, а? Ведь людская она, кровь-то, не зверская! Твоя-я! Внемли!

Молчали, безмолвствовали темные скитские углы.

— Внемли-и-и-и!..

.

— Так ты думаешь, не меньше тыщи?

— Никак не мене.

— Бросаю по тридцать верст в сутки.

— Ты пройдешь, а он, — Кирилл кивнул в сторону Сашки, — пройдет?

Савве припомнились Сашкины глаза, подернутые искрой сумасшедшей решимости, не иссякшей в нем и после трех побегов, и он уверенно сказал:

— Пройдет.

Старик только вздохнул недоверчиво:

— Смотри, на твою душу грех, тебе и замаливать.

.

Кирилл знал, что она придет. И она пришла. Униженно глядя на него своими огромными глазами, женщина без утайки рассказала ему все то, о чем ему было известно до самых малых подробностей. И взгляд ее при этом вымаливал лишь одного — прощения. Но у Кирилла не осталось для нее больше умиротворяющих речений.

— Не мне, — просто молвил он, — да и не Господу Богу судить тебя. Нет у тебя грехов. Иди. Доброй дороги!

Женщина скосила взгляд в сторону, как бы раздумывая над услышанным, потом робко и благодарно улыбнулась, и улыбка эта озарила ее худое, в расползающихся пятнах лицо удивительно добрым светом. Она пошла, то и дело оглядываясь, пошла в сторону от тропы, что вела на опушку, пошла к реке.

С высокого обрыва Кирилл видел, как женщина, сильно наклонившись вперед, опустилась по крутой стежке под берег.

А там, где путь ее сомкнулся с отлогой песчаной косой, к ней подошел мужчина в серой паре, заправленной в хромовые сапоги, с железным, как у железнодорожников, сундучком в руке. Женщина сбавила шаг, приноравливаясь к его поступи, а через минуту они уже шагали в ногу вдоль студеной Вязи в сторону переправы. И Кириллу было понятно, что шагать им вот так — рука об руку — еще далеко-далеко. И в мгновение, когда они скрылись за поворотом, сердца Кириллова коснулась давняя, зовущая, гиблая боль: «Дяденька-а-а... Дяденька-а-а!»

В тот же день Кирилл бросил скит и ушел вниз, прочь от Того, Кто обошел его надеждой, в поисках другого, своего Бога.

.

К вечеру ветер немного стих. И они решились. Кирилл вывел лодку с верховьев поперечного ручья к самому устью. Уложили мешки. Молча присели на дорогу, молча погрузились, и так же молча старик вытолкнул их на большую воду. И только когда лодка сшиблась с первой волной, Кирилл не выдержал, крикнул:

— Носом на волну иди... Кормовым, кормовым загребай!

Лодка прошла едва ли и сто метров, а берег уже казался далеким-далеким и небо — в овчинку. Савва боялся оглянуться: там, за спиной, было еще пятнадцать раз по столько, если не больше. Перед ним маячила темная Кириллова фигурка, случайной корягой вросшая в берег, и его вдруг охватило острое ощущение вины перед стариком, а какой — он и сам не смог бы объяснить толком. И от этого на душе его стало тяжелее. И чтобы хоть как-то избавиться от неожиданного наваждения, Савва, полной грудью вдохнув в себя речного ветра, крикнул что есть мочи:

— Должник я твой, Кири-и-ил!

— Чего-о-о? — донеслось с берега.

— Должник, го-во-рю-ю, я тво-о-о-й!

В ответ тот лишь рукой махнул: чего уж там, мол!

•

VI

Поперечная плаха плотно вошла в паз продольной. Савва с силой стянул трепаным лыком угол между ними, одним швырком вытолкнул обрешеченную раму в воду и не мешкая стал забра-

сывать ее тальниковыми ветками. Вскоре на недвижно глянцевиной поверхности прибрежного озера обозначился довольно сносный плот.

— Выдержит? — оборачиваясь к Сашке, сомневался он для порядка и тут же сам себе ответил: — Одного — должен.

Татарин засопел и в сомнении качнул головой:

— Может, мне попробовать? Я против тебя вдвое легче буду.

— Брось, здесь, брат, не Черное море. Таймыр. Вода, ой-ой какая! Окунешься — неделю отходить будешь... Помоги-ка вот лучше.

Савва высыпал перед собой из мешочка даренную Кириллом всячину и принялся за оснастку блесен. Приладить к ним лески, сплетенные из распущенного старого носка, было для него минутным делом: тюремная выучка сгодилась здесь как нельзя кстати. Потом он осторожно ступил на плот, слегка покачался, пробуя его устойчивость, и лишь после этого решительно оттолкнул себя от берега.

— Пошла-а! — восторженно хохотнул Савва, держа вдоль берега. — Пали, Сашок, костер, уху варить будем!

Непуганая рыба шла на блесну с безбоязненным остервенением. Меньше чем через полчаса десяток пятнистых, пахнущих тиной щук уже извивался на мху перед огнем.

Это было добрым подспорьем к их оскудевшему за последние дни рациону. Дорога основательно-таки спутала, казалось бы, досконально продуманные Саввой планы. Пятьсот километров, отделавших Хамовино от Каменного взгорья, где начались знакомые ему места, он предполагал одолеть дней за пятнадцать, самое большее — двадцать: из расчета двадцать пять — тридцать верст в переход. Но при этом он не учел возможностей

своего спутника. Выросший на плотных грунтах материка, Сашка в пружинистом мху таймырской лесотундры выматывался чуть ли не через каждые два часа. Приходилось делать долгие привалы, что почти на треть удлиняло составленный в начале пути график. Но, пожалуй, врагом номер один все же оказались ручьи. Мелкие и немощные поздним летом и осенью, они обращались весной в стремительные, чуть не стометровой ширины потоки. И каждая переправа отнимала у путников не меньше дня. К тому же почти всякий раз не обходилось без приключений: то наскоро сработанный плот расползлся, едва отойдя от берега, и все кончалось холодным купанием, после которого полдня уходило на просушку, то их относило в основное русло, и надо было выбиваться из сил, чтобы хоть как-то прибить к суше, то просто-напросто плот, оказавшись в воде, сразу же шел ко дну по причине слишком большой увлажненности. Дорога, таким образом, удлинялась чуть ли не вдвое. Их дневное меню состояло теперь из сухаря, жидкой пшеничной похлебки утром и вечером и случайной добычи — рыбы да черемши, благо Савва оказался мастером по этой части.

— Отдохнем, однако, малость, — зевнул Савва, расстилая у погасшего костра бушлат. Они только что поели, и Сашка скреб у озерца котелок. — Сегодня можно. Я тут с утра процвырнулсЯ вверх. Там через ручей льдина половодная легла. Так что во времени у нас экономия будет.

Сашка не оборачиваясь буркнул:

— До твоих Камней — как до того света.

— Больше прошли — меньше осталось.

— Может, двинем?

— Ложись, ложись, успеем.

Савва знал, чувствовал, что татарин, изо всех сил стараясь скрыть свою усталость, торопился

против собственной воли, но именно поэтому он по мере возможности и удлинял остановки: лучше уж, думалось ему, давать Сашке почаще отдыхать сейчас, чем длинными переходами довести парня до такого состояния, когда его придется тащить на себе.

— Идешь, идешь, — как бы оправдываясь, говорил между тем Сашка, — а все будто на месте. Не земля — перина.

— Тундра, брат, привыкай. Ее не обманешь: сколько ни иди, дальше, чем положено, не уйдешь.

— Мне бы только до моря...

— А там?

Уголки Сашкиных губ растянулись в загадочной ухмылке.

— Где море, там воля.

— По хомуту соскучился?

— Я незаметный. За малолетку сойду.

— Ну и что?

— В приемник возьмут, а там — концы в воду. У малолеток отпечатков не берут. Назовись хоть Петровым, хоть Сидоровым, никакой розыск не докопается.

— До моря-то знаешь еще сколько?

— Дойду.

— Меня будешь слушать — дойдешь.

— И сам дойду.

— Тайга чужих не любит.

— Я везде — свой.

— Ну-ну...

Двое замолкли, занятые каждый собой, своими думами. Савва стал переиначивать про себя взломанный обстоятельствами график. По новым его подсчетам, к Камням они должны будут выйти минимум через неделю. Камни виделись ему теперь спасением, хотя от них до Петы, где он по уговору на одном из свиданий сможет отсидеться

в глухой дядькиной заимке, и оставалось еще верст не менее трехсот. У Камней брала свой исток вдоль и поперек искоженная им Нейнича. Там ему были доподлинно известны заповедные гусиные озера, олени выпасы и заимки, в которых всегда любой путник может найти тепло и еду. И какой бы трудной ни оказалась дорога, Савва не сомневался, что дойдет, доползет, дотянется до цели. Его тревожил только Сашка. Студеные купания на переправах не прошли для парня даром. По ночам татарина лихорадило, а в пути горячая испарина обметывала его все более заострившееся лицо.

— Спишь?

— Нет.

— Подъем?

— Лады.

— Отошел малость?

Сашка не ответил, поднялся, натягивая бушлат, перекинул через плечо порядком отощавший мешок и пошел к блиставшей за срезом обрывистого берега реке. Савва одобрительно усмехнулся: «Гордый!»

VII

Савва взошел на гору и посмотрел вниз. Отсюда, с высоты птичьего полета, город походил на добросовестно сработанный макет из местного краеведческого музея: пыльное нагромождение коробок в разноцветных заплатах ставен, забранных местами тусклой зеленью. Все являло собой зрелище скучное и убогое. Он покидал родной город без сожаления. Ему было чуть больше двадцати, а в таком возрасте мало кого волнуют нелады с паспортным режимом. Не прописали — так не прописали. Плевать! А тетке, тетке раньше надо было думать. Колонийских щей ему пришлось хлебнуть

по ее милости. И, кстати сказать, не сладких. Сама отправляла, пусть теперь сама и коротает свою старость в одиночку. Будет о чем пожалеть перед смертью.

Июльский полдень круто замешивал душную тишину, и Савве вдруг показалось, что время встало и что он замер вот так на Хитровой горе уже много-много лет, как бы ожидая: чем же все это кончится? После минутного оцепенения его охватил почти непреодолимый порыв швырнуть туда, вниз, что-нибудь тяжелое, взбаламутить, растормошить эту будто освинцованную пылью скуку, заставить ее захлебнуться в судорожном вое, и, чтобы побороть озорной искус, он круто повернулся и пошел прочь.

Нет, он никогда не вернется сюда, но уж конечно и не клюнет ни на какие вербовочные сказки. Дудки! Его не устраивала роль подопытного кролика. Ему это надоело еще в начальной школе. И не то чтобы он боялся или же был ленив. Он знал цену сделанной вещи и любил самое дело. И бояться ему было нечего. Он умел постоять за себя: в колонии слабые не выживали.

Но только у него и в двадцать лет имелся взгляд на всякие такие вещи. Предположим, ему придется строить города, а заселять их все равно же будут какие-нибудь белявцы, вроде теткинго соседа — клубничника Ферапонтыча. Заселять и плодиться, наращивая оборотный капитал доходами с огородов. И все чужими руками, за чужой счет. Нет уж, гражданин Ферапонтыч, извините. Адью то есть! Себе дороже. Понастроят там, понаворочают люди всяких всячин и пойдут дальше обживать, как говорится, землю, а этакая клубничная белявка приползет вслед за ними с личными сундуками и чемоданами на все готовое и начнет ужаживать свою приусадебную вотчину. Она, эта

белявка, газет не читает. Ей на высокие материи плевать. А люди будут идти и идти, и падать, и умирать в своем тяжелом переходе, а она потихонечку-полегонечку все за ними, за ними. Они так и двигаются все века — след в след: зодчий и червь.

Города уже не стало видно. Только, срезанная горизонтом с остова, еще маячила на фоне белесого, будто присыпанного по кромке мучнистой пылью, солнца обшарпанная маковка городской церкви. Потом и она стала тонуть, втягивая под обрыв свою блистающую золотом крестовину. Горизонты начали сдвигаться, остывающая высь набухала тьмью, на которой час от часу все отчетливее становилось ослепительно острое мерцание звезд. И парню почудилось, будто земля стремительно и бесшумно несется туда, навстречу им, далеким и зовущим, и что он летит вместе с нею все стремительнее и круче, и оттого ему стало весело и немного жутко.

А звезды обозначались все определеннее и ярче. Особенно одна. Крупная, отчетливо резкая, она выделялась среди других своей явственной близостью к земле. Сколько до нее? Пять, десять, сто лет? Но, может быть, это только так кажется, а на самом деле к ней можно прикоснуться, стоит лишь руку протянуть?

И Савве стало весело и легко от ощущения собственного, не стесненного никем озорства. Он сел на бровку кювета, снял свои тяжелые, казеннойковки ботинки и, связав их за шнурки, перекинул через плечо.

— Так-то, — он сказал самому себе, — оно, брат, куда легче!

И пошел себе прочь от Белявска, от своего прошлого, от воспоминаний.

.

Савва проснулся от легкого шлепка в пятку: кто-то методически обстреливал его земляными комьями. Сено вокруг было сплошь усыпано суглинистой крошкой. Он поднял голову: метрах в пятнадцати прямо против него, оседлав придорожный пенек, скалился в Саввину сторону лохматый горбоносый парень в нанковой робе поверх линялого тельника. Вывернутая из-под ног дернина заменяла ему склад боезапасов.

— Слушай, друг, — определил свою позицию Савва, — у тебя это шикарно получается. Но, может быть, ты двинешь отсюда своим ходом?

Тот не обиделся. Облегченно вздохнул и поднялся, отряхивая ладони.

— Откуда я знал, сир, а вдруг вы псих и у вас зараз сумеречное состояние? Приличная дистанция в таких случаях — залог успеха.

Речь горбоносого явно не вязалась со всем его обликом, и от этого в душе Саввы, как при подобных обстоятельствах обычно бывает, определилась тяжелая неприязнь — неприязнь сопротивления тому, чего нельзя понять сразу.

— Слушай, ты, друг, — снова, но уже значительней сказал он, — состояние у меня первоклассное. И вообще осторожнее на поворотах: имею второй по спринту... Так что брось травить... До Белявска далеко?

— Отсюда? — осмелел тот. — Абсолютно в другом полушарии, но практически — двадцать пять верст с крохотным довеском... Куда путь держите, сир?

Снова растягиваясь вдоль копны, Савва зевнул:

— Никуда.

— Так это-таки рядом — за поворотом...

— Третий дом от второго угла?

— Под желтой черепицей.

- Резные наличники?
- Ворота с золотым петушком на фронтоне.
- С девизом в клюве: «На всякого ушлого — десять дошлых».
- Все верно. Где проходили курс трёпа?
- В Уфе.
- Хорошая школа. Великий звон по Союзу катится.

— Да уж, пижонам в Уфе зябко.

— Что ж, — дружелюбно засуетился незнакомец, — азохен вейк, как сказали бы у нас в Хацетовке. Сполоснем это дело?

И то, что еще минуту назад раздражало Савву в незнакомце, — одежда, так не вязавшаяся с манерой изъясняться, эта его ирония внутреннего превосходства и даже само появление чуть ли не из-под земли, — сразу приобрело свою естественную законченность.

А тот уже деловито объяснялся на ходу:

— Для ясности — Зяма... Я плохо верю в дружбу народов: у меня неправильно срослись четыре ребра, но, по-моему, вы — мыслящий парень... Я прошу вас чуть-чуть посунуться... Нет, детка, я не сделаю вам больно... Вот так...

Зяма запустил руку в копну и начал осторожно там шарить. А через минуту он уже прижимал к груди вытянутую из-под сена за конец шпагата литровую бутылку с кукурузной кочерыжкой вместо затычки.

— Я, откровенно, боялся, что вы проспите эту красотку. — Зяма откупорил свое сокровище и самозабвенно втянул в себя сивушный аромат. — Экстра! Почти хванчкара! Какой букет! За такую штуку, сир, говорят, в Париже золотом платят. Стоит...

Нанковая его куртка тут же обернулась скатертью-самобранкой: рядом с увесистой краюшкой

ситного выросли пучок зеленого лука, чесночная головка и два тугих багровых помидора, густо посыпанных солью. Зяма щедро наполнил до краев отполированную до блеска крышку от авторадиатора:

— Попрошу вас, как говорят у нас на Хацепетовке, маем день — маем пиштю.

Савва твердо решил больше ничему не удивляться. И хотя бражничать в чистом поле с первым встречным, по его мнению, было довольно бездарно, он мужественно опрокинул в себя жгучее варево: надо же быть мужчиной, черт побери! Горечь, сдобренная круто посоленной зеленью, расслабляющей истомой подкатила к сердцу. Хотелось опрокинуться навзничь и не двигаясь смотреть и смотреть в отбеленное рассветом небо. Просто так — лежать и смотреть.

— Цель вашего маршрута, сир, — определил Зяма, похрустывая чесночиной, — мне ясна. Остается выяснить детали. — Кофейные глаза его подернулись хмельной поволокой. — Могу предложить сносную компанию. Вид на жительство и прописка не обязательны. Почти первобытная община... В общем, люкас, как говорят у нас в Хацепетовке... Еще по одной?

В течение пяти минут он набросал перед ним короткую, но достаточно прочувствованную картину их будущей совместной жизни: станичному кирпичному заводу позарез нужны сезонные рабочие. Завод на отшибе от станицы, и поэтому здесь охотников до путешествий чуть не тридцать верст в оба конца мало. Берут встречного-поперечного, лишь бы руки-ноги целы. Документов не спрашивают. Отработал — получи свое и дуй с Богом на все четыре стороны. Сейчас — выгрузка. Самое время заработков. Трудодень с тысячи. Плюс личная инициатива. Братва будто на подбор,

один к одному. Гвоздя вершкового в рот не клади. Пьют все, начиная от доброкачественного керосина.

— Решайтесь, сир, — заключил Зяма, — слово за вами.

— Посмотрим.

— Фортуна сама просится к вам бай-бай, сир, а вы еще ломаетесь.

— Покладистые не в моем вкусе.

— Вы — импотент, вам надо, чтобы она еще и поломалась?

— Ладно, наливай.

— Это деловой разговор.

После третьей Саввой овладело такое состояние, когда все на свете выглядит простым и доступным. «А почему бы и нет? — думал он, глядя, как тонкие, едва тронутые рабочей окалиной пальцы Зямы ловко разламывают помидор надвое. — Пойду — и все тут. Я сам себе хозяин. И к черту Белявск! И к черту тетку! И к черту ее посулы! Савва хочет жить по своему усмотрению!»

И, дурачась, он легко ткнул Зяму кулаком в бок:

— Кирпичный так кирпичный... Но где же труба?.. Я не вижу трубы...

— Труба? — две Зямыны кофеины стали круглыми. — А зачем вам труба, сир? Мы живем без трубы и, слава Богу, не жалуемся.

— Какой же завод без трубы?

Зяма стал деловитым:

— Будь по-вашему. Если-таки вы не можете без трубы, мы запросим ее телеграфом из чикагского отделения «Дженерал моторс». Вы довольны?

— По рукам.

— Сир, вы — мировой парень!

— Ты тоже... того... ничего...

— В вас, сир, умер Цицерон...

— Ну-ну... Наливай...

— Прошу вас...

— Твое.

— Бывай.

Им стало весело. Очень весело. Весело от выпитого, от необычайности встречи, от солнечного великолепия утреннего июля, от ощущения своей молодости, наконец. Между долгими объяснениями во взаимной симпатии они допили бутылку, и Зяма, водворив посудину на место, протрубил подъем:

— Вперед и выше, как учат классики! Жрребий бррошен!.. — Потом он кивнул на остатки закуски и уже буднично добавил: — А ведь совсем кавказская кухня: зелень под сухое.

Но и вставая, Савва все еще куражился:

— И все-таки, что за гигант без трубы? Какая-то липа, а не гигант...

— Я-таки вам сказал уже, сир, про чикагское отделение, — почти грубо оборвал тот, — даже если нам придется закрыть это отделение на переоборудование... С вашим паспортом вам не следует быть привередливым... Да, да, таки не следует...

— Слушай, ты, Хацапетовка, — в свою очередь взъелся Савва, — а тоном ниже нельзя? Или тебе придется лететь до своего завода на одном двигателе.

— Бросьте, сир, ваши великодержавные штучки, я начинаю сердиться. Это плохой признак. Я могу вам вынимать глаз на нервной почве и скормить его моему доберман-пинчеру.

— Боюсь, что твоему пинчеру придется сглотнуть и челюсть хозяина. Боюсь, доберман подавится.

— Без трепу.

— Без трепу.

— Я не люблю звонарей.

— Мне они тоже не нравятся.

Они встали друг против друга, красные и непримиримые. Казалось, драка здесь — вопрос минуты. Но вот острые Зямыны плечи дрогнули, мелко-мелко затряслись, а сам он, как бы задохнувшись, стал медленно опускаться на корточки. Саввиной воинственности хватило на мгновение. Хохот, удушливый и почти истерический, принялся вытряхивать из них душу.

— Доберман,.. — еле выговаривал в промежутках между приступами Зяма, — пинчер.

— Пинчер, — эхом вторил ему, давась от смеха, Савва.

— Доберман!

— Пинчер!

— Доберман!

— Пинчер!

— Даешь!

— Даю!

Они смеялись так — беспричинно. Просто им было весело. Очень весело. Они шли по утренней дороге, то и дело приседая друг против друга в приступах смеха, два почти незнакомых парня, и оба были молоды, и отпущено им было природой всего впрок: и солнца, и веселья, и утра, которое может не кончаться никогда, если идти по земле не останавливаясь. Ведь только младенцам да пьяным доступно, что она круглая.

.
Что за чертовщина?! Савва, постепенно приходя в себя, тупо изучал полуистлевший плакат на стене прямо против него: «Выгодно, надежно и удобно...» Плечистый счастливец со сберкнижкой в вытянутой над квадратной головой руке нагло улыбался ему своим желтозубым ртом и, казалось, поддразнивал: «Что, брат, влип?» Одурачивая окись самогонного перегара во рту добавляла к его

пробуждению еще больше тоски и скуки. Он попытался было мысленно восстановить логическую цепь событий, приведших его к этому, в эту незнакомую, наспех побеленную комнату. Но редкие озарения выхватывали из памяти, обложенной головной болью, лишь разрозненные куски целого: стог у дороги, лохматого парня в нанковой робе поверх блеклого тельника и багровые помидоры, густо осыпанные солью. Зачем он здесь? И как, наконец, он сюда попал?

Савва опустил ноги на пол и только тут поймал на себе долгий взгляд. Справа от него, на топчане, застланном стеганой ветошью, сидел, заложив между колен темные лопатистые руки, широкой кости мужик. Лет сорока с небольшим. В разрезе его исподней рубахи провисало на лоснящейся бечеве оловянное распятие. Большие, цвета апрельского снега, глаза мужика оглядывали гостя из-под сильно выдвинутых вперед кустистых надбровий с грустной озадаченностью, будто тяжело больного. Долгая, почти нечеловеческая усталость, изваявшая его согбенную позу, отстаивалась в них глубоким, пронзительным светом. Он мог быть и добрым, этот человек, но рядом с ним, наверное, людям жилось неуютно.

Савва чувствовал, что он как бы убывает в размерах, становится все крохотнее и бесплотней. Ему вдруг сделалось не по себе, и он, срывая досаду, грубо спросил:

— Вечер, что ли?

Тот ответил тихо и обезоруживающе дружелюбно:

— Вечер, милый, вечер.

Мужик сразу приобрел земную реальность, стал проще, объяснимее, желтозубый счастливец с госстраховского плаката занял наконец в комнате соответствующее ему место, а логика дневных

событий вытянулась в непрерывную линию, окончание которой, как ручей в пески, уходило в новое для Саввы понятие: кирпичный завод.

Тогда Савва спросил:

— Зяма где?

— Зиновий? — Он неожиданно посуровел и заговорил быстро и с ожесточением: — Нехристи... Работают... Воскресенье святое, а им все одно. Работают... Нет о Господе подумать, дню Божьему порадоваться... Работают... Прости меня, Господи, грешного! Работают!..

Мужик встал и, казалось, заполнил комнату, до того он был кряжист и могутен. Истово перекрестившись, он темной бесформенной глыбой нагнулся на парня:

— Эх, букашки, тцатся Всевышнего обойти! — И почти без перехода: — Ты кто сам-то?

— Человек.

— Вижу, что не теля. Кто, спрашиваю? Какого рода? Откуда?

— Из Белявска.

— Куда идешь? Зачем? — И не ожидая ответа: — Идут люди, идут... А куда?.. А зачем? Бога потеряли и пошли, двинулись...

Тетка Саввина шагу не могла шагнуть, чтобы не осенить себя крестным знаменем, и уж говорила она, не в пример этому босому пророку, куда речистее, но парень так и не усвоил прописей библейской грамоты: воздуха для них вокруг не хватало, что ли. Поэтому сейчас тяжелые, чужие слова, как и человек, произносивший их, не западая в памяти, только раздражали болезненной своею обнаженностью...

— Ты бы хоть, дядя Степан, опомниться человеку дал!

На пороге, словно по щучьему велению, выросла девка. Было в ней что-то от птицы: тонкий

горбоносый профиль, вопросительно вскинутые крылья бровей, миндалевидный разрез глаз, и даже платье из пестро-дымчатого застиранного ситчика облегалo ее худую ловкую фигуру вроде оперения — чутко и невесомо.

— Шабашат ребята, — ровно объяснила птица, расставляя по старательно выскобленному столу миски, — вечерять будем.

И по тому необязательному здесь и неверному «вечерять» можно было безошибочно определить, что она нездешняя, а скорее всего оттуда, из России, и что местное произношение дается ей с трудом. Между делом дeвка коротко, в упор, взглянула на Савву и скуп0 обронила:

— Дуся.

Резкие, сухие губы ее надломилась в полуулыбке. И в том, как она это сказала, и какое было у нее при этом лицо, и, главное, этой вот короткой трещинкой улыбки определялось между нею и гостем сразу все: и признание «де-факто», и мера приязни, и дистанция взаимоотношений, наконец.

— Савва.

Та молча пожала плечами, кивнула: знаю, мол, — и, погремев посудой, вышла. А Степан, словно все сказанное здесь только что было пустячным и малозначительным, снова повел свою речь именно с того слова, на котором его оборвали, но уже мягче, проникновеннее:

— Идут люди, идут... Не стало покоя на людской душе... Ходит человек по свету, счастья ищет, и невдомек ему, что счастье-то он свое от люльки до гробовой доски с собой носит. Стань на месте и смотри: кусок хлеба тебе делом даден, солнце светит, птахи поют, а сон тебе от века твой. Так чего же бы еще хотеть, чего искать? Все для тебя без нас найдено, всему место и определение дано. Живи и благодари Бога, что и тебя, тварь эдакую кро-

хотную, милостями не обошел... Нет, идет... Стронулся с места... А с ним и вся красота, вся благодать струнулась, перемешалась... Мельтешит все, вертится. И живем, как белки в колесе — бежим, а куда? Куда?!. Встать нужно, осмотреться, тогда, может, и образуется...

Странные слова ночными птицами кружились над головой, и, хотя Савве не под силу было определить цвет и природу каждого, полет их казался ему сейчас высоким и вещим: что-то действительно сдвинулось в этом мире. И, пожалуй, впервые он понял, что многое, чем полна душа, можно обозначить всего одним словом. Одним-единственным словом.

.

— Сир, у вас случаем дед не брандмайором был? Так самоотверженно может дрыхнуть только потомственный пожарник... Сир, вас просюť до начальства! — Зяма, снисходительно похохатывая, тормозил Савву. — Двадцать четыре часа на одном ребре! Сенсация века!

Зяма был уже заметно навеселе, и, пока Савва натягивал сапоги, он, оседлав угол стола, упражнялся над гостем в красноречии и островах:

— Сейчас вы предстанете пред светлые очи всевышнего амбарного масштаба. Как и все нерукотворные, спаситель не любит возражений, достоинства и трезвенности.. Надеюсь, сир, вы не посрамите моих рекомендаций? — Но, выходя следом за Саввой, он внезапно посерьезнел: — В бутылку не лезь. Бутылки, сир, не для этой цели.

— Не стелиться же мне перед ним.

— Не растаешь.

— Здорово он вас скрутил.

— С тридцать девятой в паспорте сам скрутишься. На удавочке держит. Только, — Зяма не-

ожиданно потемнел, — у меня с ним расчет впереди. Люблю получать наличными.

Савва искоса взглянул на своего провожатого, и впервой за короткое их знакомство из-под хмельной поволоки желтых Зямыных глаз потянуло на него такой глубокой и устойчивой тоской, что плечи его, словно от озноба, свела зябкая судорога: видно, дорого давалось парню даровое балагурство.

— Лады, — примирительно успокоил его Савва. — Представляюсь, как в лучших домах Лондона.

Зяма облегченно вздохнул, пропуская друга вперед:

— Давай.

Заводская конторка — выбеленная коробка об одно окно — располагалась рядом, через стену, со входом в торцовой части единственной тут жилой постройки. Четверо в конторе встретили гостя молчаливым вопросом: кто такой? с чем пришел? Трое сидели на скамье вдоль стены, четвертый — за столом, около какого, на известном правда, расстоянии, чем только как бы подчеркивалось ее сегодняшнее назначение, была поставлена табуретка. Савва знал лишь одного — Степана. Из-за крутого Степанова плеча виделась ему тупая скула в крупную щербатину; бесцветный глаз косил в его сторону с откровенной враждой. А с другого конца куцей скамьи, привалившись спиной к стене, с деловым любопытством вглядывался в новичка из-под надвинутой почти на самые брови тюбетейки узкоплечий, но жилистого вида мальчик в такой же, как у Зямы, нанковой робе и чунях на босу ногу. Его свободная поза, небрежное поигрывание цепочкой пряжки, исполненной в лучших московских традициях, независимый, с некоторым даже вызовом облик отличали в нем жоака, заводилу. Всем своим видом он как бы предупреждал новичка: «Мне все равно, кто ты. Но кем бы

ты ни оказался и что бы тут сейчас ни говорил, главное объяснение тебе придется иметь со мной».

— Садись, — подтолкнул его сзади Зяма к табуретке. — Просю вас, господа, мой друг Савва в одну вторую натуральной величины.

Тот, что сидел за столом, — могучный толстяк, затянутый с ног до головы в хром и сукно, — оглядывал острыми и заплывшими, как у старого хряка, глазками, изредка, вроде бы в такт своим мыслям, пошлепывая короткими пальцами по настольному стеклу, под которым поверх графиков и ведомостей красовалась грудастая русалка — де-тище ножниц и не очень богатого воображения. Его широкое, мясистое лицо с апоплексическим румянцем во всю щеку могло бы показаться даже добродушным, если бы не вот эти глазки-буравчики. Они вонзались в Савву с усмешливой жесткостью:

— Тебе уже, видно, втолковали, что здесь к чему? — Голос у него оказался не по фигуре тонким и как бы навсегда обиженным. Он говорил, будто жаловался на кого-то. — Ты работаешь — я ставлю галочки. Коли не дурак, копейка не переведется. Ешь, пей, спи. Короче, сопи в две дырочки. Остальное — моя забота. Разумеешь?

— Так что же тут хитрого? — Савве он неожиданно понравился, этот боров в сукне и хrome: бодяги по крайней мере не разводит. — Ясно, как таблица умножения.

— Ишь ты, — мастер, ища сочувствия, оглядел братию, — видать, битый.

Савва в долгу не остался:

— Битый, мятый, колотый. Пробы ставить негде.

— Я же говорил, — победно засуетился Зяма, — люкас парень. Свой в доску.

— Тогда, — мастер поднялся, и кожаное полупальто на нем закрипело, и только тут стало видно, что он плотно и устойчиво пьян, — давай, братва, за дело. Сейчас кирпич в станице на вес бриллиантов. Выдай ему, Валет, пару рукавиц.

Мастер вышел вслед за всеми и, покачиваясь, остановился у порога, хмельным взглядом пошарил по двору и жалобно окликнул братву:

— А Дуська где? Где ее, суку, черт носит? Зяма, разыскать!

Тот, что был в чунях на босу ногу, ответил за всех:

— Она, мастер, на озере, с бельишком возит-ся. Позвать, что ли?

Нетвердым шагом мастер подошел к Зяме, взял его под подбородок и, посмеиваясь одними губами, проговорил:

— А рази я тебя, Валет, прошю? Нет, я не тебя, Валет Валетыч, прошю, я вот его прошю. Пускай он сходить. Ведь промеж них любовь, я так думаю. Ему и книги в руки. А то мне побаловаться опять же страсть как хочется. Моя-то на сносях...

Зяма вертелся на месте, пытаясь высвободить подбородок, но культяпистые мастеровые пальцы все ухватистей всасывались ему в кожу.

— Я вас, шпану посадочную, научу меня уважать... Так пойдешь, милос? Пойдешь, а?

Зяма наконец вырвался и, отскочив шагов на пять в сторону, выпалил захлебывающимся полупшепотом:

— Ладно, мастер. Я схожу, мастер. Сам знаешь, податься мне некуда... Я схожу, схожу... Только, когда набалуешься, вспомни: у меня к тебе разговор будет.

Валет снова сказал:

— Давай позову, мастер.

— Цыть, москаль!.. Пусть сам идет.

— Ладно, мастер, я таки иду, — Зяма уже шел к озеру, но шел странно — боком этак, словно боясь или не смея повернуться к борову спиной. — Ты хочешь наплевать мне в душу. Ты очень хочешь наплевать мне в душу, но только я ее выхаркал вместе с кровью... Да, мастер, выхаркал...

Спускаясь к озеру, он все еще оборачивался, оборачивался и все что-то говорил, говорил, но его уже не было слышно. Все смотрели ему вслед и молчали, тяжело молчали, угрюмо. Только пьяно похохатывал мастер да беззвучно шевелились иссиня-белые Степановы губы.

— «Да, — подумал Савва, прикидывая обстановку, — дела».

VIII

Сашка бредил. Бредил вот уже третью ночевку подряд. Из отрывистого, горячего шепота татарина Савва примерно воспроизвел в воображении цепь событий, каковая привела Сашку за колючую проволоку. И ему сделалась вдруг понятной и оправданной горькая ожесточенность товарища. словно вспышка спички в крошечной темноте, когда освещенный пяточок земли вбирает в себя целый мир, Саввино сознание озарилось истиной, что существует предел человеческому терпению, переступив который человек становится прав во всем, что бы он ни совершил. Наверное, именно ощущение этой своей правоты и помогало тщедушному южанину вставать всякий раз после ночлега и, не жалуясь, не ропща, идти за ним — след в след — от стоянки к стоянке.

«Только бы дотянул до Камней, — думал Савва, — только бы дотянул. Там будет легче. Там — тепло, там — выпасы. Оленьей кровью отпою. Вылежится».

Он встал, встряхнул бушлат, накрыл им спящего и, выплеснув вчерашний кипяток из котелка, двинулся к берегу. Над подсвеченной незаходящим солнцем Куранкой дымилась студеная паутина. Стояла такая оглушающая тишь, что даже прикосновение котелка к вороненой матовости воды слышалось чуть ли не взрывом.

И в это мгновение ясной, очищающей тишины Савву ожгло острое ощущение своей кровной принадлежности к ней и ко всему, что сейчас было ею исполнено. Ему стало жутко только от одного предположения очутиться когда-нибудь вне всего этого... Савве сразу же вспомнилось все оставшееся у него позади...

Во всю длину полукилометровой дороги от рабочей до жилой зоны друг против друга стояли «Газы». «Газы» стояли носами к жилой зоне и, мелко трясясь, пофыркивали, будто продрогшие лошади. Между ними, выхваченные из темноты светом фар, хлюпали по весенней стлани молчаливые колонны. Под ознобливой изморосью, тускло блистая, плыли сквозь неверный свет шапки и ватники. Где-то в самом хвосте молчаливого шествия, резко и отрывисто, с коротким подскуливанием взлетал и тут же захлебывался в плотном воздухе надрывной собачий лай. А колонны хлюпали и хлюпали по жидкой стлани — молчаливые и целеустремленные. Казалось, через поднятый к низкому небу лес, едва светясь, ползет какое-то огромное темное чудо. Савве приходилось ходить крайним в шеренге. Нога его то и дело соскальзывала с узкой стлани и почти по щиколотку погружалась в липкое месиво обочины. Ботинок набух холодной жижей, и нога оттого тягостно и ломко ныла. По въевшейся из года привычке, идя, он отсчитывал шаги.

О Господи, сколько раз Савва мысленно убеждал себя: завтра, завтра, завтра. Но завтра наступало, а он так и не решался. Это не очень просто — переступить черту, за которой ты становишься изгоем на своей же земле. Ему стоило только подумать об этом — и смутное томление враз охватывало его, и сердце начинало биться глухо и ноюще, как при спуске на качелях.

Всякий раз, вышагивая через лес и по привычке отсчитывая шаги, Савва решал: завтра. Завтра — или уже никогда. Никогда более он не найдет в себе силу преодолеть это вот властное и день ото дня растущее чувство страха перед неизвестностью, не сможет, не сумеет разорвать темь перед собой. А тогда наступит самое страшное, что может быть в его положении, — привычка. Привычка и равнодушие. Он намеренно гнал от себя мысль о том, что ждет его там — за стеной лиственниц, у моря. Будь что будет! Иначе сколько же еще сможет он, его тело, его мозг, нервы выдержать этой вот дороги, этой измороси, этого пронзительного безмолвия? Он придумывал самые хитроумные варианты; прикидывал, подсчитывал. Голодая, обменивая пайки на вещи и деньги. Но как только доходило до дела, Савву оставляла решимость. И снова надежда гнала его в барак, на нары, и он пластом валился на них и засыпал сном, тревожным и зыбким.

А на следующий день он снова всматривался в ночь и с мучительной нерешительностью думал о том, что хорошо бы вот сейчас оказаться там, в темном провале между зоной и последней машиной, и пойти лесом куда глаза глядят, безо всякой цели, просто затем, чтобы ощутить хоть на минуту, хоть на мгновение ту неповторимую радость простора, ту блаженную раскобанность, о которой

он грезил в самых счастливых своих лагерных снах.

Но теперь, когда Савва наконец нашел в себе силы вырваться из-за колючки и пойти той одной ему известной и, казалось бы, досконально продуманной дорогой к своему спасению, в нем вдруг, словно первый побег в мае, выбилось и озарило душу долгое сомнение. И, пожалуй, только сейчас он в полной мере осознал, понял, почувствовал, что привязывало к этой земле и веру взыскующего Кирилла, и обделенную любовью Васёну Горлову, и обойденного долей татарина. И Савве почему-то стало жаль себя, жаль своего одиночества...

Когда Савва вернулся, татарин уже ворожил у вчерашнего пепла, раздувая огонь.

— Замерз?

Сашка исподлобья взглянул на него и снова занялся своим делом:

— Не горит, отсырело все за ночь.

— Дай-ка я.

— Я сам.

Желтый язычок пламени пробился наконец сквозь горку веток и сразу же весело ударил вверх и обхватил жестяное дно котелка.

— Скоро Камни, — сказал Савва, ссыпая в воду ровно две горсти остаточного пшена. — Мелеет река.

— До твоих Камней как до того света, — в который раз уже за время пути повторил Сашка и сплюнул в огонь. — Видно, они к самому полюсу подались... Посоли: закипает...

— Мелеет, говорю, река, — значит, скоро.

— Оттуда тоже переть да переть. Надо мне было к Салехарду подаваться.

— Пропал бы, тайга — это тебе не ботаниче-

ский сад: в трех соснах помрешь. А и вышел бы — все равно у Салехарда взяли, там заслоны.

— Проскочил бы.

— Я не неволил.

— А тебе что тут делать? Не отсидишься: продадут. Теперь такой народ пошел — за копейку родную маманю спустят на толкучке...

— Я и не думаю отсиживаться. Окрепну только, силу верну.

— И куда?

— Да хоть к черту на рога. Есть у меня план... Навигация откроется — с первым загрансудном уйду... Нет здесь мне жизни.

Впервые за все их знакомство Сашка посмотрел на него в упор — долго и вопросительно.

— Хозяин-барин. Только я на ихнего брата в Сочах обсмотрелся. Ходят, рожи жирные, смотрят, как хряки на птичник. Двугривенный даст — словно пуд золота отвалит. Зверьем от них прет, даром что одеты... Мне бомбардир один, Васюта Шухер, песню, помню, пел: «Не хочу твою хваленку, ты мне дай мою хуленку». И лопочут опять же не по-нашему. К примеру, он тебя гадом обзовет, а ты — ни бу-бум... Смотри, только я не советую. Уж лучше снова в зону.

Савва смолчал. Слишком уж крепко, до малых подробностей все взвешивалось им, прежде чем он укрепился в своем намерении, чтобы какие бы то ни было речи могли изменить его решение.

Кулеш выхлебали молча.

— Река обмелела, ручьев, — поднялся Сашка, — надо думать, меньше будет.

— Будут, но легкие, — Савва заступил ему дорогу и пошел вперед. — По колено.

Он взял берегом. Мелкий галечник хрустел и щелкал под ногами, и следом за ним, надсадно дыша, но не отставая, шагал Сашка, и от этого

немого Сашкиного упорства у него теплело на сердце: «С таким уйду, не отстанет».

Затем, на привале, Сашка, заматывая куском проволоки развалившийся ботинок, тихо ругался себе под нос:

— Выдали урки смену! Падаль!.. Теперь по всему шву пойдет. А еще за человека хлял... «На, говорит, почти новые...» Это за мои же сапоги... Кирзовые... Олень сохатый!..

— До Камней доберемся, — успокаивал Савва, — я тебе их за милую душу обделаю, будут, как новые.

Тот лишь поднял на него глаза, исполненные злобной горечью, и, не ответив, сплюнул в сердцах. Сплюнул, и вдруг посерел, и взглянул в сторону Саввы совсем по-собачьи — заискивающе и уничиженно: багровый сгусток спекался у его ног.

Тишина, наступившая вслед за этим, казалось, обрела вес и объем, до того она была тяжела и бесконечна. Первым заговорил Савва.

— Шабаш, — сказал он, сбрасывая с себя заплечный мешок, — греться будем.

Сашка низко опустил голову, отчего стал еще меньше и беззащитнее.

— Я дойду... Я не заразный... Это у меня давно... С простуды всегда так... Я дойду... Вот увидишь...

— Лежи только. Топки надо наломать... Лежи.

IX

Что и говорить, это была работенка! Савве пришлось основательно-таки выложиться, чтобы дотянуть до конца дня. Из квадратной ямы кирпич надо было выложить на перекидную доску, погрузить в тачку и вывезти метров за пятьдесят в гору к самому подъезду тракторного прицепа. И как он

ни бился, стараясь не отстать от ребят, кладка его при шабаше выглядела чуть не вдвое меньше соседних. Сглатывая пот, смешанный со скрипучей кирпичной пылью, Савва вылез из печи, прошел несколько шагов и с размаху повалился плашмя на траву. Весь он, словно колокольная медь после удара, был полон густого томного звона, и казалось, земля под ним тоже вещь и властно гудела. Хотелось лежать вот так, вниз лицом, широко раскинув руки, и ни о чем, совсем ни о чем не думать. Но мысли, жгучие и дразнящие, уже одолевали его, и он, захваченный их необратимым круговоротом, снова выходил один на один с легионом неотступных вопросов и сомнений. Савве всегда думалось, что его пустили в мир, не сказав, не сообщив ему чего-то самого основного, самого главного. Он ходил по земле, ел, пил, спал, делал все, что положено делать людям в детстве и юности, но его ни на минуту не оставляло ощущение пустяшности, тщеты своей жизни. Это было вроде езды на бочке, когда приходится, не задумываясь и не оглядываясь по сторонам, следить только за тем, чтобы не соскользнуть вниз. Савва жил предчувствием перемены, после которой все пойдет по-иному и мир откроется ему своей новой, скрытой пока что от него стороной. Именно поэтому он не остался у тетки в Белявске, именно поэтому пошел на первый же огонек в степи... Но выйдет ли толк из всех его случайных скитаний, один Господь Бог знает!..

Кто-то легко опустился рядом с ним на траву и сразу же задышал часто и тревожно. По характерному запаху стирки и вот этому легкому, прерывистому дыханию он догадался: Дуся. После того, что произошло утром, Савву подмывало желание ударить ее, сказать ей самые злые, самые оскорбительные слова, но он лежал, не поднимая

головы, и молчал, и сердце его учащенно дергалось, отдаваясь в висках частыми и глухими ударами...

— Тяжело без привычки... — сказала она. — Ты за другими не гонись. Петька по сто двадцать берет — так Петька-то двужильный. Он и сто сорок возьмет, не кашляет. А ты лучше положи для начала десятков семь-восемь, и прибавляй по десятку, вот и войдешь в силу...

Она говорила так, будто ничего не случилось. От нее исходила властная уверенность человека, знающего свое место и назначение среди других. За Дусиными словами стояла сила внутреннего превосходства, и, если даже Савва в эту минуту и собрался с духом, он не посмел бы оскорбить ее.

— Ладно, — сказал он и сам не узнал своего голоса: до того он был дружелюбным, — завтра попробую.

— На ночь белье сбрось, постираю.

— Я вчера только из дому.

— Значит, имей в виду.

— Спасибо... Давно здесь?

— С весны... Как освободилась...

— Указ?

— Указ. Часть первая.

— Сколько?

— Шесть лет.

— Через амнистию прошла?

— Ага...

— Куда потом?

— А не знаю... Зяма на юг зовет... Только ведь там почти в каждом городе режим... Опять срок схватишь...

— Это как пить... Да ведь и так вот не легче... Я бы на Зямином месте загрыз бы этого пса...

Горизонты сдвигались, остывающая высь набухала тьмой, на которой час от часу все отчет-

ливее становилось ослепительное четкое мерцание звезд.

— Судить вы все... — Она сидела, уткнув подбородок в колени, и поэтому выглядела совсем маленькой, — а ты влезь в меня, походи с мое по свету, не таким воем взвоешь. Так уж лучше так, чем по вокзалам с ворами... Взять никто не возьмет, а обсуждать каждый...

— Зяма вот...

— Зяма, — голос у нее стал по-матерински мягким и задумчивым, — так он сам как дитя, ему бы только сказки и рассказывать, а добытчик из него никакой... И потом — не жилец... Я-то ни от кого ничего не хочу, так почему я всем должна, а?

— Земля мала, что ли?

— Земля большая, только места для меня на ней мало. Куда я от своего паспорта спрячусь? Зяма — вот и весь свет в окошке.

— Вот и живи с ним.

— Дурак ты. Разве ему это нужно? Он другой, — голос ее снова сделался тихим-тихим, добрым-добрым, — он на всех не похожий. Он мне все о благородной любви рассказывает, про рыцарей, а я слушаю, и он мне руки целует, как в книжках... Только ты не говори этим жеребцам. Им осмеять человека — раз плюнуть...

Она умолкла так же неожиданно, как и заговорила, и мгновенно стала похожа на бабочку, сложившую в темноте ситцевые крылья. От бабочки пахло стиркой. А звезды обозначались все ярче и определеннее. Было что-то в их устойчивой близости к земле теплое и умиротворяющее.

— Эй, Дуська, — прогоготала от лесополосы темь Валетовым голосом, — волоки закуску, пить будем!

Дуся встала и, подаваясь навстречу пересекавшим заводской двор теням, обронила словно невзначай:

— Меньше пей. С непривычки отравишься...

Савве налили первому. Налили поллитровую банку до краев. Отступить сейчас, ему это было знакомо по опыту, значило проиграть. А уж кто-кто, а он-то на своей шкуре испытал, что такое остаться одному против пятерых. Сила «коллектива»! И Савва, вобрав в легкие побольше воздуха, опрокинул в рот одуряющую смесь. Остальные пили — словно священнодействовали. Аккуратно выщипывали до дна содержимое кружки, для пущей лихости занюхивая одной и той же хлебной коркой. Дуся пила вместе со всеми, не отставая и не отказываясь. После четвертой, выпитой все в том же торжественном молчании, Валет подал голос. Одним махом выпрыгнув на стол, он испустил призывную фистулу:

— И-е-е--ех!

И пошел, пошел лебедем между посудой:

На бан мы прикатили
И тягнули мешок,
В мешке большая дырка
И хлебушка кусок.

В неверном свете керосиновой лампы красное, в белых пятнах лицо его выглядело еще более худым и расплывчатым. В густой Петькин басок чертиком вскользнул Зямин дискант, и трио рвануло во всю мочь:

Подначивай да подворачивай.
Да если шухер на бану —
Все заначивай.

Уступив друзьям повтор припева, Валет ухватился за горлышко порожней бутылки, покачиваясь, взмахнул ею, словно палицей, над головой и пригрозился в сторону стены:

— Свoločь! А ты знаешь, морда, что такое сто первая верста от любого областного центра?.. А ты знаешь, колхозный придурок, как подыхать с голоду на расейских вокзалах?.. А по миру ты, падаль, ходил, когда у тебя рожа полметра на полметра?..

Крича, он плакал мутными, хмельными слезами. Петька оловянно смотрел на него и все пыривался добавить что-то и от себя, но Валет вошел в раж, и прервать его не было никакой возможности.

— А на четыре табуретки тебя, гад, бросали? А чулки с песком по тебе ходили? А кору, козел, ты в тайге жрал?..

Зяма, подперев кулаком отяжелевший подбородок, сидел с Дусей на топчане. Она ворошила ему волосы, а он жаловался ей путано и длинно:

— Ему мало, что мы крадем для него... Ему всего мало... Тебя ему тоже мало... Ему надо еще плюнуть мне в душу... Его благородие так желать... Куда мне идти... У меня тридцать девятая в паспорте и больная мать... У нее камни... Ее надо лечить... Камни — это очень серьезно... А где я возьму деньги, если мне всю дорогу не везет? Где? Плюй, мастер, плюй мне в душу, мы уже привыкли, чтобы нам все плевали в душу... Мы будем терпеть, долго терпеть... Мы умеем терпеть... Только сколько же можно? Сколько?

Степан, зажав Савву в угол против двери, водил у него перед лицом лопатистой ладонью.

— Верь хоть в китайского бога, но веруй. Рази можно без веры, какой ни на есть... По мне хоть в дьявола, хоть в лешего, хоть в пень лесной,

только веруй. Зачем же ты живешь, коли привязи у твоей души нету, зачем? Потерял народ привязь, а теперь пойдй по Расее, посмотри: на всех дорогах мертвые церкви, — он так и произносил: «церквы», и оттого слово это у него звучало густо и ёмко, — сердце холонет. Ты вникни, церкви мертвые...

Глубоко запавшие глаза бородача с исступленной сумасшедшинкой в самой глубине всматривались в Савву, требуя ответа, отклика, но мир для парня уже потерял свое реальное равновесие, а сознание едва схватывало происходящее. Савва попробовал дотянуться до ближнего топчана, но стена развернулась ему навстречу, и он подался к ней, как к спасению. Последнее, что успело осесть в его памяти, было гулкое Степаново:

«Церквы мертвые!»

.

Зяма проигрывал. Ему не везло прямо-таки с катастрофической последовательностью. Он спустил все, что у него было, и теперь даже собственной исподней рубахой пользовался напрокат — в счет будущих расчетов. Сегодня Зяма целиком и полностью, вместе со всем своим движимым и недвижимым, принадлежал Петьке. Наверное, поэтому госстраховский плакат «Выгодно, надежно и удобно...» за его спиной выглядел сейчас особенно нелепо. То и дело вытирая рукавом испарину со лба, Петька тасовал карты и с профессиональной ловкостью раскидывал их на три кучки: Зяме, Валету, себе; Зяме, Валету, себе. Валет вел игру мелко и осторожно, скорее престижу ради, чем из корысти. Савва не играл. Он всегда считал искушение судьбы занятием зрящим, даже предосудительным. К тому же ему доподлинно было известно, что все здесь будет разворачиваться как по нотной прописи: в самый подходящий для себя

момент Петька по праву кредитора закрывает банк, Валет, как всегда, остается при своих, а Зяма пойдет искать место выплакаться. Это у него вроде обязательного правила. Потом он сядет писать письмо маме с клятвенными заверениями разбогатеть в ближайшее время и трогательной заботой о ее камнях. В конце концов общежитейское равновесие восстановится и жизнь братвы войдет в свою колею...

Сумерки вползали в комнату, отстаиваясь в углах и под топчанами. Сквозь полудрему Савва вслушивался в ленивую перебранку Степана с Петькой.

— Эх, Петр, Петр, ну зачем, скажи на милость, тебе чужие деньги? Как пришли, так и уйдут, от чужого добра — добра не станет. Простил бы ты ему, смотри, как на душе полегчает.

— А это, паря, не твоя забота. Ишь праведник нашелся! Полегчает! А может, у меня блажь — в нужник с сотенной ходить, а может, я чемодан кредитными билетами обклеить хочу, может, мне махру в них свертывать сподручнее: дым сладкий больно получается. Вот так. И не лезь в душу. А добрый — свои отдай; сто грехов спишетя.

— Волки и те добрее.

— С волка прописки не спрашивают.

— Тяжко ты, Петр, помирать будешь.

— А это, я так думаю, для всех одинаково.

— Ой, нет, Петр, ой, нет.

— Ладно, иди — беги, праведник. Надоело.

Разговор погас так же неожиданно, как и вспыхнул. Тишина наполнила комнату. Оттененная густой синевой августовского вечера, в форточное стекло вклеилась студеная звезда. Звезда чуть заметно мерцала и, казалось, всматривалась во что-то ей одной ведомое. Коротко скрипнула дверь: Зяма возвращался на исходные. Устраиваясь на

топчане, он еще долго ворочался и вздыхал, потом затих, но по его глубоким придыханиям чувствовалось, что парню сейчас не до сна: проигрыши давались ему тяжело.

Первым подал голос Валет:

— Не в деньгах счастье, Зяма... Позвони мамульке — забудется...

— Фарт есть фарт, — грустно откликнулся тот из своего угла, — но хотя бы раз, хотя бы по теории вероятности. И так всю жизнь... И во всем...

Петька не удержался, чтобы не позлорадствовать:

— Зато в любви полный ажур.

— Заткнись, — оборвал его Валет и снова попросил: — Будь другом, Зяма, позвони на сон грядущий...

— Не знаю, Валет, получится ли... Не контактит что-то...

Но тот уже объявил:

— Любимец публики Зяма Рабинович-Рябушинский. «Тайны парижских трущоб»! Часть седьмая!

Зяма начал несколько вяловато, — чувствительность натуры сказывалась, — но постепенно его земные беды отступили перед величием парижской панорамы, его голос креп, наливался дикторским металлом, обволакивая слушателей вязью удивительных своей новизной, легких, дразнящих слов:

— «Когда часы на башне Нотр-Дам пробили полночь, из ворот таверны «Мечта гурмана» выехал зашторенный кабриолет. Желтые блики газовых фонарей проникали внутрь экипажа, освещая лицо Человека в Маске...»

Все, чем братва жила до сих пор, становилось мелким, пустячным, обыденная явь отступала за пределы реальности. Хоровод причудливых обра-

зов и видений начинал властвовать в четырех стенах, затерянных в тысячеверстовой степи.

Слушая Зяму, Савва никак не мог отделаться от ощущения почти болезненной жалости к себе и ко всем, кто был сейчас рядом с ним. Казалось, что какая-то огромная темная сила сумела заслонить от них настоящий, большой мир, в котором жили совсем другие люди, иной, не похожей на здешнюю жизнью, и оттуда, из того мира — доносились сюда только красивые призрачные сказки...

Зяма тем временем продолжал:

— «...Защищайтесь!» — грозно воскликнул Человек в Маске графу де ля Труа Полиньяку. Кровь стыла в жилах от этого голоса... Но было поздно — она была мертва... А в это время по дороге из Шампани во весь опор к Парижу неслись всадники. Сапфиры и золотые талеры, алмазы и жемчужные кольца переливались перед его глазами всеми цветами радуги...»

Еле слышно отворилась дверь, и трепетная тень перечеркнула лунный квадрат на полу. Потом тень надломилась, вздохнув Дусиным голосом: — Посумерничаю с вами.

Ей никто не ответил. Диковинные созвучия, завораживая, плавали в темноте, и, хотя все знали, что и эта Зямина байка, как и все предыдущие, окончится благополучно и что пороки будут наказаны, а добродетель восторжествует, каждый старался не пропустить ни единого слова: каждый хотел своей доли забытья.

— «Герцогиня была в обмороке. Человек в Маске наклонился над нею и сказал: «Ваше высочество, вы свободны!» Придя в себя, она подняла на него свои небесно-голубые глаза и умоляюще спросила: «Скажите мне ваше имя, о благородный юноша!» Но Человека в Маске уже скрыла темная ночь...»

Когда Зяма кончил, воцарилась тишина, прерванная только коротким Петькиным:

— Живут люди!..

Каждый думал о своем. Каждый переживал очередную Зямину байку по-своему. И поэтому, наверное, братва по молчаливому сговору старалась не растрчивать все переполнявшее ее в случайном разговоре и пустом слове.

Пожалуй, впервые после короткого и уже почти забытого детства Савва засыпал легко и бездумно, как после дня рождения. И снилась ему звезда, вклеенная в блистающее вечерней синевой окно.

.

Три печи были выбраны на треть и одна — Зямина — на четверть. Обходиться без подачи становилось трудно. Казалось бы, все очень просто: делись по двое, и клади больше, кати дальше. Но тут-то и произошла загвоздка: Зяма как напарник никого не устраивал. При новой расстановке, хочешь не хочешь, а выработка поровну. Но «дружба дружбой, а табачок себе дороже». Все эти дни романист еле-еле дотягивал до тысячи. Физический труд был ему явно противопоказан. И потому стать с ним в пару никто не торопился.

В перерыв, сидя за обеденным столом, братва старалась глядеть куда угодно, только не друг на друга. Зяма, оседлав краешек табуретки у окна, изучал всех поочередно печальными, недоумевающими глазами. Валет, старательно раскатывая ладонью хлебный шарик, определил свою позицию весьма недвусмысленно:

— Я, конечно, сочувствую твоей маме, Зяма, но два рыцаря для ее камней — многовато. И потом — у меня у самого долги.

Петька лишь покосил глазом в его сторону, видимо прикидывая, во что ему может обойтись

нейтралитет, а прикинув, принялся молча обкусывать желтый ноготь большого пальца. Ему кооперация с Зямой могла принести одни убытки. Степану все равно не оставалось пары, а потому для него разговор значения не имел. Смахнув в ладонь крошки со стола и опрокинув их в рот, он истово перекрестился и вышел. Савве стало ясно, что так им не договориться и до второго пришествия. За лишний даровой рубль эти мальчишки готовы были драться, как говорят, без страха и упрека до последнего издыхания. И хотя Зямино партнерство не вызывало особого восторга и у него, он решил закруглить торговлю:

— Пусть он встанет со мной. Обойдемся.

Зяма с благодарной затравленностью посмотрел в его сторону, но Валет неожиданно веером распустил перед собой колоду карт.

— Нет, сказал он, — здесь не богадельня. Карты скажут правду. Факт — дело верное. Тянем туза.

Во всеобщем молчании чувствовалась едва скрываемая одобрительность. Даже Зяма всем телом подался к столу. Потухшие было глаза его подернулись азартной поволокой. То, что разменной монетой служил он сам, не имело в эту минуту никакого значения для него: в нем заговорил игрок. Выбор жанра решили жребием. Сошлись на «коротенькой». Сдавать первому выпало Савве. Все шло как в отборочном олимпийском. Ему — везло. С одного захода он высадил Петьку, со второго — Валета. Партия между ними и решила Зямину судьбу. Сдавал Петька. Он, сопя, долго и старательно перемешивал колоду, карты открывал с трепетной сторожкостью, словно ждал от каждой из них смертельного подвоха и, когда «бито» легло на Валетовой стороне, не выдержал-таки, злорадно осклабился:

— Везет тебе, Валет. С фортуной снюхался?

Тот не ответил, а только, проходя мимо сникшего Зямы, беззлобно хлопнул его рукавицами по спине: пошли, мол. Тот коротко глянул на него печальными глазами, поднялся и, ссутулившись, двинулся к выходу. Розовощекий счастливец с поднятой над головой сберкнижкой лучезарно улыбался ему вслед. Савве было мало дела до Зяминой участи и чьих-то заработков, сентиментальность он считал для себя обременительной роскошью, но торжествующая ухмылка на свинцовом, схожем с пузырчатой поковкой Петькином лице могла вывести из себя человека и покрепче нервами.

— Слушай, ты, — вставая, с тихим бешенством выдавил он сквозь зубы, — сомкни пасть, а то у тебя уши лопнут. Я тебе тоже много не наработаю, не надейся.

Петькина праздничность мгновенно стаяла. Тупой, в редкой бесцветной поросли подбородок дрогнул под соскользнувшим с губ словом:

— Ладно.

— Надо быть человеком.

— Двинули.

— Надо быть человеком, — еще настойчивее повторил Савва. — Понятно?

— Ладно... Двинули.

— Двинули.

Первым на подачу встал Петька. Загружаясь, Савва искоса взглядывал на него и не узнавал. Куда только девалась Петькина грузная мешковатость, от которой несло чем-то медвежьим, урюмым, скучным! В печи он, казалось, отряхнулся от незримой коросты. В движениях парня чувствовалась необъяснимо осмысленная гибкость и, можно даже сказать, грация. Кирпичи в широченных его ладонях выглядели совсем игрушечными и оттого

как бы теряли свою трудную весомость. В смешении красного — от кирпича и черного — от закопченных стен он был похож на молодого смешливого черта, шутя играющего звонкими прямоугольничками пламени. И главное — черт улыбался, улыбался весело и озорно одними глазами, тронутыми доброй бездумностью. Савва вдруг поймал себя на том, что хочет сказать черту пару шутливых слов или подмигнуть просто так — по-человечьи. Но вместо этого он только сплюнул скрипевшую на зубах кирпичную пыль и равнодушно предложил:

— Перекурим?

Петька выполз из печи, лег плашмя на спину, широко раскинул руки, и сразу же посерел, будто погас. Тусклыми глазами глядел он в высокое небо, схваченное от горизонта до горизонта белесой накипью, и выщеживал в воздух вместе с дымом вялые, неокрыленные мыслью слова:

— Считай, тыщи три вывезли. По трудодню с лишним на рыло. Поднажать — так и еще два раза по столько дать можно. Мастер хвалится за трудодень десятку начислить...

Савве стало обидно и за свой недавний порыв и за слабость к оптическому обману: черт оказался ряженым. И как ни лень ему было ввязываться в разговор с Петькой, он не сдержался:

— И жаден же ты, брат! И куда в тебя столько? Высохнешь от денег-то.

Петька резко повернул к нему голову, и белесое небо опрокинуло в его глаза зябкую и бездонную свою обнаженность. Он заговорил, и впервые со дня их знакомства слова его обрели цвет и объем:

— Тебе что, для тебя работа — временная остановка. А я без работы — нуль. Три срока оттянул, а чужого чего за десять лет этой собачьей

жизни пальцем не тронул. Все три отсидки — по паспортному режиму. У шабашников вырос... Всю Россию от конца в конец обшагал-объездил. Сыт по горло... Своего угла хочу, своей крыши! — Петька замолчал, с остервенением сплевывая с губ табачные крошки, потом сел, втиснул тупой подбородок в сдвинутые коленки и продолжал глухо и как бы про себя: — Помню, в Краснодаре под Ноябрьские иду я улицей: ночь, снег с дождем, а я только что из милиции, подписку, значит, дал... Погано так, бездомно на душе, а кругом окна горят... Разные: синие, красные, желтые... Встал я у одного, смотрю, знаешь, а в комнате у зеркала девчонка стоит, махонькая такая, лет десяти, вся в лоскутах... А над ней баба хлопочет, видать мамка... Все чего-то прищипливает, подшивает. Полон рот булавок... А на столе чайник. Дужка отломана... И батон... и колбаса... ливерная... А они обе хлопочут около зеркала и все чему-то улыбаются, вроде сговариваются о смешном... Напился я этим разом до беспамятства. А на другой день меня взяли. Подписка-то на мне третья висела... Потом я уже в тюрьме зарок дал — построюсь. У всех ведь, сам знаешь, считается: раз дом, значит, самостоятельный... Дом все списывает... Понастроил я хоромин для всяких барыг...

Едва ли бессвязная Петькина исповедь могла вызвать в Савве сочувствие: «свой угол» — это было не в его вкусе, но какая-то смутная боль от бессвязной Петькиной речи прикипала к сердцу, вызывая в душе томительное раздражение. Чтобы отряхнуться, отделаться от этого тревожного чувства, он вскочил и рванул на себя тачку:

— Хватит травить!.. А то и на дверные ручки не заработаешь... Поехали.

У соседей дело не клеилось. Зяма, стараясь не ударить лицом в грязь, брал на вывозке столько

же, сколько напарник, — девяносто. Но тачка в хрупких его руках словно оживала, переваливаясь с боку на бок. Тачка воздевала ручки кверху вместе с повисшим на них Зямой. Тачка делала диковинные сальто, и тогда кирпичи с металлическим звоном растекались по траве. Тут же из печи волчком выскакивал Валет и, управляя один за другим камни Зяминой мамы отборной руганью, помогал напарнику разбирать завал. Зяма вел себя вяло и бессловесно: собственная никчемность убивала его. Прислушиваясь к Валетовым вариациям, Петька усмехался по-прежнему скупно, но злорадно. И то, что еще совсем недавно, нарастая, только слегка злило, вызывало неосознанную вражду, вдруг обожгло Савву удушливым бешенством. Он спрыгнул вниз и рывком притянул Петьку к себе, причем настолько близко, что разглядел розовые прожилки в его мглистых глазах и кирпичную перхоть на ресницах.

— Совесть у тебя есть или нет? Или тебе его денег мало? Так я тебе свои отдам. Вник?

Петька осторожно снял его руку со своего плеча и, отворачиваясь, опять сказал:

— Ладно... И чего ты злишься?

Савва и сам толком не знал, но он чувствовал, как день ото дня в нем накапливает какая-то смутная и тяжелая озлобленность. Жизнь, как обычно, поворачивала его не туда, куда он хотел идти. Раньше Савва как бы не замечал людей, считал их предельно понятными, вроде объявления по оргнабору. Все в них для него было простым и объяснимым. И вдруг здесь, на допотопном кирпичном заводе, вырванные из общей безликой массы неумолимой логикой случайностей, они предстали перед ним как отдельные маленькие миры за семью печатями неведомых ему страстей и стремлений. И то не-

многое, что открывалось в них, было Савве чуждо и даже враждебно...

После шабаша он лежал на берегу заводского озера и бездумно глядел в степь. Где-то там, у горизонта, на уровне его глаз, полз трактор. Трактор был похож на диковинного жука, ползущего по самому краю земли. И на мгновение с Саввы опали спасительные одежды мальчишеского цинизма, и он показался себе самому жалким и затерянным, как полевая мышь в лесу. Потом, слева, от зеленой хуторской кипени, отделилась и пошла ему навстречу девичья фигурка с желтой косынкой через плечо. Издалека косынка виделась языкатым подсолнухом, полыхающим на ветру. Она шла тихо, опустив голову на грудь, будто искала что-то под ногами. И когда девушка приблизилась, косынка в ее руке уже выглядела туго скрученным пшеничным жгутом. Наконец она подошла так близко, что можно было разглядеть на ее платке затейливую роспись — коричневым по желтому. Савву вдруг охватило жгучее желание вскочить, броситься к ней, подхватить ее на руки и унести, унести так далеко, чтобы уже не возможно было вернуться, и, одолевая искушение, он отвернулся и стал глядеть в воду. В озерной ряби поплясывали первые, еще не отстоявшиеся звезды. Потом к ним придвинулось расплывчатое отражение, придвинулось и сразу исчезло, а рядом с Саввой зашуршала трава.

— На хутор вот сходила, — Дуся говорила куда-то мимо него, поверх озера, и как бы вслушиваясь в каждое слово свое, — обнову купила. — Она вытянулась рядом с ним, и крапленая темными цветочками косынка рыжей змейкой вытянулась между ними. — И снова девать себя некуда.

Савва, сплевывая на воду, зло огрызнулся:

— Вас сегодня всех здесь исповедоваться тянет. А я не поп.

Дуся не обиделась. Или просто сделала вид, что не обиделась. Она только чуть отодвинулась от Саввы и задумчиво сказала:

— Чудной ты какой-то. Все взрослым притворяешься. Слышала я сегодня, как ты с Петькой-то... Ведь он втрое против тебя сильнее. Не боишься? Ему что, стукнул и пошел себе, ищи ветра в поле...

— Знаешь, маруся, мне эти понимающие рожи до смерти надоели. Что тебе от меня нужно? Я — сам по себе, ты — сама по себе, и не капай мне на мозги.

Дуся лежала вполоборота к нему, комкая в кулаке послушный пламень косынки, и каждое слово его будто добавляло густоты темным ее зрачкам. На чистом, совсем девичьем лице ее резкими штрихами в уголках губ и глаз неожиданно прочеканился характер. Даже голос у нее стал другим — строгим, не в то же время как-то особо доверительным:

— Коли б все не для себя только, а и другим чуть-чуть. Ходят все, как волки, по свету, друг от друга душу прячут, будто боятся ни с чем остаться. Оттого и жить тошно. — Она перебирала его волосы, и Савва чувствовал, как теплая волна доверия и благодарности подкатывает к его горлу острым соленым комочком. — Уйти бы тебе отсюда... Сломаешься...

— Куда — уйти? Земля круглая...

— Не знаю... Только не здесь...

— На мне — где сядешь, там и слезешь. Я не Зяма, на мне не такие волки зубы обламывали.

— Не знаешь ты мастера. У него все начальство в кармане.

— Плевать. На горло берет. Ему еще глаз на анализ никто не вынимал. А я, если дело дойдет, выну.

Движение ее пальцев стало медленнее, трепетней:

— Не сносить тебе головы...

— С детства долдонят, а ношу — не жалуюсь.

— Эх ты...

— Что — я...

— Задира.

— Какой есть.

— Хороший...

Он увидел Дусино лицо близко-близко от своего, и вдруг его словно обожгло изнутри, и все исчезло вокруг, перестало существовать, и были только ее платье, ее губы, ее глаза, и все, что оставалось позади, уж не имело ни значения, ни смысла. Она отдалась ему со спокойной беззащитностью, но в глазах ее не было ничего, кроме усталости и тоски — глубокой и скорбной. Вставая, Дуся коротко вздохнула:

— А дальше что? Эх ты!

А он лишь подумал: «Как просто». И еще: «Вот тебе, Зяма-звонарь, и любовь вся до копеечки».

Х

Савва прислушивался к горячечному шепоту товарища и мучительно соображал: что же ему делать дальше, как поступить? Положение его ослепило до крайности. Уже четвертые сутки они не трогались с места. Он хотел дать Сашке отлежаться. Но тому становилось все хуже. Кровавый кашель вытряхивал из тщедушной Сашкиной плоти последнюю волю к сопротивлению. Савва отчетливо сознавал, что задерживаться здесь и до-

лее равносильно гибели, но бросить напарника, уйти в одиночку он не мог, не находил в себе решимости. После всего пережитого и переговоренного ими в нем завязалась и день ото дня росла какая-то необъяснимая тяга, если не сказать — родственность, к Сашке. И поэтому сейчас, при всей безнадежности ситуации, Савва чувствовал, что, сколько бы ему ни довелось ждать, он не бросит татарина, не уйдет в одиночку.

Мысли цеплялись одна за другую, образуя нерасторжимый, с редкими вопросительными перебивками круговорот, и он незаметно для себя уснул, скорее даже не уснул, но забылся, а когда пришел в себя, Сашки рядом с ним не было.

— Сашка!.. Сашок! — негромко позвал он, ощущая в душе нарастание тягостной тревоги. — Сашок!

Гнетущее молчание обкладывало его со всех сторон. Он углубился в чащу, и только стук собственного сердца сопровождал его в этом лихорадочном поиске. Невидяще всматриваясь в буро-зеленое сплетение зарослей, Савва шел наугад, пока сквозь ребристое нагромождение листовенничных ветвей не увидел прямо перед собой — на уровне глаз — ногу, обутую в яловый ботинок с подошвой, прикрученной медной проволокой. Нога едва заметно покачивалась на весу: урок Лариона Грача в крайнюю минуту сгодился Сашке.

.

Легкая добротными рессорами бедарка мастера чуть слышно влетела на заводскую площадку и, круто развернувшись, без нажима осадилась около печей.

— Ну как, москали, идет работа? — Мастер, заметно навеселе, стоял, качаясь, в бедарке, и заплывшие глаза его посверливали ребят с пьяным озорством. — Добре. Шабашь — разговор есть.

Он грузно спрыгнул на землю и, постегивая по сапогу витым, желтой кожи хлыстиком, зашагал вразвалочку мимо кирпичных кладок к летней кухне.

Петька, кивнув ему вслед, подмигнул Савве, осклабился:

— Гуляет барин.

— Черт с ним. Подавай.

— Не зазря он добрый, надо думать.

— Черт с ним, говорю, подавай.

— Нет, браток, шабашить так шабашить. Работа, — Петька снова подмигнул, — от нас не уйдет. Гульбой пахнет. Это уж как пить дать. По барину видно. Пошли.

— С чего это? — насторожился было Савва.

— Видно, дело есть.

— Какое еще дело?

— А там, — Петька снисходительно хохотнул, — увидишь.

Под навесом летней кухни по обе мастеровы руки сидели Валет и Зяма. Все трое плотоядно оглаживали глазами выставленную Дусей на стол четверть с самогоном. Так, наверное, выглядят утопающие за минуту перед очевидным спасением. Дуся колдовала над снедью. Савва с Петькой еще не успели опуститься на скамью, когда мастер нетерпеливо скомандовал девке:

— Лей.

Пили молча, не чокаясь. После третьего захода мастер, отодвинув от себя рукоятью крученого хлыста свою кружку, сказал как бы так, между прочим:

— Дочь замуж выдаю. Свояки чуть не со всего Кавказа съедутся. Так что место лишней телке найдется... В общем — ставлю две четверти самогону и по десять галочек в ведомость.

Наступила красноречивая пауза. Петька отвернулся и заскучал тусклыми глазами в сторону лесополосы. Дуся судорожно теребила в руках конец косынки, свисавшей у нее с плеча. Слово оставалось за Валетом. Не глядя на мастера, Валет потянул у него из рук жгучий хлыстик, сложил хлыстик вдвое и легонько хлестнул им по своей ладони.

— Заделаем.

— Но так, чтобы и комар носу...

— Заделаем, мастер, — упрямо и резко повторил Валет, — не в первый раз, заделаем.

Вьпили еще по одной, и Зяма, исходя красными пятнами, нетерпеливо заерзал на месте:

— А если двух, мастер, двух?

В ответ тот смачно хрустнул огурцом:

— Вдвое и магарыч.

— И галочки?

— Иддет.

Валет поднялся и сказал:

— Надо выспаться.

Все встали, и мастер, по-хозяйски облапив стоящую у печи Дусю, сально хохотнул:

— Пошли, девка, мурашей давить. Во мне нынче дурная сила играет. Уважь — не пожалеешь.

Дуся настойчиво отодрала от себя его руки и, привалившись спиной к опорной стойке, сложила белыми губами:

— Нет, мастер, не будет у нас с тобой сегодня никаких делов. Не согласна я больше, не хочу. Лучше уйду.

Мастер потерянно оглянулся, раскачиваясь, постоял против нее с минуту, потом густая, вязкая злоба хлынула ему в глаза, он резко откинулся назад и со всего размаха коротким толчком ударил ее в подбородок:

— Сука.

Но та лишь инстинктивно отвела голову, ожидая второго удара. В уголке Дусиных плотно сжатых губ выступило и стало, набухая, темнеть багровое пятнышко. Сбычившись, мастер снова шагнул было к ней, но тут между ними тенью вскользнул Зяма. Кровь схлынула с его лица, и лицо стало походить на жуткую маску, тронутую паутиной недоброй гримасы:

— Хватит, мастер. Ты получил свое. Если тебе нужны проценты, ударь меня. Ее бить ты не будешь. Надо иметь совесть, хотя бы на всякий случай.

Бешеная муть захлестнула мастера, он схватил Зяму за ворот робы и притянул к себе:

— Ах ты харя, да знаешь, что я тебя в порошок сотру и плюнуть побрезгую! От тебя только вонь пойдет.

Зяма вырвался и, мгновенно подломившись, тут же выпрямился, и в резко очерченной руке его взмыла над головой кирпичная половинка.

— Я, мастер, ничего-таки не теряю. Тебя унесут ногами вперед на месяц раньше меня — и все. Лучше разоидемся, мастер, я не люблю крови.

Тот еще продолжал бешено утаптываться около Зямы, но по тому, как он беспомощно втискивал свой хлыст за голенище сапога и все никак не попадал, было видно, что злости его осталось на раз плюнуть. Неспokoйными глазами он поискал было сочувствия у братвы, но Петька в ответ только заработал щербатыми скулами, а Валет скучным голосом сказал:

— Нам надо спать, мастер. Во хмелю дело не делается. И, знаешь, мы тоже люди. Ты посылаешь за кукурузой — мы идем за кукурузой. Тебе хочется птицу — мы идем по птицу. Тебе нужна телка, — мы колем для тебя телку. Ты знаешь,

что это такое. Это не уголовный кодекс, это самосуд — и конец. Но мы не отказываемся. Чего же тебе еще от нас нужно? Я прошу тебя, не трожь никогда больше Зяму и девку тоже не трожь...

Мастер сразу сник, будто увял. Так и не вдев хлыст за голенище, он повернулся и медленно побрел к бедарке, взгромоздился на нее и с неожиданным остервенением вытянул лошадь кнутовищем вдоль спины.

Едва не задев колесом крайней Степановой кладки, бедарка сделала головоломный вираж и бесшумной птицей вынесла седока на дорогу.

Степан, не отходивший все это время от своей печи, не дрогнув ни одним движением, угрюмо глядел ей вслед. Черный и бесформенный, он высился над заводской площадкой, как распятие у дороги.

.

Ночь, оваянная лунной изморосью, отстаивалась за окном густой сентябрьской тишиной. Савва глядел в нее, и оттуда, из степи, плыли к нему звезды.

Всю свою короткую жизнь он как бы метался в самом себе. Пробовал себя то в одном, то в другом, многое бросал на полпути, многим овладевал до конца, читал запоем книжки, но жизнь возвращала его к действительности, а действительность была тусклой и однообразной, как проселочная дорога осенью. И теперь он благодарил судьбу, столкнувшую его с Зямой. Здесь, на заводе, люди жили жесткой и трудной, но зато не придуманной жизнью. Ему еще трудно было разобраться в этом дьявольском переплетении почти животных страстей, слишком внезапно они втянули его в свой крутоворот, но предчувствие открытия, открытия, решающего для него, важного, уже безраздельно владело им...

Братва не спала. Братва молчала, бодрствуя. Темь вела испытание на разрыв, и первым не выдержал Валет:

— Выдал бы что-нибудь душевное, Зяма. Перед выходом полезно войти в душевную норму.

— Нет, Валет, — Зяма говорил вяло и медленно, — сегодня у меня не выйдет.

Из своего угла подал голос Петька:

— Выдай, Зям, я тебе и должок скопчу. А то уж больно тошно. И душа ноет, как перед поминками.

— Искусство, Петя, — печально ответил ему тот, — не продается и не покупается. Искусство принадлежит народу. Ты, милый, не учил-таки политграмоты. Да. А на мои деньги ты лучше купи себе репродуктор. Говорят, помогает... от скуки.

После затяжной паузы Валет стал набрасывать план операции.

— Подъем после вторых петухов. Ферму берем с Зямой, а вы, — это относилось к Савве и Петьке, — зайдете из-за кургана, оттяните на себя собак. Расходиться — по свисту.

И только тут Савва сказал свое слово:

— А если отставить?

Все молча, не сговариваясь, посмотрели в его сторону. И только Валет криво усмехнулся:

— Это как?

— А так. — Савва понимал, что в этом своем порыве он может потерять их всех враз, и Дусю в том числе, но уже не мог остановиться. — Братцы, не подумайте, что я попер на попятный. Дело ваше. Пойдете — я тоже пойду. Только сколько можно уступать этой падле? Что, на него хомута не найдется, что ли? Есть же власть на свете! Опять из-за такой гниды в торбу? Плюнуть и уйти, страна большая...

Но по мере того, как он говорил, лица вокруг него становились все скучнее и скучнее, и, наконец, Петька, словно раз и навсегда выключая его из общего разговора, спросил:

— А если сторож?

Голос у Валета не сбился с ровного тона:

— Дави — и концы в воду.

Савве ничего не оставалось, как подчиниться: этих ребят опутывала сила, куда более могущественная, чем та, которая смогла бы заставить их перешагнуть водораздел между ними и миром, всегда готовым протянуть им руку.

— Ироды вы, ироды, — вдруг протрубил со своего места Степан, — душегубы! Как же у тебя, разнесчастный ты человек, язык только поворачивается такое говорить? Его же, сторожа того, такая же, как твоя, мать родила, а ты — его порешить, вроде мужи какой. Да и зачем она вам, телка-то? Ему надо — пускай сам и грех на душу берет. Страхом он вас опутал, страхом к греху приваживает. А чего вам бояться-то? Плюнь да иди себе дальше, хлеба да земли на твой век хватит. Бумажек нет — так опять же к чему они тебе? Руки есть, ноги есть — вот и вся недолга, а земля — она круглая, с нее, окромя как в могилу, никуда не стонишь. Кто мы? Мы со всех сторон люди. И Господь Бог с нами.

— Хватит, дядя, — лениво оборвал его Валет, — ты мне уже все мозги прогрыз своей совестью. Думаешь, без твоей совести земля и дня не протянет? А земля живет себе и на Христа твоего плюет. Коли ты такой праведник, чего ж он тебе вместо манной под старость суму всучил и по миру пустил? А вон мастер не знает, какой рукой крестом себя осенить, а живет в пятистеннике под железным верхом и в ус не дует. Вот тебе и Бог.

Степан грузно заворочался на топчане.

— Эх ты, спровергатель, для тебя Бог вроде больничной кассы: получить бы, а расчет на том свете угольями. А ты давай сначала научись. Дай — вот и обретешь Бога. А Он тебе за все наперед заплатил. Землю дал — ходи, воздух дал — дыши, разум вложил — думай. А ты с Него еще и командировочные норовишь получить. Не много ли будет?

— Пошел ты, дядя, к тете! — беззлобно огрызнулся Валет и глухо добавил, обращаясь к ребятам: — Двинули, в случае чего в полосе отлежимся.

В ночной безоблачности степь выглядела просторней и тише обычного. От хуторов тянуло пряным теплом печей и кизяками. Ущербная луна тающим колом плавала в звездной чаще неба. Савву бил нервный озноб. Собственная тень казалась ему зыбкой и непомерно долговязой, дыхание — захлебывающимся и гулким. Но он твердо решил пройти и через это. Твердо. Когда из-за лесополосы навстречу им поплыли бледно-желтые глазницы фермы, Валет коротко выдохнул:

— Расходимся!

Захрустел кустарник, и две тени опрокинулись в ночь. До самого кургана Савва ощущал у себя на затылке прерывистое Петькино дыхание. Они залегли метрах в пятнадцати от летнего загона. Потом Петька приподнялся и, надсадно крикнув, бросил сухой ком земли туда, за изгородь. Почти сразу же залаяли собаки. Ошалевшие тени их метались вдоль изгороди, и лай — визгливый, с подвываниями — разрывал хрупкую лунную тишину. Савве думалось, что прошла вечность, когда над степью, перекрывая собачий лай и гулкий грохот его сердца, взлетел и поплыл дикий, почти нечеловеческий крик:

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!..

Где-то сбоку от прямоугольной ферменной коробки замельтешили огни, подгоняемые топотом и гортанными вскриками. Петька кубарем откатился в сторону и, пружинисто вскочив, рванулся в степь, и собственная его тень гналась за ним. Савва почувствовал, как освинцованная тяжесть наваливается ему на плечи. Какая-то огромная беспощадная сила вдавливают его в землю, не оставляя сил подняться.

Так, он слышал, бывает с летчиками в падающих самолетах: инерция падения лишает их воли, и сладкий зов смерти сводит на нет спасительное благо парашюта. Он срастался со степью, ощущая только гул своей крови в полной и оттого казавшейся осязаемой на ощупь тишине.

.

Комната выглядела душным склепом с одним квадратным отверстием в звездную преисподнюю. Резко звякнула входная щеколда, и дрожащее пятно света внезапно выхватило из темноты кусок стола и угол против двери. Вошла Дуся, поставила лампу на подоконник и, зябко оправляя на себе телогрейку, села на краешек Зяминоного топчана.

— Степан следом за вами пошел. «Пойду, говорит, чуёт, говорит, мое сердце — худо будет».

Савва сидел за столом бок о бок с Валетом и Петькой и так же, как они, старался не смотреть в сторону пустого Зяминоного топчана. Дуся опять, но уже ни к кому в отдельности не обращаясь, а как бы спрашивая самое себя, сказала:

— Утихло, наверное? Может, пойти? Может, намордовались и бросили, а?

Валет процедил сквозь зубы:

— Чуть позже попробуем.

Петька вздохнул:

— Бесполезно.

Савва почувствовал, как злость, жаркая и удушливая, свела ему скулы, и он заговорил судорожной скороговоркой:

— Нет, мы пойдем, мы пойдем все равно. Я буду грызть им глотки, но мы отобьем Зяму. Если Петька не хочет, пусть остается, и ты, Валет, тоже, если не хочешь...

Валет хмуро перебил его:

— Брось травить. В словах душу набираешь. Мы пойдем вместе, но чуть позже, когда поутихнет. Они не могли его взять. У них другой почерк. И вот что...

Но в это мгновение дверь, распахнувшись, натужно заскрипела петлями, и на пороге вырос Степан с Зямой, как с полупустым кулем, в вытянутых руках.

— Жив еще, — он осторожно перевалил Зяму на топчан, — слышь, дышит. — Степан вытянул из-за пояса грязное кнутовище, пошарил по комнате глазами и, подойдя к торцовой стене, сорвал с нее желтозубого счастливца со сберкнижкой в вытянутой над головой руке. Он вложил кнутовище в бумагу и одним движением содрал с него кровавую грязь. Из-под грязи, как змея из старой кожи, выпростался витой, желтой кожи хлыст. — Вот рядом с ним, — бородач кивнул в сторону распластанного по топчану Зямы, — нашел. Знакомый?

Хлыст, свернувшись поверх стола тугим кольцом, наглухо заарканил тишину в комнате. Тяжкую тишину.

XI

Едва начало светать, мастер примчался на завод:

— А ну, до меня!

Валет поднялся первым. Сначала он посмотрел только на Петьку. На Савву и Степана он почему-то не посмотрел. И еще на Дусю он тоже не смотрел. И по всему видно было, что они хотят идти без них. Тогда Савва все-таки встал тоже. И никто не остановил его. И больше никто никого не останавливал и не переглядывался.

Так и выходили ребята гуськом: Валет, вслед — Петька, за Петькой — Савва. Уже с порога Савва обернулся, и на мгновение их с Дусей взгляды встретились. Но это только на мгновение. Потом она отвела глаза в сторону: она тоже не останавливала. Значит, и через это ему надо было пройти.

Короткие желтые пальцы мастера остервенело барабанили по грудастой русалке под стеклом.

— Допрыгались, голубчики, станица гудья гудит. На кирпичный, между прочим, показывают. — В кровавом лабиринте прожилок гороховых глаз плутала растерянность. Растерянность скользкая, неуловимая.

После надсадной паузы Валет сложил первые слова:

— Зяму надо в больницу. Помереть Зяма может. Очень просто.

Мастер вскочил и заметался по комнате. Было в нем в эту минуту что-то от обескрыленной мухи под стаканом: так нелепо и диковинно выглядели все его зигзаги.

— Да вы что, очумели, что ли? Под монастырь меня подвести хотите? Вам какого хрена, тюрьмой больше, тюрьмой меньше... Ни кола, ни двора. А у меня дети, хозяйство. Подумаешь, одним босяком убавится... Не впервой концы прятать... Спрячем...

Мастер сначала кричал, потом заискивал, потом снова кричал, но было заметно, что он лишь ярится, что ему уже страшно вовсе не за детей и хозяйство и что его наконец осенило, почему бо-

явшаяся раньше даже и взглянуть на него братва вот так грозно повела себя: здесь знали обо всем.

Еще совсем недавно крутые скулы мастера под жесткой пузырчатой кожей сразу же обмякли, и сам он как бы посунулся весь книзу, помертвел, и только синие губы мастера покуда жили, складывая истощное:

— Бить хотите? Бить?.. По лагерям соскучились, посадочная сволочь? Нате, бейте! — он рванул на себе ворот косоворотки, и верхняя белая пуговичка повисла на одной нитке. — Бейте, только опосля отошьется... Судить будут... Нет, не судить... Вас еще до суда самосудом кончат... Ну, бей, бей ты, Валет, первый бей... Ты же заводила... Из блатных... Вдарь, вдарь первый...

Ребята только надвинулись на него еще ближе. Только надвинулись — и все. И Валет выбросил к его ногам витой, желтой кожи хлыст. И он понял, что его власть над ними кончилась. Они уже не боялись его. Они знали все. Лицо мастера сделалось ватным. А Валет, Валет, рука которого — это знал каждый из заводских — никогда не могла дрогнуть, вдруг выступил вперед. Глядя в упор на отступающего перед ним к стене мастера, он резким движением расстегнул свою щегольскую пряжку и потянул на себя ремень.

— Нет, — сказал он и повторил, — нет, мы не будем тебя бить, мы не звери, мы — люди. Зачем нам тебя бить? — опять сказал он, и голос Валета звучал на одной, самой тихой ноте. — Мы не звери, мы — люди... Ты это сделаешь сам, — и ремень черной змейкой свернулся поверх грудастой русалки под стеклом, — сам, понимаешь?

Савва чувствовал, что сейчас должно произойти что-то жуткое и непоправимое, но — странное дело — не испытывал при этом ни ужаса, ни отвращения. Он просто стоял и ждал, потому что

человек у стены больше не мог, не имел права жить. Савва едва ли был способен в эту минуту облечь в точное единственное слово коснувшееся его озарение, но все-таки он был твердо убежден в справедливости того, что здесь сейчас совершалось. И неважно, что это совершалось в двадцатом столетии. На самой его середине.

А мастер, сползая по стене, бился мелкой истерической дрожью. Смертный страх отнял у него волю к сопротивлению, и сам он уже, собственно, почти не жил. Лишь эта вот ознобливая дрожь выражала и его крик и его мольбу. Мастер хотел жить. И только одно слово могло спасти мастера. Но здесь такого слова некому было произнести. Валет еще ближе нагнулся к мастеру и снова заговорил тихо и укоряюще:

— Нельзя, понимаешь... Надо быть человеком, понимаешь?.. Хоть раз в жизни... Да, надо быть человеком... Сам, ну? Ну же! Это же очень просто... Я знаю... Сначала круги перед глазами, а потом темнота... И не больно... Совсем... Ей-Богу...

Мастеру пришлось насильно вкладывать ремень в руку, но ремень все скользил у того меж желтых пальцев черной змейкой, все скользил. А Валет, стискивая мастеру кулак с зажатым в нем ремнем, ожесточенно приговаривал:

— Ну, ей-Богу же... Не заставляй греха на душу брать... Ей-Богу...

— Не гневи Бога-то, — глухо и отрешенно раздался с порога трубный Степанов голос. Никто не слышал, как Степан вошел, а он стоял за спиной у всех, ожидая, наверное, своего времени, — грех я возьму.

И послышалось в Степановом тоне что-то такое, перед чем Валет не мог не отступить. Дуновение беды, что ли. И Валет отступил. Степан двинулся на мастера, сразу отгородив его ото всех и

всего, и все так же отрешенно, только, может быть, чуть глуше, бросил через плечо:

— Идите, братове, там раб Божий Зиновий отходит.

ХII

У Зямы, конечно, не оставалось шансов. Это было ясно и незрячему. Его перетряхнули, как копилку. Зяма даже не дышал, а словно бы икал. От этого икания Савву брала оторопь: так близко, почти на ощупь, он наблюдал смерть впервые. В ее бессмысленности было что-то грязное и вызывающее.

Братва молча топталась около Зяминой койки, а Дуся мочила тряпку в ведерном кухонном чугуне и клала ее Зяме на грудь. Она делала это как заведенная: мочила одну, слегка отжимала и бережно покрывала ею едва подернутые темной порослью Зямыны грудные, острые, как у неокрепшего цыпленка, латки, потом брала другую, и все повторялось сначала. Словно тряпки могли помочь. Но Дусю никто не останавливал. Ведь ей это сейчас было еще нужнее, чем ему.

Громкие Зямыны легкие со свистом втягивали воздух, и воздух захлебывался в них, не находя выхода. Зяма цеплялся за жизнь лишь утасающим сознанием. Он то приходил в себя, то снова впадал в бредовое забытье.

— ...Я, ты знаешь, никогда не выигрывал треху кряду... Не везло... А чахоточному даже в любви... Я не хотел ее заразить... Камни, по-моему, не так уж и серьезно... Да, да, я помню... Но я отдам... Отдам... Да не давите вы на меня таки, не давите...

Савва отошел к окну, он больше не мог, не хотел смотреть на клокочущее в агонии Зямино,

ставшее вдруг совсем детским тело. Мелкие дождевые капли, набегая одна на другую, сливались на стекле в призрачно шевелящееся месиво, и казалось, мир за окном — сырцовый сарай под обомшелой соломенной крышей, кусок лесополосы, близкая пашня тоже потеряли устойчивость и сейчас тают, растворяются в водяном мареве.

Зяма пришел в сознание.

— Вот тебе, — пробовал он пошутить, но вышло это у него криво и жалко, — и граф де ля Труа Полиньяк.

— Лежи, Зяма, — коснулся его плеча Валет, — лежи, тебе же больно.

— Больно? — в Зяминых кофеинах вспыхнула и погасла тихая усмешка. — Ты чудак, Валет, право-таки чудак... Разве они умеют делать больно? Они не умеют делать больно. Они бьют, чтобы уже не болело, а так, чтоб навсегда... Не болит... Просто мне кажется, у меня, кроме головы, ничего живого... Наверное, отдам концы... Не дали станичники хванчкары попробовать... И хорошо бы в «Арагви»... Ты знаешь «Арагви», Валет? Интересно, какой у хванчкары вкус. Зелень к сухому, черт побери!..

— Брось этот вечерний звон, — хмуро отозвался Валет, — ты отлежишься. Очень просто.

Никто не верил в это. Отлеживаться Зяме было уже негде да и ни к чему. Но никто все равно не подал голоса. А Зяму снова захлестнул бред:

— Зелень к сухому... Вино и лук к сыру... Хванчкара... Оно, по-моему, вяжет во рту... Да не давите вы таки на меня, не давите...

И Валет сорвался. Размазывая кулаками по лицу слезы, он заметался по комнате.

— Ну покажите, покажите вы мне того грузинского барыгу с хванчкарой, чтоб хоть за сто верст от этой проклятой лавочки!.. Я начисто сра-

ботаю десяток лихачей, я передавлю всех постовых по дороге, но через три часа эта самая хванчкара будет здесь... Гады, гады, гады! Слышишь, Зяма, — забыв об осторожности, он тряс друга за плечо. — Пусть я никогда не увижу свободы, но мы будем пить эту проклятую хванчкару!.. Ведрами, Зяма!.. Ноги в ней будем мыть, Зяма! — Валет грозил кому-то за окном, то и дело вытирая мокрый подбородок. — Ты слышишь, Зяма, слышишь? В самой «Арагви», видал бы я ее в гробу, в белых тапочках? Зяма!

Но Зяма не слышал. У Зямы только беззвучно шевелились губы. И пальцы, длинные, едва тронутые рабочей окалиной, с синими линиями по желтому фону, тоже тихо шевелились. И вдруг Валет замолк. Движения его стали ровны и осмысленны, как у человека, одержимого какой-то одной, не ведомой никому мыслью. Он сдернул со всей койки одеяло, расстелил одеяло по столу и, подойдя к Зяме, бережно, будто подо что-то взрывчатое, стал протискивать под него руки. И только когда он поднял Зяму и на вытянутых руках вынес его к столу, Савва все понял. И Петька. И Дуся тоже. Тогда Савва заговорил:

— Ему уже не поможет больница, Валет. Вместо одного трупа мы будем иметь три. Я не шучу. Так сказал бы Зяма. Я это знаю. Я сам из этих мест. Они наплюют на Степанову повинную. Они изуродуют вас обоих, а тебя осудят за соучастие. Мы должны уходить. Степан обещал дотянуть только до вечера, только до вечера, слышишь? У нас в обрез времени... Мы понесем Зяму по очереди, пока он не умрет... Да, пока он не умрет...

— Да, — эхом повторила за ним Дуся, — по очереди... Но это его дело... Он знает, чего хочет...

У Петьки нашлось только одно слово:

— Без пользы.

Валет молча пеленал Зяму. Потом он поднял его и понес к дверям так же, как носят женщины детей: головой к плечу, к бедру животом. Уже во дворе он сказал. Очень спокойно сказал:

— Пусть. Но его они не тронут. Он не виноват. Есть закон. Его они не тронут. Они обязаны его лечить. Мы тоже люди. Очень просто.

И пошел. Пошел прямо через пашню, туда, где курились на фоне фиолетового неба сизые станичные дымки. Он все удалялся, удалялся, пока, откинутая под тяжестью немного назад, фигурка его не слилась с цветом осенней пашни.

Савва долго глядел ему вслед, и ему думалось, что в том месте, где набухшее, низкое небо смыкается с горизонтом, конец земли и что человек исчез там.

XIII

Пробираясь полосой вдоль железной дороги, Савва вывел друзей к стыку двух веток: Белявск — Ставрополь.

— Вот, — сказал он, — здесь.

Петька ладонью стер дождевую каплю с лица, опустил на сваленную лесину и сразу же занялся куревом, но отсыревшие спички не зажигались, и он, высыпав весь коробок в ладонь, брал их по одной, остервенело разгрызал и сплевывал себе под ноги. Дуся, присев на корточки, вяло и сосредоточенно оглаживала мокрый ситчик, облепивший ее острые коленки. Каждый понимал, что предстоит неизбежное, но никто не хотел заговорить первым: слишком уж многое их теперь связывало. От одной мысли, что он уже никогда, совсем никогда не увидит Петьку, его дурацких рябин, не услышит его глухого, с ударением на «о»

голоса, Савву брала какая-то пронзительная, не испытанная еще им никогда жуть.

— Расходиться, значит, будем, — решил на-конец Петька. Половина спички прилипла у него к щетине под губой. Петька долго с излишней старательностью пытался сдуть ее, но так и не сдул, а зло сбил щелчком. — Черт!.. Я — в степи.

— Опять на заработки? — слова у Саввы напросились самые зряшные, первые попавшиеся, чужие и не к месту сказанные, и он почувствовал это, и у него стало нехорошо на душе. Но надо же — черт побери! — сказать что-нибудь, чтобы оттянуть последнюю минуту, когда уже ничего не вернешь. — Что там в степях-то. Ветра там. И все. Дома у моря хорошо обживать.

Но Петька не обиделся. Он только как-то усмешливо и горько хмыкнул и посмотрел в сторону — туда, где за редколесьем маячил в туманной измороси ребристый плавник перекидного моста.

— Дом! А к чему он мне, дом-то? Дом-то — он мне теперь, братишка, ни к чему! У тебя есть дом? У нее есть дом?.. А у всех наших там, а? Зато у мастера теперь есть хатка о четырех углах заместо пятистенника... Не-ет, мне теперь ни под одной крышей покоя не будет... Другое дело — степь: иди и иди себе. Попробуй кто, сунься. Я сам себе в степи и нарсудья и приводящий в исполнение... А хороший человек — так что ж, вдвоем-то оно веселее, да еще с хорошим. В общем, травить без пользы... Двинули.

Петька поднялся и, отойдя шагов на десять, кивком через плечо позвал Савву за собой. Вместе они прошли еще немного. Затем Петька остановился и, повернувшись к нему, стал копать за пазухой.

— Понимаешь, — он говорил тихо и просительно, — я здесь поделил четыре штуки на троих.

Две святые — Зямыны. И нам, значит, по шесть с половиной бумаг на рыло. Только Зямыны я тебе отдам. Не надеюсь я на себя. Боюсь, жадность одолеет. Там его адрес, на первой сотенной, — Петька совал Савве в руки аккуратно обернутые в газету доли. — Зямыны отсылать будешь — пропиши: пусть, мол, воду едет пить. Вода, она знаешь как от камней помогает.

Состязаться в благородстве здесь не было смысла и времени. Савва, беря деньги, только сказал: — Все — Зямыны.

— Со своими — как хочешь, а ей, — Петька глазами показал в сторону Дуси, — ей отдай долю. Она — девка. Ей — трудней... И вообще, — он глубоко и добро посмотрел Савве в глаза, — не бросай ее. — Он сказал и повторил снова: — Не бросай, а?

Едва ли до этой минуты Савва думал об этом. Прошлое в счет не шло. Его уж не было, прошлого. Сейчас приходилось все начинать сначала. А как начинать, с чего — Савва еще не знал, не имел понятия.

Все стало вдруг в мире сложнее и ответственнее, и надо было искать в нем чего-то самого большого, самого главного. Но он не дал себе времени для сомнений.

— Она пойдет со мной.

— Смотри, а то я возьму. За сестру возьму. Хорошему человеку с рук на руки передам. И тебе без хлопот. И девка не сгинет.

— Нет, Петро, она пойдет со мной.

— Не обижай. Ее обидеть, сам знаешь, дело плевое.

— Со мной пойдет, Петро.

Тот еще раз пристально и коротко взглянул на него, круто повернулся и, не прощаясь, пошел прочь. Его широкая спина, стянутая набухшей от воды и оттого темной нанкой, еще долго виделась

в просветах меж деревьев, пока Петьку не растворило в вязкой сырости дождливого утра.

Дуся по-прежнему сидела на корточках и все так же вяло и безучастно оглаживала платье на коленках. Савва тронул ее за плечо:

— Надо идти.

Она покорно встала, и они двинулись дальше. Осклизлая тропа уходила из-под ног. Дуся, то и дело оступаясь, хваталась за его рукав, и это ее доверчивое прикосновение вызывало в нем чувство щемящей, уже почти отцовской жалости к ней. Жалости и еще чего-то такого, чему он еще не мог найти точного определения.

К полудню они вышли на большак перед железнодорожной насыпью. В мокром асфальте плыли, подсвеченные с востока солнцем, тяжелые облака, и Савве виделось, будто они идут по опрокинутому им под ноги небу.

Дорога вела их на запад — в дождь, и дождь наваливался на них исподволь, все нарастая и утяжеляясь.

Дуся куталась во вздувшуюся телогрейку, искоса поглядывая на Савву. Было в этих ее коротких полувзглядах что-то жалкое и затравленное. Перехватив один из них, Савва кивнул в сторону придорожной копны:

— Может, переждем? Не близко еще до хуторов-то?

Вместо ответа она сказала:

— Нас все равно возьмут.

— Возьмут, но не здесь. Пошли.

— Как хочешь.

Она пошла за ним. Сидя с нею бок о бок в пахнущем ромашкой и чабрецом углублении, Савва впервые после того, что было между ними на заводе, почувствовал ее лицо так близко от своего. Сухая былинка, зацепившись за взмокшую прядь,

приникла к трепетной синей жилке на ее виске и сейчас, будто живая, дышала вместе с нею часто и судорожно. И вдруг в нем как бы взорвалось что-то и, жаркой волной подкатив к сердцу, озарило его первым в жизни откровением: так ведь то — самое главное, которого ему так недоставало и которого он так долго и с такой надеждой ждал и искал, здесь, рядом с ним, и оно — это главное — теперь для него дороже и нужнее всего на свете. А все, что в прошлом, — это дым, приснилось. Он один для нее, и одна она для него. У них есть руки, чтобы работать. У них есть ноги, чтобы ходить по земле. У них есть сердце, чтобы любить. И они будут работать! Работы для них на земле хватит. И они будут ходить: земля, говорил Степан, круглая — попробуй сгони их. И они будут любить: у них в запасе если не сто лет, то вечность. И плевать на всех, кто хотел бы им помешать в этом. Плевать. И пусть все они идут к черту! К черту! И он привлек Дусю к себе, привлек бережно, как что-то очень хрупкое, очень бьющееся. В молящих глазах ее он увидел сначала испуг, потом удивление, потом благодарность и, наконец, себя и облака над собой.

.

Чем выше брал Савва по склону, тем явственнее редел лес. Преодолев подъем, он очутился лицом к лицу с целью своего пути. Внизу, под ним, распласталась огромная, лишь кое-где перечеркнутая подлесками тундровая равнина, а в самом ее конце, зажав между своими отрогами восходящее солнце, голубело Каменное взгорье. И все пережитое вдруг оставило его. Он как бы пришел в себя после тяжелой и долгой болезни. Савву пронизало чувство необыкновенной легкости и просветления. И отсюда, с высоты гребня безымянной таежной пади, Савве почему-то воочию предста-

вилась его земля: не всегда добрая, не всегда щедрая, не всегда справедливая, но близкая, родимая, поделившаяся с ним своей плотью и кровью, своим теплом и словом. И ему еще предстояло ее обжить, и ему — согреть, и ему в ней в положенный час упокоиться. И хотя там, за голубыми в свете зачатого дня горами, лежало море, за которым, может статься, цвели куда более гостеприимные просторы, для него, Саввы Гуляева, — желанней и дороже земли не было. Нет, не было.

СОДЕРЖАНИЕ

Мы обживаем землю	5
Жив человек	43
Дорога	113
Стань за черту	169
Баллада о Савве	253

М 17

Максимов В.Е.

Собрание сочинений. В 8-ми т. Т.1. Мы обживаем землю; Жив человек; Дорога; Стань за черту; Баллада о Савве./Худож. оформл. И. Сайко. - М.: ТЕРРА, 1991.- 512 с.

ISBN 5-85255-032-2 (Т. 1)

ISBN 5-85255-038-8

В том вошли повести В. Максимова «Мы обживаем землю», «Жив человек», «Дорога» и др.

М 4702010201 подписное
91

ББК 84Р7

ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

МАКСИМОВ

Собрание сочинений

Том первый

Художественный редактор И. Сайко

Технический редактор Р. Смирнова

Сдано в набор 15.12.90. Подписано к печати 10.01.91. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл.печ.л. 16,8. Усл.кр.-отт.16,8. Тираж 100 000 экз. Заказ N 29. Цена ~~10~~руб.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280. Москва, Автозаводская ул., д.10, корп. Б, а/я 73. Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



«TEPPA» - «TERRA»